

СИБИРСКИЕ ОГНИ



8/2023



Наталья Яковлева.
Мостки. Первый снег.
2019

Наталья Яковлева.
Monument Valley.
2016



На первой странице обложки: **Наталья Яковлева. Душистые травы.** 2020

СИБИРСКИЕ ОГНИ

**Литературно-художественный
и общественно-политический
ежемесячный журнал**

ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА

Главный редактор:

М. Н. ЩУКИН

Редакционная коллегия:

Н. М. Ахпашева (Абакан)
А. Г. Байбородин (Иркутск)
П. В. Басинский (Москва)
А. В. Кирилин (Барнаул)
В. М. Костин (Томск)
А. К. Лаптев (Иркутск)
Г. М. Прашкевич (Новосибирск)
Р. В. Сенчин (Екатеринбург)
М. А. Тарковский (Красноярск)
А. Н. Тимофеев (Москва)
А. Б. Шалин (Новосибирск)

Михаил Косарев
ответственный секретарь

Лариса Подистова
начальник отдела художественной литературы

Марина Акимова
редактор отдела художественной литературы

Татьяна Седлецкая
редактор отдела художественной литературы

Михаил Хлебников
начальник отдела общественно-политической жизни

Евгения Акимова
редактор отдела общественно-политической жизни

Дмитрий Карасёв
редактор отдела общественно-политической жизни

Корректурa: Л. Р. Юкляева
Верстка: С. В. Колотилов

8/2023

Содержание

ПРОЗА

Анатолий БАЙБОРОДИН. Дрова . Повествование в рассказах.	3
Ирина ЛЕВИТ. Однажды ему повезло... Повесть.	64
Владимир МИЛЕВСКИЙ. Папкины рубли . Рассказы.	110
Макс НЕВОЛОШИН. Американская комедия . Рассказ.	124
Елена АНТИПОВА. Четвертый . Рассказ.	129

ПОЭЗИЯ

Юрий ВОРОТНИН. Вода других морей . Стихи.	60
Виктория БЕЛЯЕВА. Все в мире от яблока . Стихи.	106
Лидия МАМАЕВА. А лета почти не осталось . Стихи.	133

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Прямая речь

Владимир Алексеев: «Все мы немножко старообрядцы!..»	136
---	-----

КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Руслан СЕМЯШКИН.

Перечитывая заново. Анатолий Иванов и его книги.	161
---	-----

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Денир КУРБАНДЖАНОВ. Фрагменты и сущее	179
Издано в Сибири.	183

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ

Наталья Яковлева: «Творчество — это диалог с самим собой».	187
---	-----

Авторы номера	191
---------------------	-----

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Ранее опубликованные (в том числе в газетах и сети Интернет) произведения не рассматриваются. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Главный редактор, директор ГБУК НСО «Редакция журнала “Сибирские огни”» М. Н. Щукин.

и рубаха, быстро оделся и, накинув телогрейку, притащил беремя дров. И скоро от запаленной бересты пламя метнулось по сухим поленьями, весело взыграло, и, когда огонь в печке радостно запел, Ваня похвалил добрые дрова, березовые, лиственничные, добытые прошлой зимой в хребте, что выгибался к небу за околицей.

Дрова... Узрелось с высоты орлиного полета царство русское: звонкий утренний мороз, посреди синеватых снегов чернеет деревенька, народ торопливо волочит дрова в жилища, топят печи, и дым над крышами задорно вьется на ветру либо висит хвостом в безветрии.

...Дрова дерзко и властно вошли в жизнь Ивана Краснобаева лет с шести, когда отец лесничил и семья жила в вершине забайкальской реки Уды, у изножья затажного хребта. Ранней весной снежный наст оседал, и отец с матерью пилили дрова на грядущую зиму либо чистили лесные деляны, откуда сельские мужики на лесовозах вывезли строевой лес, а вершинник бросили леснику. Ваня подсоблял родителям собирать сучья в копны, а потом, когда отец поджигал их, зачарованно глядел, как пламя, словно огненные кони, скачет по сухому хворосту, яро возносясь в небеса.

Подросши, Ваня пилил с отцом лиственничные кряжи, с надсадой заваленные на кóзлы; но то дома, с отцом, а бывало, и в школе гоняли на заготовку дров, коими отапливались две школы: их двухэтажка и одноэтажка для малышей.

Войдя в изрядные лета, Иван летовал, зимовал и в городе, и на лесных дачах, лестно прозванных заимками, где в хребтах заготавливал дрова, выскивая березы, лиственницы — сухостойные либо те, что на ладан дышат, готовые со дня на день пасть во мхи и багульники. «Летую, зимую на лесных заимках», — ради красного словца речено, хотя две дачи все же — в лесу, и большая часть житья-бытья прошла на дачах.

Мог Иван и прикупить дров — гроши водились, — да и, случалось, брал на зиму, а на заимках не столь сухостой валил, сколь бродил ради доброго здравия души и плоти, ради блаженной красоты зимнего леса. Но хотя и не числился штатным лесорубом, а худо-бедно за полвека в дровах толк познал и, будучи смолоду ворчливым, мог и в преисподней проворчать: «Шибко, паря, дрова сырые, худо горят, шипят...»

Намедни листал Иван роскошный альбом Нестерова и с умилением узрел цветные репродукции с картин, где преподобный Сергей Радонежский, вроде мужика деревенского, в паре с послушником пилит кряж, топором кантует будущий венец кельи, а может, храма, и носит дрова к монашеским кельям... Вот ведь, светоч земли русской, ровень святым апостолам, а тоже дрова пилил, подобно мужикам сермяжным; и обуяла Ивана гордость за дровосеков, в чей стан и прибился в таежном малолетстве.

В заготовку дров дивом дивным вплетались потешные и поучительные истории с характерами, судьбами; истории же те Иван стихийно сказывал в дружеских и семейных застольях, растекаясь мыслью по древу, не печалась о стройности сказа.

Отец и дрова

Отзвенели грозные николевские, рождественские и крещенские морозы, стихли ворчливые афанасьевские, явился февраль — лютый, снежень, бокогрей, — и мужики, перекрестившись Царю Небесному, поклонившись Царице Небесной, святым угодничкам, взгляделись в небеса, в синеющий за поскотиной лес: не пора ли дровосек зачинать?.. Судили-рядили: мол, боишься холоду — полюбишь тайгу смолоду; а лежебокам сулили: в тайгу не поедешь — на печи околеешь.

Но... переменчив февраль (недаром ветреных мужиков в деревне звали февральями): то оттеплит с каплями, то заметелит с буранами. На Сретение Господне встретилась зима с весной, обнялись троекратно, и повеяла с лазурного неба оттепель, повисли с драневых крыш ледяные титьки, забренчали капли. Но спохватилась зима и дохнула сретенскими морозами. Охота старевшей зиме заморозить весну молодую, но сама, лиходейка, от хотения лишь потеет. А приспел и святой Власий: ночами звенят власьевские морозы, вершащие зимушку, но у Власия и борода в масле, полбег Власий маслица на дороги — и повлажневший санный путь напомнит о близкой весне, о дровосеке. Коли милостью Божией с небес слетала зима ласковая — вдовья, сиротская — да Власий лихо сшиб рог с зимы, то мужики, не выглядывая марта, трогались на дровосек, но чаще годили до Василия-дроворуба.

Ждали лесорубы март-зимобор, когда вешнее солнышко поцелует воскресную землю; но, опять же, и март куролесит — ишь, ухарь-купец, удалой молодец! — верно же говорено: марток — надевай двое порток, ибо тепло обманчиво, словно грешная душа, могут и морозы ударить похлеще крещенских. Ну, словом, на Василия-дроворуба мужики — в тайге, дабы лес сечь, не жалея плеч, запастись дровами на грядущую зиму. И потеют дроворубы до Алексея Божьего, на деревенский лад славленного: Алексей — зажги снега, заиграй овражки.

Помнится, в начале марта-зимобора тайга оживала и на солнечных проплешинах уже синели, желтели подснежники, в густолесье же белели сугробы; и о ту пору забайкальский лесник Петр Краснобаев пилил дрова с богоданной, а рядом под мерное пение пилы-двуручки дремал сивый мерин, запряженный в сани. Свалив сухостойный листвяк, мужик с бабой кряжевали лесину, кряжи укладывали в сани, а подсоблял дровосекам шестилетний сын: таскал сучья в копну; и отец, ободряя трудовой азарт малого, важно повелевал:

— Убирай, Ваня, чище — царь поедет! Поглядит, похвалит да, глядишь, и гостинец поднесет. Пряник печатный...

Ох, мамочки родны, сам царь поедет через дабан*, где лесничья изба!.. А вдруг пряничком угостит, а печатный пряничек — не шаньга творожная... Услышав про царя-батюшку да про печатный пряник, бегал Ваня мурашом по деляне, волочил сучья до кучи; запинался о замшелые

* Дабан — хребет, гора, пологий горный перевал.





валежины, падал, вздымался, воображая, как на пятерике белых коней катит царь в золотой карете, с золотой короной на русых кудрях... О царе поминал отец не случайно: готовили дрова подле Старомосковского тракта, по коему цесаревич Николай изволил ехать, следуя из Читы в Верхнеудинск. Но... давно уж дорогу спрямили, и брошенный царский тракт, поклонно величаемый Старомосковским, заглох в сырой глуши березняка и осинника; ислтели мосты, а топкие калтусы*, словно прожорливые чудовища, заглотили бревенчатые гати.

Раскряжевав листвяк, уложив кряжи в сани, отец наломал сухих сучьев, запалил тихий костерок, потом смастерил таган — на березовые рогадки уложил жердочку с закопченным котелком — и, вскипятив снег, запарил чай с брусничным листом. Мать на толстый пень постелила холщовое рядно, выложила каравай ржаного хлеба, яиц, вяленой сохатины и даже по кусочку колотого сахара. Отец порушил каравай крупными ломтями и напластал сохачьего мяса, потом приволок пару валежин под сядлица, и семейство село чаевать. Хотя изба под боком, но охота в тайге почаевать, растопив снежок в котелке.

С поздней осени, когда снежок застелил землю и тонкий наст закреп, до поздней весны, когда снег набух влагой и осел, Ваня, впрягаясь в легонькие нарты, возил из леса сухие сучья — отец берег дрова. Мать, гляючи на сына, запряженного в нарты, с улыбкой поминала стих о том, как мужичок с ноготок вел под уздцы лошадку, везущую хвороста воз. Прошлый год привезли на зимние каникулы Татьяну, Ванюшину сестру, что бегала в школу вторую зиму, и та, придвинув керосиновую лампу ближе к хрестоматии, шаря сонными глазами по строчкам, учила наизусть стих о махоньком дровосеке; и так нудно и долго зубрила, что Ваня быстрее выучил и подсказывал, ежели сестра запиналась.

Года через два семья уючевала в село — ребятишек пора учить; и однажды Ваня подслушал с печи, как отец, звонко плеская в граненые стаканы «сучок»**, заливал байки мужикам:

— На кордоне-то, паря, браво жили, по косачам*** ходили: тьма была, сидят, как вороны, на деревьях, хоть за хвост их имай, оне сытые, лететь не могут. Кучно сидели... В осенину окно откроешь, и с окна стреляшь, вот те и уха из петуха... А на солносяд окошко отворишь, удочку настропалишь и — в речку, вот те и ленки на варю и жарю...

— В вершине Уды и охота ладная, — сказал мужик и добавил с лукавой улыбкой: — Помню, батя говаривал... Нас было три брата: Егор, Василий и Степан. Вот мы поехали на охоту, недалёко. Теперь едем, глядим — козы! Много их. Егор стрелил: бух! — сразу двух! Василий стрелил: грох! — сразу трех. Вот мы их набили...

Отец, улыбнувшись небылице, опять хвалил таежный кордон:

* Калтус — топь, болото, поросшее кустарником, березняком.

** «Сучок» — дешевая водка низкого качества из древесного спирта, из опилок; а мужики говорили: из дров. Выпускалась наряду с высококачественной «хлебной» водкой лет десять. В конце 1950-х ее запретили.

*** Косачи — тетерева.

— И с дровами, паря, сподручно: шаг шагнул — тайга, сухостою тьма; а на баню — листвяжки пни, гаркие, жаркие...

Мужик — до отца лесничал на Удинском кордоне — согласно кивал головой, цокал языком:

— Да, Петро, на реке Уде дрова бравые — листвяк...

— Дак, Прокопий, у нас в Еравне кругом охальной листвяк, — отец уточнял: дескать, в Еравнинском районе, что на северо-востоке Забайкалья, — сплошь лиственничная тайга.

— А помню — я ишо под стол пешком ходил, — отец помер, и мы с мамкой уковевали к дяде. От мамка чо намаялась с дровами-то, а не приведи бог! Вокруг деревни — сплошной сосняк. Не дрова — пыль. Мама вздыхала: «Не дай бог мужика пьяницу и худые дрова...» А потом, паря, уковевали в другое село — красота: сразу за поскотиной — березняк...

Мать, гоношась у печки, подавая мужикам жареных карасей, улыбалась отцовым байкам, качала головой в диве и тоже поминала лесной кордон:

— Осенью кухта* падат, дак тайга вся в золоте. Кулями таскали кухту листвянишну... На Покров выскоблишь пол косарём самокованным, промоешь на две-три воды, постелешь кухту — браво, лиственью пахнет, лесом... Благодать Божия...

Лежа на печи, чуял Ваня: материн говор пахнет смолистым, таежным духом, и сквозь слезный туман видел лесничью избу... На Рождественский сочельник отец украшал избу чушачьим багульником, лапником из пихты, ели, можжевельника; лапник укрывал неокантованные круглые венцы, и лесничья изба обращалась в глухоманную тайгу. А богомольная мать застилала пол клеверным сеном, вспоминая: Отроче Младо на сене родился в яслях, подле коз и коров; и таежная изба уподоблялась сеновалу. А на Святую Троицу хороводились в избе кумушки-березки — не изба, а роцца, и пол, устланный свежескошенной травой, — пойменный луг подле березовой гривы.

Крытая сосновым драньем** четырехскатная дородная изба таилась у отрогов Яблонова хребта, лицевыми окнами глядела на пойменный луг и речку Уду, а слева от усадьбы, огороженной бревенчатым заплотом, — широкий таежный распадок, где мать с отцом пилили дрова.

Отец Вани, Петр Краснобаев, хотя и слыл мастеровитым, азартно любил труд, а вольно ли, невольно сменил уйму деревенских ремесел — увольняли: подвержен зеленому змию и худой во хмелю; но выпало домочадцам доброе времечко, когда отец лесничал на кордоне и редко выпивал, — мать, боясь сглазить, не радовалась вслух, лишь плакала исподтишка и ночами молилась святому Вонифатию — от пьянства исцеляет.

* Кухта — лиственничная хвоя.

** Дранье — доски не пиленые, а колотые из сосновых кряжей.



Отец отлесничил и вернулся в село, где уже чаще заглядывал в рюмку, гадая: «чо там, паря, налито?» — а потом с гулкового похмелья заживо сдыхал. Летом спасался от похмельной кручины и головной ломоты тем, что, насадив на черень кучерявую ерниковую метлу, мёл ограду, мёл за воротами, мёл вдоль палисадника — и мог бы вымести, вылизать всю улицу, все бывшее волостное село, лишь бы заглушить и развеять похмельные страдания, когда уже лечиться тем, чем зашибся, нету мочи: пропита моченька, седмицу гулял без просыху.

А зимой отец спасался дровами: взваливал на кóзлы лиственничный кряж, выносил из амбара пилу с ладно разведенными, острыми зубьями и на пару с Ваней, уже отроком, пилил дрова, нет-нет да и ветошью, смоченной в солярке, натирая дочерна засмоленную пилу. Из мелкого запила, потом глубокого реза брызгали на снег хмельно пахнущие, желтые и бурые опилки...

Ване тягостно пилить, а отец, случалось, заваливал на кóзлы каменный листвяк: парнишка нервничал, заполошно дергал пилу, тянул вроде из последней моченьки, забывая отпускать, и отец то выбранит, то утешит:

— Ты, паря, крепше за ручку держись, чтоб не вырвалась, — пила же сама пилит... Не дави, не дергай с пылу да жару. Тихонько тяни и отпускаяй, да не загибай, не загибай, пили ровненько... Ты же мужик...

Мужик, мужичок с ноготок, приноравливался к отцово́й тяге и, чтобы не затомиться, увеселиться, подтягивал голосистой пи́ле: «Вжик-вжик, я — мужик; вжик-вжик, я — мужик...»; и даже выводил куплеты чуднее: «Пили-ели свиристели», а пи́ла подтягивала: «Пили-ели свиристели...»

А вешним рассветом, поигрывая колуном, высматривая трещины в торцах, отец колол чурки, примороженные утренником, еще не разбухшие на щедром мартовском солнце. Колол с хаканьем, с отрадой и усладой и, наметав стог поленьев, городил поленницу, выводя игривую, красивую клетку, принохиваясь к свежим полешкам, — спиртом пахнут, водкой «сучком».

Ныне Иван, матерый мужик, видел сквозь хмельную полувековую мглу: отец, по теплу в сырмятных ичигах, смазанных дегтем, в черных галифе и рыжем свитере, отложив топор, присаживался на измочаленную лиственничную чурку, похожую на бочонок, доставал кисет и, насыпав моршанской махры в линияющую газетную осьмушку, закрутив в самокрутку, закуривал. По-хозяйски оглядывал растущую поленницу дров, и светлели отцовы глаза, досель темные, мутные; и Ваня, дурачок же, невольно верил учительнице, что труд обратил обезьяну в человека; потом смеха ради воображал, как вертлявая мартышка пилит и колет дрова, постепенно обращаясь в человека. Отец, если дрова кололись легко и ловко, добрел и, случалось, на перекуре толковал сыну:



— В твои лета, паря, я уж в лес ездил по дрова... С браткой, двумя годами постарше, запряжем коня и — в лес. Помню, свалили пару листвяков, раскряжевали, завалили в сани. А, помню, примораживало, а коль мороз, дак сорок пудов на воз — снежный наст же крепкий, дорога легкая, можно и побольше нагрузить в сани. Ну, тронулись с Богом... И, помню, растяпы, топор посеяли в дороге. Беда... Тятя не облаял, но велел: «Ну, паря, чаю хлебните с мороза да и валите в лес, ищите топор. Коня не дам, конь устал, пешком дуйте. Без топора не возвращайтесь — топор кормит, поит, одевает, обувает и обороняет...»

Легко сказать, дуйте за топором, а у нас моченьки нету — вымотались в тайге, но тятя поперек слова не скажи, вожжами отпотчует. Потопали, а уж сумерки, в степи боимся сбиться с пути, и хорошо с Прокопа* на случай пурги натыкали вехи по обочинам — молоденькие елки. Топам, тятю корим, клянем: коня пожалел, а нас не жалко... — Отец вновь напомнил, пытливо и назидательно вглядываясь в сына: — Летами я такой же был, а братка двумя годами боле... Но теперичи волочимся, а уж смеркатца, и — есть же Боженька на свете! — встречу Гриня Байбородин, родней доводился, но так, вроде седьма вода на киселе... Дядя Гриня тоже дрова везет; полны сани, паря, нагрузил, а сам подле бредет... Кобыла аж вся заиндевела, куржаком заросла...

«Куда, — говорит, — на ночь глядя лыжи наводрили?»

Ну мы и обсказали, чо да как, а сами уж ревя ревяем — парнишки же...

«От, паря, беда-бединушка... — вздохнул дядя Гриня. — Худо ваше дело, робяты, хуже некуда. Впотьмах топор искать что иголку в стогу. Может, от дороги в снег улетел, мало ли чо... Вы уж, паря, кругом глядите, глаза у вас острые... А тятка-то ваш ши-ибко сердитый, за топор три шкуры сдерет... Но чо, топайте; может, глядишь, и месяц взойдет, дак светле будет...»

И уж тронулись мы с браткой, а дядя Гриня вслед:

«Постойте, — говорит, — ноне волки рыскают, дак вы хошь дрын подберите обороняться-то...»

Мы со страха аж заледенели, а дядя Гриня топор и достает из саней.

«Не ваш ли, робяты? Чудом увидел: спешился отлить, гляжу, топор на дороге валяется...»

От, паря, мы ревом ревяем, а он шутки шутит! Шутник, язви его в душу...

«Но, паря, тятка-то ваш ши-и-ибко сердитый: почо же ребятишек-то гнать в лес за топором?! Коня бы заседлал да верхом проехал, глянул...»

Да, сердитый был тятя... Да и поневоле будешь сердитый, коли нас, ребятешек, восемнадцать. Ежели эдаку ораву не держать в ежовых рукавицах, тогда кто в лес, кто по дрова. Другорядь и обмануть норовили,

* Прокопьев день отмечается 5 декабря (по старому стилю — 22 ноября). В православном календаре это дата почитания мученика Прокопия Кесарийского (Палестинского), чтеца.





а ныне бы тятя в ноги пали... Не привадишься робить и беречь нажитое, помирушкой-побирушкой, бестолочью по миру пойдешь...

Ваня почуял, последнее сказано ему и в укор, поскольку и от домашней работы отлынивал — с ребятами любил побегать, на конечках покататься по ледяному озеру, — и добро, отцом нажитое, сроду не берет: сколь Маркен, соседский дружок, выманил рыбацких крючков, лески, щучьих блесен, изготовленных отцом из столовых ложек.

Вспоминая, отец выкурил самокрутку до корня, когда говорят: «Кури дружок, я губы обжег», и, поплевав, загасил. Надел брезентовые верхонки, ухватил колун и отмашисто саданул по чурке; а мать, пробегая по ограде, вдруг замерла... Настрадавшись от недельной пьянки-гулянки, умиленно глядела на трезвого и домовитого мужика, но потом взгляд заволокло слезами, словно стылым, морозящим дождем, и мать безголосо заплакала. Горькая и сырая бабья доля: и в горе воеет, и в радости слезьми уливается. Хвалила мать богоданного, глядя, как нарядная, золотистая поленница выросла по бревенчатый заплот, гадая о житье-бытье просто: слава Те, Господи, сена корове накосили — с молоком перезимуем; картошку в подпол ссыпали, бочонок капусты наквасили, лагушок рыбы насолили, дров напилили, муки, соли, сахара запасем, так и по миру не пойдём, с голоду не пропадем... даже если папаша загуляет. Загуля-а-ает — смолу обвык.

Когда Ваня, не пригибаясь, под столом пешком ходил, четыре брата довоенного приплота, отслужив службу ратную, отчалили из села; но три сестры да Ваня еще росли в старенькой избе, а посему мужичья работа потихоньку-полегоньку с отцовых плеч кочевала на Ванины плечи. Воду с озера вози — летом бак на тачке, зимой на санках; а потом стайки чисти, корову ищи в поле, рыбу лови, дрова пили, коли; а ведь охота с дружками в прятки поиграть, в лапту и выжигало, в чижа и городки; охота, с горем пополам поделившись на белых и красных — все нагло лезли в красное воинство, — прикрываясь щитами из печных заслонок, биться на мечах и саблях, кои ребяшня ловко мастерила из ржавых обручей, некогда крепивших капустные бочки; охота и в озере купаться, а по зиме на самодельных коньках кататься, прикручивая их кожаными лентами к подшитым катанкам.

Охота играть подростку, но мать ребячью охоту сурово окорачивала; и, помнится, в очередную зиму распилили отец с Ваней листовенничные кряжи на чурки, а ночью у отца хворую спину прихватило, разогнуть не мог. Видно, надсадил поясницу, коряча толстые кряжи на козлы... Трехлетним Ваня, бывало, топтал отцу спину — и отпускало, а нынче некому топтать; вот скрюченного и увезли отца в сельскую больницу, а потом и вовсе в город утартали. После сего мать и велела сыну:

— Хва по деревне шлындать, придуривать, коровьи шевяки пинать. Раз отец хворат, дак иди и коли дрова, а то чо же, неделю чурки посередь ограды...

Школьная любовь и дрова

Отбегав пять зим в школу, деревенские ребяташки не столь учились, сколь трудились: копали картошку, моркошку, турнепс, убирали капусту, гребли скошенную траву в копны, рубили жерди для поскотиной городьбы, стригли овец, выгребали наём из овечьих кошар, да и любая сельская страда не обходилась без школьной подмоги. И то ребятам не в тягость, а в радость — смалу приважены к труду, да, бывало, передых, парни потешные байки травят, девки, сбиваясь на смех, радостно поют. Ну да сельских девок хлебом не корми, дай посмеяться — простодушные; и слава богу, ибо старики говаривали: где просто, там ангелов дó ста.

Посреди весны, когда солнышко слизало снег на степных увалах, а в тенистой лесной чащобе ещё белели сугробы, старшекласники пилили дрова на зиму, ибо прожорливыми печами спасались от стужи две школы: большая, рубленая из матерого леса, в два этажа, и малая, барачная, прозванная «курятником». Василий Шукшин, бывший директор сельской школы, горько поминая школьные хлопоты, поведал и о дровах: «...Что такое директор школы? Дрова достань, напили, наколи, сложи, чтобы детишки не замерзли зимой...»

В эдаких заботах жила и сельская школа, где учился Ваня Краснобаев. Помнится, в марте Серафима Ивановна, молоденькая литераторша, она же и классная, похожая на смуглую птицу, оповестницу весны, сообщила десятиклассникам:

— Уроки отменяются, едем в лес дрова пилить.

И парни, кои больше любили трудиться, чем учиться, лихо взревели «ур-ра-а», швыряли книги к потолку, а тетка-поломойка, задумчиво опершись на швабру, вздыхала, вроде жалея горемычную тайгу:

— Ну держись, тайга, архаровцы нагрянут...

Серафима Ивановна, прозванная Симой, залетела в Сосново-Озёрское прямо с институтской парты, и свалился на ее бедовую головушку девятый класс, где уже застарело укоренилась неприязнь к литературе. Первого сентября, когда над селом празднично синели небеса, когда березы в школьном саду загрузтели в предчувствии осенней мороси, а озеро утомленно вздыхало, подле школы-двухэтажки выстроилась торжественная линейка. Для завтрашних выпускников голосил школьный хор, и звонко, садня душу слезой и тоской, вились над школьным двором отроческие голоса:

День настанет, простимся со школой,
Выпускной окончится год.
И отсюда тропинкой веселой
Навсегда наше детство уйдет...



Тропинка первая моя,
Веди от школьного порога,
Пройди все земли и моря
И стань счастливою дорогой!*

Хотя и простенькие куплеты, проще некуда, но столь пронзительны музыка и пение, что у заскоружлых парней душа жалобно заныла; а уж слезливые десятиклассницы, вдруг осознав, что прощаются с детством и больше не свидятся, хором заплакали. После речей первоклассник, бойко тряся медным ботальцем, позвонил, и школьники разбрелись по классам.

Серафима Ивановна явилась в черном, плавно облегающем длинном платье с узеньким пояском и белым кружевным воротничком, нежно оттеняющим смуглое лицо с ямочками на щеках; окинула класс смущенным, виноватым взглядом, и школьники, привыкшие к властным учителям, удивленно затаились, а дерзкие пареньки откровенно любовались. Литераторша стыдливо покраснела, потом обиженно опустила глаза долу, поскольку засмеялась Кланька Смолянинова, до срока вызревшая, отчего коричневое школьное платье смотрелось на деве словно седелка на корове, а парадный белый фартук походил на запан, что повязывают бабы, домовничая, гоношась в кути и горнице. Кланька с головушки до пят оглядела Симу ревнивым бабьим взглядом и, сварливо поджав губы, обозвала Дюймовочкой. Соседние девицы повеселели, вспомнив: Дюймовочкой в селе дразнили тетку ростом под потолок и поперек себя толще, в калитку едва пролазила. Деревенские — поперечные: ежели мужик тощий, кожа да кости, зовут Толстым; ежели баба шибко страшная на обличку, Красоткой величают; ежели хозяева скудные, едва сводят концы с концами, — Богачи.

Но с какого боку-припеку Кланька обозвала литераторшу Дюймовочкой, если Серафима Ивановна не толстая, не тонкая, по-девки ладная?! Но, видно, из литературы лишь Дюймовочка взошла в Кланькину память; да и то осела лишь потому, что довелось однажды, выйдя к доске, поведать сказку на потешный лад: «Но-о-о, Дюймовочка, махоня, малахольная такая, вроде цыпушки, но захороводилась с болотным лягушом — с кем не бывает... потом с мышом, потом с жуком... Копалась, принца ждала... На юг махнула, там нашла мужика с крыльями...»

Обозвала Кланька литераторшу Дюймовочкой и засмеялась: нашей Шуре, глупой курице, палец покажи — ухочется... Но спустя годы Ваня вспоминал и дивился: иные девки вроде пятерочницы, институты кончили, по городам рассеялись, а житуха — так-сяк, наперекосяк: либо в девках подолом трясли и суразят** натрясли, либо смолоду — вдовы-бедовые, да и — цветы степные, пересаженные в глиняные горшки, — увяли

* Из популярной песни советского времени «Школьная тропинка» (музыка В. Мурадели, слова М. Лисянского).

** Сураз — внебрачное чадо.



рано; а эта баба Бабариха, как позаочь, чтобы не схлопотать по шее, дразнил Кланьку Ваня, эта, подле которой однокашники казались заморышами, хотя и училась через пень-колоду, но в девках не засиделась; да, страдала по Кешке Климову, но после выпускного бала выкинула блажь из головы и вскоре вышла за домовитого деревенского парня, уочевала из районного села в деревеньку-малодворку, похожую на заимку, и зажила с мужиком по-божески, по-русски. Плодились, трудились в поте лица, а потом, во Христа крестясь, во Христа облачась, молились; и хотя упирались от темна до темна, не покладая рук, не разгибая спины, — скотины полон двор, — зато и дуреть некогда, зато и зажили крепко и не оскудели даже на голодном и холодном перевале веков. Мужик, умудрившись завести грузовик, коему не страшны худые таежные проселки, попутно заготавливал и продавал дрова. Вот и барыши ладные.

Но то случилось после, а ныне...

Ныне же явилась в школу Серафима Ивановна — словно бедная школа обнову добыла, обмыла и красуется. Перед Симой сникли даже архаровцы, кои окопались на «камчатке» — так звались задние парты — и до Симы, при мужиковатой Пелагее Сысоевне, на литературе либо трепались, либо храпели, не страшась свирепой литераторши.

А Кеху Климова — Маркена по-деревенски — сами учителя боялись, пуще польмя; хотя и роста — аршин с малахаем, но дерзкий! и отважный, деревянно сбитый, вроде багровый листвяк, от коего топор отскакивает, по-собачьи огрызаясь и повизгивая. И недаром учителя боялись паренька: прошлую зиму удалец-оголец в сердцах схватил залитую чернилами, лохматую хрестоматию и кинул в Пелагею Сысоевну, да в придачу обложил ее мужичьим матом. Благо в лицо не попал, уклонилась... И лишь за то, что литераторша, ворчливая, бранчливая, всю Маркенову плешь проела, требуя, хоть убей, вызубрить отрывок из письма Татьяны Лариной к Евгению Онегину.

О мужичке можно — тема знакомая: Маркен сызмала подсоблял батю пилить дрова для сельских контор и бани-казенки; на худой конец, можно и про буревестника, что гордо реет над седым от пены морем, — тоже знакомо, коль вырос на озернице и под чайчий плач удил рыбу; можно, и даже охотно, о вещем Олеге, что проучил неразумных хазар, — Маркен спал и видел себя шлемоносцем; можно о поле Куликовом, о Бородинской битве. Но письмо Татьяны к Онегину учить Маркена и палкой не заставили бы, а тем паче вещать: «То воля неба: я твоя; вся жизнь моя была залогом свиданья верного с тобой; я знаю, ты мне послан богом, до гроба ты хранитель мой...»

— Может, мне старуху Изергиль* изобразить?! — огрызнулся Маркен. — Могу Бабу-ягу... А письмо не буду, не заставите!

Но и литераторша не попускалась:

* Героиня одноименного произведения М. Горького.



— Чтобы к завтрашнему уроку назубок! Чтобы от зубов отскакивало...

Письмом Татьяны Лариной словесница и удумала сломить Маркена, объездить уросливого жеребчика, обуздать, охмутать. Узду-то, может, и накинула; может, даже оседлала и в седло влезла, да халюный* жеребчик закусил удила, полетел свирепым ветром да на лету и скинул седока.

Педсовет вырешил гнать Маркена из школы взащей, поганой метлой, а литераторша челом била в милиции, дабы приструнили варнака**, но мать все конторские пороги прошаркала, слезами улила и выплакала парня. На школьной линейке отчитали, для острастки оставили на второй год; вот Маркен нынче и угодил в Иванов класс. По слухам, Маркенов отец, фронтовой орденосец, поучил сына вожжами, вопрошая: «Хочешь, Кеха, неучем остаться?.. Хочешь, как я, всю жись в тайге мантулить?! Дрова пилить?!»

Ох, видно, теми вожжами и образумил батя Маркена: минует четверть века, багровой зарею взойдет грядущее столетие — и перед Иннокентием Климовым, армейским генералом, хлебнувшим мятежного Кавказа, здешние власти постелют ковровую дорожку от поскотины до школы и будут гадать: какую улицу переименовать в честь Иннокентия?.. где воздвигнуть статую?.. и можно ли прижизненно?.. А для почина поменяют в Климовской избушке нижние венцы, сгнившие в труху, поправят забор и ворота с резными вереями и двускатной крышей из соснового дранья. Но то будет после, а пока — школа.

Маркен всякое вольное время, прикрутив самодельные коньки на валенки, катался по ледяному озеру и, мечтая о коньках-норвегах, о магазинной клюшке, кривым сучком гонял по льду конский шавяк, похожий на шайбу. Подросши, напялил боксерские перчатки и, случалось, валил с ног даже зрелых парней; а посему по физкультуре ходил в пятерочниках, да и по иным предметам выбился в ударники, но литературу люто невзлюбил, словно злую мачеху. И не полюбил даже при Серафиме Ивановне, хотя вдруг, изумив братву с «камчатки», взметнул руку и, выйдя к доске, прочел «Бородино», ловко изобразив бывалого вояку:

— Да-а-а, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя... — Маркен с нарочитой горечью вздохнул. — Богатыри — не вы! — картинно указал на Ваню Краснобаева.

А ведь тот, хотя и телок смиренный, а двухпудовую гирию и кидал, и толкал, и жал; в тайге же нынче, когда готовили лес на тепляк***, сосновые кряжи ворочал наравне с мужиками.

Маркен завершил «Бородино», Кланька гулко и смачно била в ладони — давно уж втрескалась по уши, хотя от любви не сохла, а пуще добрела в боках.

* Халюный — горячий, своевольный.

** Варнак — в старину в Сибири беглый каторжник, беглый заключенный, а позже просто разбойник.

*** Тепляк — флигель.



Если уж Маркен, врожденный футболист, хоккеист, смирился с русской словесностью, то и прочие ее терпели, но посмеивались, когда Ваня, заядлый книголюб, вызубрив стих, оглашал, невольно любуясь Серафимой Ивановной:

На заре ты ее не буди,
На заре она сладко так спит;
Утро дышит у ней на груди,
Ярко пышет на ямках ланит...*

Прости, Господи, взойдет же блажь в беспутную душу, набухшую любострастной лирикой! Читая, вольный мальчик вдруг вообразил: Серафима Ивановна сладко спит на сеновале, раскинув руки, словно крылья, разметав каштановую гриву по белой овчине, брошенной в изголовье, и сквозь щелястую крышу из усохшего соснового дранья — снопы утреннего света плавают по ланитам, а утро дышит на девьей груди...

На сей строке парнишка невольно покраснел, вдруг вообразив литераторшу женой, забыв, что Серафиму Ивановну пасет школьный трудювик по прозвищу Киянка, — даст по башке деревянной киянкой — молоток увесистый, — и очоуришься в расцвете сил. Когда Ваня завершил стих, Маркен, ревниво слушавший, громко спросил:

— А ланиты — чо это?

Дружки его, бог весть что и удумав, заржали, словно жеребцы застолялые, а Серафима Ивановна, виновато и смущенно опущая глаза кукольными ресницами, показала пальцем на щеку.

— М-м-м... — понимающе промычал Маркен.

А Кланька Смолянинова, не вмещающая стих в деревенское разумение, подивилась:

— Не буди... А кто корову будет доить?! — и поморщилась. — Ишь, ланиты...

А Ваня переживал: про перси бы не спросили — намедни же Серафима Ивановна читала:

Я не желал с таким мученьем
Лобзать уста молодых Армид,
Иль розы пламенных ланит,
Иль перси, полные томленьем;
Нет, никогда порыв страстей
Так не терзал души моей!**

Ваня, начитавшись до одури про перси, уста и ланиты, греша стишками, исподтишка, чтобы архаровцы не осмеяли, умиленно гадал, кого больше любит: русскую словесность или учительницу литературы. А раньше Ваню ланиты мало волновали; любил стихи про степи и леса, про озера

* А. А. Фет «На заре ты ее не буди...».

** А. С. Пушкин «Евгений Онегин», глава I, строфа XXXIII.



и реки, про деревенские промыслы, ремесла, сезонные труды, про ту же заготовку дров; и даже при Серафиме Ивановне читал любимый стих сельских ребятишек — о дровосеке, что от горшка полвершка, а уж тятке подсобляет. Даже не читал, а потешно играл, и на глазах сверстников то сердобольный барин оживал, то умудренный мужичок с ноготок...

Однажды, в студеную зимнюю пору,
Я из лесу вышел; был сильный мороз.
Гляжу, поднимается медленно в гору
Лошадка, везущая хворосту воз... <...>

— «...Откуда дровишки?» — «Из лесу, вестимо;
Отец, слышишь, рубит, а я отвожу».
(В лесу раздавался топор дровосека.) <...>
— «А кой тебе годик?» — «Шестой миновал...»*

Ишь, все куплеты выучил, а то, помнится, вышел, шалопаёй, к доске, начал:

— Однажды в студеную зимнюю пору я из лесу вышел... — Здесь чадо яростно поскребло затылок, по локоть засунуло палец в нос, обморочно закатило очи к потолку и, не узрев там подсказки, ловко завершило: — Я из лесу вышел... и снова зашел!

— Артист из погорелого театра. — Ревнивый Маркен низко оценил искусное чтение, ибо нашла коса на камень, ночная кошка пробежала меж уличными дружками.

А Серафима Ивановна, дивясь странному для сельского паренька пристрастию к литературе, царице искусств, полюбила юного стихоплета любовью учительской, книжной. Если литература была последним уроком, случалось, и после звонка горячо толковали о Пушкине и Гоголе, о Кольцове и Некрасове; и уже в классе шелестел слушок: мол, видели, как Иван с книжками под мышкой выходил из старого барака, где квартировала литераторша.

Ванины дружки посмеивались:

— Смотри, Ваня, как бы трудовик не шибанул киянкой по башке.

Ревниво и пугливо поглядывая на ухажера Серафимы Ивановны, русского и рослого учителя столярного труда, Ваня сжимался, когда тот показывал, как ловчее молотком-киянкой сбивать табуретку.

Похоже, и Маркен, забыв Кланьку Смолянинову, потаенно сох по литераторше, что вдруг открылось, когда старшекласников кинули на заготовку дров.

На утренней заре собрались дровосеки в школьной ограде, набились в кузов допотопного школьного грузовика «Газ-51» и с гомоном, визгом, хохотом, с озорными песнями покатали по селу. Помнится

* Н. А. Некрасов, из поэмы «Крестьянские дети».



Ивану, горланили ходовую, подходящую случаю, задорную песенку про лесорубов:

Лесорубы,
Ничего нас не берет —
Ни пожары, ни морозы!
Поселился
Наш обветренный народ
Между елкой и березой!
Э-ге-гей!
Привыкли руки к топорам!
Только сердце
Непослушно докторам,
Если иволга поет по вечерам*.

Девчата, как и ребята, в телогрейчишках, кирзачах, но иные в ярких вязаных шапках, в цветастых полшалках, и раздумянились на ветру, любо-дорого поглядеть. Ваня же вглядывался в заднее окошко кабины, высматривая Серафиму Ивановну, но за стеклом мелькал лишь сиреневый шерстяной берет и, под цвет ему, пушистый шарф.

А тут Кланька Смолянинова, согласно дровосечной страде, отголосила деревенскую частушку:

Девки любят лейтенантов,
Бабы любят шоферов.
Девки любят из-за формы,
Бабы любят из-за дров.

Ветхий грузовичок, одышливо хрипя, сипя и кашляя, полз по ухабистой таежной дороге и, запыхавшись, на школьной деляне заглох. Возле свежего костровища выгрузили из кузова пилы, колуны, холщовые котомки с домашней снедью. Огляделись... На солнечном склоне широкого распадка сиреневыми всполохами цвел багульник, а в чащобе светился снег и голубели, белели подснежники. Среди пней поджидали дровосеков лиственничные кряжи, — мужики загодя свалили, сучья обрубали и собрали в вороха.

Школьный шофер, угрюмый пожилой мужик, обреченный бригадирить, разбил ребят и девчат по парам, выдал пилы, колуны и верхонки, чтобы руки не мозолить, не занозить. Ваню взяла в напарники Серафима Ивановна; и парнишка колол чурки, а учительница на лиственничные лаги укладывала поленья в ровную поленницу, по краям с помощью Вани выводя клетки.

Прошлую весну ширикали кряжи пилой-двуручкой, а в тот памятный вешний день Маркен, которого отец-лесоруб смалу впряг в таежную

* Популярная песня 1960—1970-х годов «Лесорубы» (музыка А. Островского, стихи М. Танича).





работушку, явился с бабиной бензопилой «Дружба». Ребята глядели на героя завистливо, девочки — с восхищением; но, распилив на чурки пару кражей, герой долго бился с заглохшей «Дружкой», а потом, смачно плюнув на пилу, ухватил колун. Сын матерого лесоруба, Маркен, опять же на зависть ребят, ловко и красиво колол чурки, даже Серафима Ивановна любовалась, глядя, как парнишка, распустив чурку на плахи, ставил плаху на приземистый, толстый чурбан — и лихо летели поленья из-под играющего колуна.

Долго ли, коротко ли пыхтели работнички с пилами и колунами, но вот бригадир, прозванный «бугром», крикнул:

— Перекур!

Серафима Ивановна присела на поваленный кряж, а Ваня сбежал на край распадка и, вернувшись, принес ей букетик белых и голубых подснежников. Учительница мило улыбнулась парнишке, и тот вовсе потерял голову. Но... недолго музыка играла: когда бригадир завершил перекур, пришел Маркен и, оттеснив Ваню от Серафимы Ивановны, велел:

— Иди, Ваня, пили с девочками. Там парня не хватает.

— Ты и пойди. Пошто я-то должен?!

Маркен зло прищурился, грозно насупился:

— Иди подобру-поздорову, а то...

— А то чо?

— Чо-чо!.. Пару плюх, и отвалишь.

Над таежным распадком сгустились мрачные тучи, вызревала драка, и, уже не слушая уговоры и причитания учительницы, парнишки вкрадчивыми петухами запохаживали друг возле друга, накаляясь, поджидая удобный миг, чтобы засветить сопернику в глаз. И быть бы Ване нынче битому — духом слабак, а Маркен драться мастак, — но вдруг рядом взревел и заглох мотоцикл «Ирбит», и, когда пареньки обернулись, увидели: явился не запылелый белобрысый учитель столярного труда, прозванный Киянкой. Широко улыбаясь, подошел к Серафиме Ивановне, принародно обнял литераторшу, а уж потом из люльки мотоцикла достал пилу «Дружба»...

Учителя работали споро; чему-то смеялись, исподтишка обнимались, а Маркен с Ваней безголосо плакали, прощаясь с бывшим очарованием. Эх, где вы ныне, жаркие очи, румяные ланиты, светлое чело, лебединая выя и взволнованные перси? Где бывшие страсти, палящие душу искусительным огнем?.. Всё смыла шальная полая вода...

Солнечным полуднем отдыхали у костра, и пареньки азартно разглядывали, щупали мотоцикл «М-72», и Киянка толковал: на сих «Ирбитах» русские воевали с фашистами, в люлке сидел пулеметчик и косил фрицев, как траву литовкой. А лет через десять после Победы «Ирбиты» стали продавать мирным людям, хотя в память о страшной войне на люлке красовалась короткая труба, куда стрелки вгоняли ножки пулемета.

Маркен, красуясь перед девами, бритким топором ловко натесал с сухого лиственничного пня толстую щепу, похожую на распластанных

красных рыб, сложил шалашом, вглубь сунул бересту и запалил. Из двух березовых рогаток и осиновой поперечины смастерил таган, на который «бугор» подвесил закопченное ведро с талым снегом. Коль лиственничная щепка горела жарко, то вскоре вода тоненько засипела, пошла кругом, и «бугор», сняв ведро с тагана, заварил, а потом забелил крепкий чай козьим молоком.

Рассевшись на сдвинутые кряжи, пили чай из казенных алюминиевых кружек, пили вприкуску с колотым сахаром, закусывали домашней снедью — пирожками и творожными шаньгами, и Серафима Ивановна вспомнила:

— Поскольку дрова играют великую роль в бытовой жизни русского народа, то о них писали русские писатели в прошлом и нынешнем веке. Даже поэт Маяковский воспел дрова. Да... Вот послушайте! Вначале в стихе «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви»:

Любить —
это значит:
в глубь двора
вбежать
и до ночи грачьею,
блестя топором,
рубить дрова,
силой
своей
играючи.

Похоже, Ваня, Маркен и Киянка, толком не слушая «лестницу» пролетарского стихотворца — ишь нагородил, каланча, верста коломанская, — не вникая в смысл стиха, восхищенно глазели на учительницу; а у той глаза влажно светились, щеки рдели вешними цветами жарками.

— ...Маяковский, хотя и революционно-пролетарский поэт, не менее Есенина славился любовной лирикой, и вот еще стих, посвященный возлюбленной, где опять же поминаются дрова:

Я
много дарил
конфет да букетов,
но больше
всех
дорогих даров
я помню
морковь драгоценную эту
и пол-
полена
березовых дров.



Позже Иван, студент филфака, вычитал у Есенина: «Ляжет бревно в литературе, и не обойти, не перешагнуть...»; а вычитав, вспомнил, что, читая Маяковского, Серафима Ивановна сидела на бревне рядом с Киянкой. А тот, будучи учителем столярного труда, словоохотливостью не отличался, но вдруг поведал неведомо где услышанную притчу о мудром дровосеке:

— Глядел я на Кешу Климова да на Ваню Краснобаева, вижу: состязаются соперники... — покосился на Серафиму Ивановну, и дева-краса заалела, опушила глаза густыми ресницами. — Глядя на ребят, вспомнил: читал в книженции...

В пересказе Киянки притча звучала так. Состязались два лесоруба, кто за три часа повалит топором больше сосен, и, когда судья свистнул, что есть мочи замахали топорами, вгрызаясь в сосновую плоть. Первый лесоруб через всякие полчаса замирал — вроде отдыхал; а второй думал: «Самое время обгонять!» — и пуще рубил топором. Пролетели три часа, судья просвистел отбой; и второй лесоруб был ошеломлен, когда судья известил, что первый за три часа срубил вдвое больше сосен. «Как ты смог меня обогнать?! — обиженно возопил первый. — Ты же каждые полчаса отдыхал, а я рубил и рубил без передыху!» «Да, я останавливался, — ответил второй лесоруб, — но не отдохнуть, а подточить топор, а ты рубил и рубил тупым...»

Заполюшной, быстрой весной отшумела юность, разметавшая соперников по белу свету. Иннокентий Климов тянул офицерскую ляжку. Иван Краснобаев, будучи газетчиком, шатался по сибирским деревням и селам. Потом из сельского очеркиста возрос до очеркового литератора; и через четверть века после памятной заготовки дров вдруг случайно встретил Серафиму Ивановну в Иркутске — лечила нервы в здешней здравнице, иногда выбиралась в город, любясь чудесами деревянного и каменного зодчества.

Иван выведал: Серафима Ивановна с учителем столярного труда вырастила сына и дочь, но рано овдовела и ныне одиноко доживала век в стареньком, ветхом городишке. Былая краса Серафимы Ивановны по осеннему построжала, словно уготовленная к грядущей зиме; и, вновь очарованный, Иван год жил перепиской, потом навестил учительницу в сонном городишке, но вдруг — короткое послание, где Серафима Ивановна оповестила: «Ваня, радость моя, дни мои сочтены; и через месяц, будешь в храме, поставь на канун свечку во упокой моей грешной души; да и в алтарь пошли заупокойную записку. И я посильно молюсь о душе твоей...» Упокой, Господи, душу усопшей рабы Твоей Серафимы, прости ей вся согрешения, вольная и невольная, и даруй ей Царство Небесное...

Лесные займки и дрова

У мужиков случаются увлечения: иной почтовые марки копит, иной проще — спичечные этикетки; иной за полевыми бабочками угорело носится (слава богу, не за бабами); иной шарится по тайге

с понягой* на горбу; иной, словно горный козел, скачет по скалам; иной тьму денег ухитил на черную зависть простолюдию и путешествует по миру на белой крейсерской яхте — в белых штанах, а зазноба в чем мать родила; иной, что нынче в диковину, забивает шкафы и полки книгами; иной увлекается футболом, иной — спиртоболом. А Иван Краснобаев увлекался дровами — тридцать зим пилил дрова на лесных заимках — да, к слову сказать, еще и сажал картошку.

Душно, скучно, гибельно сельской душе в бетонной пещере, а посему Иван, будучи доцентом университета, потом — мелким издателем, дня три в неделю служил, прочие дни — на дачах; а выйдя на пенсию, и вовсе не выводился из лесных заимок, забредая в город лишь от житейской нужи и крещенской стужи.

Но пока до пенсии, як медному котелку, служить да служить; и абы не стыть в дачной избе, абы размяться и по зимнему лесу прогуляться, Иван пилил дрова; да так дровяная страда втемяшилась в разум, что, бывало, катит на поезде, хлебает чай из граненого стакана с резным подстаканником и глядит в окошко, где снежные поля и леса, где утонувшие в сугробах ветхие избенки, — глядит и вроде любитесь, но, любясь, вольно ли, невольно ли высматривает сушины, годные на дрова, не созревшие в коре.

За четверть века случались отрадные зимы, когда Иван даже в крещенскую стужу обитал на дачах, хвастливо величая их «лесные заимки», ибо вначале обрел избушку в таежном байкальском распадке, потом — ближе к городу, на затяжном пологом хребте. А коль перелесок под рукой, то поздней осенью, зимой и ранней весной заготавливал дрова.

Заселившись в тенистом распадке на отшибе байкальского села Култук, Иван обиженно вопрошал себя: «Что творится-то, а!.. В лесу живу, а без дров сижу. Жить у воды, да не напиться...» Но усадьба покойного кузнеца-единоличника досталась с дощатым сараем, где, лаково взблескивая, чернел каменный уголь. Хотя и не мил уголь — пылица да угарный жар, — но вынужден просеивать его сквозь панцирную сетку и топить плиту, хотя русскую печь не поганил углем, протапливал дровами; и благо угля хватило лишь на зиму, потом пришлось по старинке, свалив топором, таскать с хребта сухостойные березы и осины.

Поначалу навещал байкальскую заимку короткими набегами — работенки выше крыши, — и однажды поздней весной прибежал переколоть дровишки: сухие чурки уже давно и бесхозно дыбились горой посреди ограды, желтеющей одуванчиками; и уж взялся за колун — нагрянули гости, словно в песне: «Самолет летит, колеса стерлися, мы не ждали вас, а вы приперлися...»

После гостей Иван сам гостил в родном забайкальском селе; и уже посреди лета колот чурки, набухшие травяной сыростью, вязкие, заплесневелые. Ладно, листвяк, сосняк — терпеливый, а уж береза под шкурой

* Поняга — самошитый таежный рюкзак.





шибко прее в жару, быстро гниет, и, бывало, найдешь в тайге брошенную березовую чурку, возьмешь в руки, а из чурки, как из трубы, сыплетсЯ изжелта-белый сухой прах. Словом, дрова вышли никудышные, но уж зато следующее лето поленья, березовые вперемешку с лиственничными, заготовленные по зиме, сложенные в стройную поленицу, тешили хозяйский глаз.

И, помнится, вырвался Иван на заимку вначале весны, вошел в ограду и остолбенел: от поленицы, как от горемычного козла, остались рожки да ножки. Догадался — да и санный след указал — дрова укочевали в усадьбу Хомяка; хотя какая, господи прости, усадьба, коль Хомяк, пьющий на пару с Хомячихой, давно уж спалил дощатый заплот, сараюшки, стаюшки и ныне избенка нищенски чернела на семи ветрах. Теперь и на Ивановы дрова позарился: видно, голод да холод не тетка, как замерзать — пошел воровать. Парень, позаочь прозванный Хомяком, — косая сажень в плечах, борода до колена, а дров ни полена; и хорошо, Хомячиха, эдакая юркая махоня, на Московском тракте от случая к случаю торговала копченым байкальским омулем, а то бы и вовсе загнули.

Вспомнилось, по осени завернул Хомяк одолжить гроши на похмелье (займи мне, а возьми на пне), и с лютой завистью смотрел увалень на поленицу, что золотилась на утренней заре; и хотелось Ивану усмехнуться: завидки берут, на чужу кучу глаза пучишь; но предчувствие затомило душу — вороват Хомяк... Да так оно и вышло, после чего Иван, тяжело вздохнул и вырешил: «Пора, хомячки, прощаться с вами и с байкальской заимкой...»

Эх, ни дров, ни лучины, а живут без кручины; как ни заглянешь — либо, обнявшись, дрыхнут средь бела дня, либо жрут паленую водку, что у шинкарки обменяли на ворованное барахло — видно, очередную дачу обчистили. Хомяк фомкой дергал дверные пробои, Хомячиха сноровисто совала в заплечный сидор дачное барахло, не брезгуя и шторами из посеревшего, древнего тюля. Но бог шельму метит: не бывает вор богат, а бывает горбат; хотя и не вырос горб на спине Хомяка, но по пьянке обморозил пальцы, и жутко смотреть, как сжимал горемыка культями граненый стакан с паленым пойлом. Но, говаривал Хомяк, нет худа без добра — дали пенсию по инвалидности, правда гроши, лишь для поддержки штанов, чтоб не упали, но и за то поклон собесу*.

Иван, не помнящий зла, жалостливо размышлял: «Не я — Бог им судья, поселковым хомякам; у нас, богемных любодеев, грехи потяжелей... Да, вороваты, но ведь алкогольная зависимость — хворь, а с хворых какой спрос? В кармане вша на аркане, а душа горит геенским полымем, требует катанку. Поневоле бежишь по дачам; высмотришь, что худо лежит, отнесешь шинкарке, а та, лихая бабища, вынесет пластиковый пузырь сладковатой отравы, погружающей душу в желанный бред...»

* Собес — государственный орган социальной помощи населению.

Иван редко вспоминал култуковских Хомяков, а если и поминал в застольных беседах, то ради потехи; чаще же, словно в счастливом сне, виделся таежный распадок с извилистым ручьем и усадьба, любимая до слез, что лепилась к плешивой сопке, с вершины которой семейство Краснобаевых любовалось священным озером Байкал. В памяти оживали закаты и рассветы в кедрачах, брусничниках, черничниках, в грибных сосновых борах; слышались азартные беседы у ночного костра; оживали и вдохновенные ночи, когда, исписав пачку серой бумаги, сладостно утомленный выходил в ограду и душа счастливо кружила над вершинами древних сосен и лиственей, возносясь к звездной россыпи.

Помнится, студенты-журналисты писали зарисовки о вешних лесах и полях с использованием просторечной лексики и фразеологии, а Иван Петрович Краснобаев, университетский доцент, пялился в окошко, вспоминая вчерашний день. Вчера обитал на байкальской заимке, что таилась в распадке, под сенью двух таежных хребтов; вчера волочил с угора сухостойную осину на дрова и конопатил мхом банный сруб, а ночью, кружа воображением в родимом селе, с тихим восторгом сочинял роман о сельском детстве и отрочестве.

До слез любил Иван байкальскую усадьбу; тосковал, словно по матери, забытой-заброшенной в лесной глуши, а выпив хмельную чару, лил покаянные слезы на столешню. В распадке росла малая дочь, выросла старшая, рядом жили добрые приятели — писатели и живописцы; в избушке меж крутых хребтов, случалось, вдохновенно читал и сочинял ночи напролет; а днями азартно пахал на усадьбе. Поклон Лесной улочке, что народилась у говорливого ручья...

По осени, когда лиходеи дважды выломали двери в избу и вынесли жалкую утварь, когда вырыли картошку, — а Краснобаевы в урожайное лето накапывали дюжину кулей, — когда и поленницу дров уволокли, Иван горестно доспел: дача в нищем поселке — искус безработному, хмельному люду, а посему решил кочевать в дачное садоводство, подальше от лихих селений. По дешевке продал усадьбу и через год поселился в избушке, радуясь: полчаса ходьбы от полустанка и окнами в пологий хребет, у изножья поросший березняком, сосняком и осинником, а повыше — листвяком, столь желанным печи в крещенскую стужу. И в радость дровосеку, что у полустанка имя лесное — Листвяничный и у садоводства лесное — Березовое.

«Эх, в тайге бы заимку, — вздыхал Иван в послании писателю Тарковскому, что четверть века штатно охотился в енисейской северной тайге. — Завидую снежной завистью: ты обитаешь в тайге, я под грохот поездов живу в пригородном березняке и сосняке. Охота пожить в зимовье, в краю непуганых рыб и бичей, когда рыбацкая клюет на голый крючок и рвет жилку, когда в тайге черным-черно от черники и вишнево



от брусники, а рыжиков, сырых груздей — хоть литовкой коси... Свистни, прибегу...»

Свистнул бы, да, поди, чует: не разбежится товарищ, коль шарит в кармане, хватит ли на трамвайный билет. Опять же Иван зря приbedнялся в послании; слава Всевышнему, и его леса добры: могучие сосны и лиственни рядом со звонколистым, певучим березняком.

В прошлом году — затяжная поздняя осень, теплая, посему и сиротская, и вербе почудилось — весна: распушилась, яко на Вербное воскресенье. Ох, поспешила верба с пухом: на Казанскую Богородицу небо с утра прослезилось, а к потемкам приморозило, ночью оттепило, и до рассвета — густой снегопад. Верно речено стариками: осеннее ненастье — семь погод на дворе: сеет, веет, крутит, мутит, ревет, сверху льет и снизу метет. Потом весна явилась, тоже не чище; времена года хороводились вокруг лесной избушки, томили душу сладкой истомой, потом жгли душу горечью одинокого, необласканного житья-бытья.

Марья — зажги снега, заиграй овражки — с любовью, но по-свойски, словно деревенскую женку, сельские мужики и бабы величали преподобную Марию Египетскую; и в день ее апрельский вдруг с отцветающих небес на вешние леса и поля слетелись все времена года: Весна — игривая дева, украшенная звонколистым зеленым венцом, Лето — томная дева в цветастом сарафане, разметавшая по смуглым плечам белесые косы, Осень — грустная дева, накинувшая багряную шаль, и Зима — суровая дева в синевато-белом покровце. Взявшись за руки, девы повели хоровод: с утра по-зимнему примораживало, потом валил сырой осенний снег, а к полудню припекло весеннее солнышко, звенели ручьи, и по-летнему зеленела, цвела мурава по сухим угорам.

Желанно вспомнилась давнишняя ранняя осень: двадцать второе октября — Яков-древопилец; на лесной заимке робкий рыхлый снег; в заснеженной роще среди голых берез поперечная нравом, стойкая береза в зеленой листве; и гадал Иван, глядя в окошко: хворь кумушку одолела или, наоборот, шибко здоровая и земля обильная в корнях?.. А потом иная загадка одолела: на Якова-древопильца, коли снег лежал крепко, мужики ладили санный путь в тайгу, расчиная дровосек — раннюю заготовку дров либо строевого леса; но с какого бока-припека, с каких пирогов деревенские мужики обозвали апостола Иакова Алфеева древопильцем, ежели в житии святого и слова не молвлено про заготовку дров и леса?! Хотя в деревенском месяцеслове эдакие чудеса сплошь и рядом: подгадал Иаков под дровяную страду — вот и древопилец.

Словом, в день апостола Иакова Алфеева, брата святого евангелиста Матфея, на Ивановой заимке выпал снег... Вечор на солнопечных угорах, среди белесой ветоши, куртинками зеленела поздняя мурава, а утром — белым-бело. Ближе к полудню подул тугой верховик, погнал за таежный

хребет стаи серых туч; над разлапистыми соснами взыграла метель — в порывах ветра с лап и вершин летел и омутно вихрился сухой снег. После полудня небо засинело, ярко отражаясь в проселочных лужах, и повешену запела капель. Но в лесу снег уже лег зимовать, и коль привалил Яков-древопилец, то Иван, сунув топор за кушак, рванул в лес — сбить охотку, оглядеть угодые да, глядишь, прихватить малую сушину.

Нынче предзимье подкралось тихо, потаенно, яко плешь у мужика: вчера вились кудри, словно буйная осока лохматилась на кочке, сегодня жалко висят кудерьки вокруг потной залысины. Предвидя дровосечный азарт, Иван торопил зиму, жил на заимке в ожидании снега, коему пора бы укрыть земелюшку, коли уж Покров пришел.

На Покров Божией Матери Иван молился в храме Святого Харлампия и, сражаясь со смертными грехами, вымаливал у Царицы Небесной спасение: «Помяни мя во Твоих молитвах, Госпоже Дево Богородица, да не погибну за умножение грехов моих, покрой мя от всякого зла и лютых напастей; на Тя бо уповаю и Твоего Покрова праздник чествующе, Тя величаю».

После обедни выбрался на лесную заимку, открыл печную вьюшку, выгреб из поддувала пепел, а то уже подпирает дверку, сыплется на притопочный железный лист, и протопил печь жаркими листовничными поленьями, хотя, жалея бедные запасы дров, мог бы и попросить, как в ранешней деревне: «Батюшка Покров, натопи печку без дров». Натопил бы... Вспомнил: однажды на Крещение (прости, Господи, грешника) упился красного вина и уснул на заимке — в сохатиных унтах и монгольской дубленке, с долгим вишневым шарфом, что умудрился повязать стильным узлом. Да и будешь спать эдак стильно, ежели изба не протоплена и пар изо рта клубится. Хотя дрова с вечера занес, а на топку сил не хватило.

Коль Покров, то и привиделось Ивану далекое до слез, когда деревенские сверстницы гадали: «Бел снег землю покрывает; не меня ль молоду замуж снаряжает?..» Эх, Ивановы деревенские сверстницы, войдя в девьи лета, случалось, ворожили на женихов, а глядя на каганец, что светил из русской печи, пели:

Каганец, каганец,
Ты скажи мне, молодец,
Когда жених ко мне придет,
Смоляных дров привезет?

А уж на Покров просом просили: «Покрой, батюшка Покров, землю снежком, а молодуху — кокошником!» А то и чуднее умоляли: «Покров Пресвятой Богородицы, покрой мою победную головушку жемчужным кокошником, золотым подзатыльничком».





Укроется свадебным кокошником и подзатыльничком сестрица-молодица, а укроется ли земля снегом?.. И вот сел Иван чаевать, обмо-рочно уставившись в окно; да вдруг почудилось: кусты жимолости, виш-ни и крыжовника затаились в предвкушении снега, но трава — зеленая, но цветут дерзкие синие цветы и листья не пожелтели у одичавшей вишни. Тепло, на окошке стадами божьи коровки пасутся, словно на лесной за-имке бабье лето, что давным-давно отошло. Впрочем, обрядолюбцы тол-ковали, что иное бабье лето лишь на Покров завершается и тогда земля укрывается белой бабьей шалью.

Глядя в зеленый сад, гадая про снег покровский, Иван тихо задремал, откинувшись в кресле; очнулся, открыл глаза: Боже мой!.. в саду белым-бело, и лес заснеженный, словно Иван уснул зеленым летом, а проснулся белой зимушкой. Убрело бабье лето, мужичья зима привалила; пора снег разгрести и торить тропу на лесной угор.

Утром вышел на крылечко, глянул: господи, столь снега выпало, что угнутая малина спряталась в сугробе и от кустов жимолости, вишни, кры-жовника торчали лишь макушки. Ближе к полудню ветер-верховик разо-гнал снежные тучи и под голубыми небесами снег, утаивший тоскливую серую землю и сивую ветошь, радостно искрился, сочно, певуче скрипел под валенками. До полудня, скинув телогрейку, Иван в охотку махал де-ревянной лопатой, торя тропинки, расчищая ограду для будущих кряжей и чурок.

Зима... В памяти поддужным колокольцем своевольно звенел стих:

Зима!.. Крестьянин, торжествуя,
На дровнях обновляет путь;
Его лошадка, снег почуя,
Плетется рысью как-нибудь...*

«Плетется рысью» смешно звучит, поправить бы Александру Серге-ичу, думал Иван, собираясь в хребет. Надо осмотреться, выбрать на по-вал березы и осины, в кронах которых жалко трепещут на ветру две-три чахлые ветки; эти лесины с гнилыми сердцевинами обречены на погибель и со дня на день рухнут. Лет пять назад горел и без того хворый здешний лес и пожар подкрался к дачному поселю, но, слава богу, вышли дачни-ки соборно да и погасили пламя. Но леса пострадало изрядно: обгорели комли матерых лесин, отныне похожих на гнилые зубы с черными дупла-ми. Подобные и брал Иван, даже если лесины росли на гребне затяжно-го хребта; а деревья с пышной кроной обходил — пусть очищают воздух от заводского чада и смрада.

А вот сосед напротив, летующий и зимующий на даче, пластал бере-зы с краю леса и подряд, оставляя после себя поляны с высокими пнями, словно могильными крестами. Иван спилил пни под корень и с каждого пня добыл по две чурки дров. Сосед, судовой моторист в отставке, сухой,

* А. С. Пушкин «Евгений Онегин», глава 5, строфа II.

смуглый, с носом что кривая турецкая сабля, злой до работы, зимой от темна до темна возил хлысты и кряжи через Иванову усадьбу с калиткой в лес; и когда в очередной раз тащил санки с доброй добычей, Иван добродушно посоветовал:

— Ты бы, сосед, повыше ходил да валял хворые. А то выпласташь, облысеет хребет...

— А мне плевать, на мой век хватит. Буржуи всю тайгу сибирскую в Китай уперли, а чо уж говорить про корявые березки!

— Это, сосед, не оправдание.

Обиделся сосед, натерил тропу в хребет через другую усадьбу; а Ивану жалко реденеющий лес, жалко и соседа — хворый же, коли злой, как пес цепной.

«Ну, Бог ему судья...» — махнул рукой Иван и полез в угор. Побродил по лесу, зорко высматривая павшие деревья и сушины, надыбал сохнущую на корню осину и завершил поход в долгий хребет со скудной добычей: береста на растопку и ветки багула, что в тепле и зимой цветут сиреневым цветом.

А утром в чиненной внахлест, линялой телогрейке, в старых катанках, сунув под кушак острый топор, крестьянский сын Иван Краснобаев впрягся вместо клячи в кондово сбитые сани с железными подрезями и, радуясь снегу, порысил в хребет. На гребне, помолясь, перекрестясь, плюнув на ладони, словно встарь, срубил топором у самого комля помеченную осину.

Даже зажив за семьдесят, Иван пахал не шель-шевель*, а чертомелил, словно молодой, и бегал как угорелый, но... сколь ни хорохорился, годы брали в полон, укатали сивку крутые горки. Вот и ныне, свалил осину — ушомкался, одышливо опал на добытый осиновый хлыст и учуял, как загнанно стучит сердце, мечется в клетке убогое.

Оглядел лесную благодать: снег иссиня-белый, небо высокое, голубое, солнце печет, сосны золотятся, — и дыхание наладилось, и сердце успокоилось, и в душе — райский умиленный покой, и сладостная дрема одолела, и дремотные мысли вяло роились под малахаем: «Рвану в столицу — и в Кремль в эдаком облачении: в телогрейке, в подшитых катанках. Пусть видят, как живет писатель, выходец из народа: и в пир, и в мир, и в лес по дрова — все одежда одна. Выходцев при серпе да молоте и в Кремле с хлебом-солью встречали, а ныне Кремль скажет: “Такой ты, Ваня, и писатель, коли в телогрейке... Чучело замшелое. И едешь в дачной электричке да в раздрызганной маршрутке, где народу битком, как сельдей в бочке; а путние писатели живут кум королю: из Парижа не вылазят, обитают в хоробах, катаются на легковушках...”»

Здесь стоит молвить: Иван, в отрочестве водитель колхозной кобылы, даже в буйном воображении не мог узреть себя водителем

* Шель-шевель — медленно, нерасторопно (обл.).





легковушки, хотя прыткие Ивановы приятели давно уже завели железных кобыл. Но Иван полвека утешался тем, что ходьба удлиняет земное обитание, вечное же сидение за рулем — укорачивает. А ходить довелось изрядно: полвека брал голубицу, черницу, брусницу, одолевая заходы в пять, семь и десять верст, да в крутые хребты, возвращаясь с горбовиком, битком набитым ягодой. С трудом водрузив на спину горбовик либо пестерь (подобие рюкзака, но из тонкого алюминия), натужно спускаешься с хребта сквозь буреломы, то на карачках проползаешь под лесиной, нависшей над тропой, то перебираешься через толстые скользкие валежины и, обливаясь жарким потом, кляня осатаневших паутов либо комаров, яростно зарекаешься: «Палкой теперь в хребет не загонишь, да я лучше на базаре ягоды куплю, чем в тайге маяться!» Но зароки, словно тальй снег, испаряются под жарким солнышком, и перед глазами синим-сине от черницы, красным-красно от брусницы, а вспомнишь ночи у костра, азартные беседы до рассвета — и за макушкой лета, ближе к осени, властно повлечет в хребты.

Иван, чуждый спорту, нынче осознал, что уже сорок лет турист с вечной понягой на горбу; осознал, когда с рюкзакищем тронулся на дачу и залез в маршрутку, где народу битком; всех распихал, отчего у юнцов и девушек в раздраженных глазах виделось: «Охренел дед, с огромным рюкзакищем в маршрутку влез! И чо деду дома не сидится?! Ладно бы лето, а то зима...» Иван, часто и тяжело вздыхая, подумал: надо переходить на легкий прогулочный туризм по аллеям парка...

Полвека прожил Иван, пехом забираясь в хребты да еженедельно топая по три версты на лесную заимку, поддергивая увесистый рюкзак на горбу, хмуро оглядывая скользящие мимо легковушки. Но сейчас, сидя на дородном пне, Иван не размышлял о ездоках и пешеходах; сейчас думы выплетались чуднее: «Ежели, скажем, в телогрейке в Кремле окажусь, Кремль, однако, поморщится: “По одежке, Ваня, протягивай ножки”. Хотя и на порог, поди, не пустят. А жаль, даже царь принимал крестьян в лаптях; да и Ленин, хотя и богохул, но принимал ходок в нищенских рубищах. Кажется, пришельцы даже чаевали с Ильичом; но, как грешили на вождя монархисты, Ильич присматривал, чтобы гости не свистнули серебряные ложечки...»

Стряхнув дремотные думы, Иван воткнул в уши наушники, подключенные к телефону, и в душе ожила Благая весть: «Тако будут последний перви, и первии последни: мнози бо суть звани, мало же избранных...»

Абы глаголы Божии не затмились житейскими мыслишками, словно хлебные нивы плевелами, добавил звук в наушниках и, загрузив осино-вый хлыст в сани, поволок добычу с хребта. Мимолетно подумал: «Ведь и Царь Небесный в земной юности плотничал и, поди, с отцом и братьями заготавливал дрова... Хотя какие дрова в Иудее, в Израиле?! Хворост...»

Утром, барахтаясь в сугробах, Иван брел по взлобку выше в хребет: дальше в лес — больше дров; а в изножье хребта продирался сквозь сосновое мелколесье, и с потревоженных лохматых лап сыпался снег, да ладно, что обратил дровосека в снеговика, но и за шиворот угодил, стылыми ручьями скатываясь по жаркой спине.

Долго ли, коротко ли, забрался на хребтинку, облюбовал сухостойный листвяк; и, помолясь на восток, вдруг сразу завел изработанную, капризную бензопилу, и цепь люто вгрызлась в древесную плоть. Иван пожалел, что дерзко и опасно замахнулся без пособника на эдакий могучий листвяк.

Но, слава богу, прицельно ухнула лесина, к радости Ивана не зависла кроной на разлапистой сосне; а случалось, лесина, падая, зависала на соседних деревьях, и приходилось либо раскачивать, чтобы упала, либо рискованно пилить на весу, а то и бросать в надежде, что за лето свалят буйные ветра. Ныне же, благополучно свалив дородный листвяк, срубил сучки и собрал в копешку — к будущей зиме просохнут, можно в снегах запалить костер, сварить чай с брусничным листом. Убрав сучья, вновь завел бензопилу и, слушая ее кликушеские завывания, раскрывал лесину. Запыхался, смахнул снежный малахай с матерого пня, присел, глядя на березовый и осиновый молодняк, утопающий в голубоватых суметах; окинул взглядом сосны от прокопченных комлей до зеленых крон, замерших в небесной голубизне. В небеса уплывет душа, и слезы отуманили взгляд...

Лес — воистину рождественская сказка: отроческие сосенки в снежных полушалках, от рослых сосен, лиственей и берез синеватые предсумерчные тени, и тишь божественная, и покой небесный. А глянул на лесной облысок — белым-бело; и невольно помянулся стих из псалма: «... мыеши мя, [Спасе], и паче снега убелюся...» Побелела борода и грива, а душа не убелилась, морошно в душе, смутно от похотей...

Засиделся, любуясь рождественским лесом, и подумал: «И на кой леший волочиться за тыщи верст, дабы узреть красоту, ежели везде Божья краса: и в седой заунывной степи, и в таежной глухомани, и среди царственных скал, и в певучих цветастых долинах рек и озер. Да что далеко ходить?! Погожим летним днем вышел на крыльцо — и обомлел от горней красы: радужное буйное разноцветье-разнотравье, а за тыном — сосны, от сосен тепло на душе, вокруг сосен — девым хороводом плывут певучие березы; а ночью — звезды сияют над сосновыми верхушками, из хребта всплывает багровая дородная луна, и сад — призрачно-инистый, таинственный, отчужденный, словно не тот, что веселил душу солнечным полуднем. Я люблюсь, встречая прекраснодушных жен и мужей, но среди добрейших живут и святые, живут ради спасения грешных, ошеломляя рабов греха вольной красотой духа. Эдак и в земной красе...»





Толкуя о здешних причудливых красотах, полвека вопрошали Ивана: «А ты, Ваня, был на Ольхоне?» — «Нет...» Глаза вопрошателя дико округлялись: «Ка-ак!.. Ты!.. не был!.. на Ольхоне!.. Обитаешь подле Байкала — и не посетил остров Ольхон!.. Ужас!..» Иван повинно опускал глаза долу и подыскивал оправдания: «Оно и впрямь, ужас, что не посетил Ольхон, — говорят, красота неопишная; но, дружище, недосуг, да и в кармане блоха на аркане...»

Но однажды надумал Иван рвануть на родные степные озера, где вырос, да земляки оповестили: высохли забайкальские озера, обратились в лягушачьи болота. Долго кручина томила душу, но горе забывчиво, рана заплывчата, и, одолев тоску, Иван вдруг вспомнил остров Ольхон. Забайкальской степью отичей и дедичей веяло, когда колесил по усть-ордынской степи, и автобусишко трясло на дорожной гребенке, как в ознобе. А степь обратилась в лесостепь, отпахнулся Байкал, озерная синь хлынула в счастливые глаза, и тряская пыльная дорога забылась. Паром переплавил Ивана на остров Ольхон, и уверился мужик на закате лет: красота божественная, особо если видишь скалы — древних динозавров, что испили байкальской воды, онемели и окаменели. Красоты тамошние Иван запечатлел на простеньких карточках; и дружище, алтайский стихотворец Сергей Чепров, узревши карточки в интернете, восторженно написал: «Да ты, брат, в раю живешь...» — на что Иван письменно и ответил: «По поводу рая, брат, загнул; живем во грехах, яко во шелках; живем не в рай, не в муку — на скору руку. И природы — райского Творения Божия — недостойны, но каемся...»

Лесную тишь огласил колокольный трезвон (эдак голосил мобильный телефон Ивана) — звонила корректор, дама, заматеревшая в литературном журнале «Родная Сибирь», где Иван пятый год главный редактор; и коль корректор говорливая, дотошная, то совещание затянулось и у редактора озябли ноги, утопающие в рыхлом снегу. «Чтой-то ноги стали зябнуть, не пора ли нам дерябнуть... хотя бы чая с малиной?» — подумал Иван, глядя вдоль тропы, ведущей к теплому крову.

— А вы где, Иван Петрович? — интересовалась корректор.

— Где-где... Сижу на пне. Ноги замерзли. Вышел в лес по дровишки...

Всякий раз дивилась корректор, смолоду привыкшая, что главный редактор, яко на троне, восседает в кресле, а на массивном письменном столе — рукописи, журнальные гранки и рядом карандашница, пепельница, бюст Пушкина на лавочке — всё из белого мрамора либо из черного чугуна.

Попрощавшись с корректором, Иван тронулся на заимку; и потом три дня вывозил листовничные кряжи, груженые на сани, что самостийно скользили с хребта по накатанной тропе, а дровосек, словно сказочный Емеля, сзади управлял вожжами; и порой сани так разгонялись, что приходилось бежать следом и сдерживать их скольжение, натягивая вожжи.

Потом Иван напил осины — прочищает печные ходы, колодцы и трубу; а вечером выдумал заделье — вырезал из осинової плашки деревянную доску для хлеба; а коль древодельное мастерство в руках не ночевало, вышло нечто забавное, под вид рыбы-камбалы.

Однажды солнечным полуднем, отдыхая на пне, Иван прикрыл глаза от спящего снега, привычно задремал и... очнулся в столичном музее Пушкина, где удостоился премии Дельвига за книгу очерков, где — для Ивана несвучно — величали его Иван Петрович. А накануне вручения, вольготно откинувшись в барском кресле, мчался на скоростной электричке из Домодедова в Москву, оценивал взглядом чахлые осенние перелески, где среди серых снегов и густого чапыжника белели корявые березы да изредка желтели сосны, печально и зачарованно глядящие в слезливые небеса, набрякшие мороком.

И вдруг, породив улыбки попутчиков, Иван хлопнул себя по лбу: ведь не глядит же вхолостую, зевая и считая ворон, а цепким взглядом ищет сухостоины и чахлые деревья, что завтра засохнут, — здоровый лес жалко брать: легкие планеты, — и, выудив взглядом сухую лесину, запомнивав, что от Байкала до Москвы шесть тысяч верст, прикидывает хвост к носу, как ловчее сушину свалить, раскряжевать, а кряжи, впрягшись в сани, уволочь в дачную усадьбу.

Щедро обмыв премию, похмельный Иван из Белокаменной махнул на поезде в песельную Вологду, где быстро исцелился; ехал по России — и в обрдевших сосняках, березняках и осинниках, плывущих за вагонным стеклом, опять же выглядывал сушины и свежие валежины, а в селах и деревнях — поленницы дров, кои в досельную пору хваткие мужики городили и в оградах, и на задворках, за стайками, амбарами, а если улица широкая, то и за тынами и частоколами. Чудилось, ежели обильны, крепки и украсны поленницы, то и мужик благочестивый, безунывный, крепкий душой и плотью, и баба домовитая, на обличку бравая, и чада — отцу, матери добрые и скорые пособники. Но, увы, было да сплыло, быльем поросло...

Какие уж, Господи, поленницы дров, ежели на тоскливом изломе веков по земле русской деревеньки унылы, убоги, наги и сирьы, словно побирушки-помирушки, укрывши голь лохмотьями, выбрали к железной дороге с протянутой рукой. Вроде пьяные, косые-кривые избушки-завалюшки со дня на день, охмелевши, отяжелевши, падут в подзаборный бурьян: окошки — мутные, по-старушечьи подслеповатые, а иные и бельмастые, с оторванными ставнями; крыши — без конька и охлупеня, изогнутые посреди, с ломаным шифером, латаные-перелатаные; огорожи с павшими пряслами, разоренные стайки и сеновалы, щербатые палисады, где чахнут кусты сирени, рябины и черемухи. На замшелых, старчески стемневших избах, где предсмертно теплится жизнь,





вместо резных коньков красуются телеантенны, заманивая в жилье любострастных демонов.

А вот в захлавленной ограде баба с охами-вздохами, кляня мужика-летуна, колет дрова, и колун в бабьих руках до слез чужероден; а по соседству старуха с долгими стонами, одышливо тюкает чурку корявым и ржавым топориком; а вечерами при керосиновой лампе молится за сыновей и дочерей, рассеянных по белу свету.

Глядел Иван из вагонного окошка, тоска морочила душу, и, дабы не впасть в грешное унынье (тут и хвори одолеют), покаянно шептал: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, спаси и сохрани народ мой...»

Помянулось Ивану давнишнее, еще в рабоче-крестьянском царстве, памятное путешествие по родному Забайкалью. Степь — унылая песнь кочевника, похожая на вольный ветер, волнующий ковыль; а в линиях ковыльную зелень, в чахлые овечьи травы косами вплетаются мерцающие цветы сон-травы, шалфея, горицвета, чабреца. Потом — степные увалы, словно верблюжьим горбам в призрачном мерцании трав и цветов; а над степью парит орел, а по солнечным увалам кочуют тени облаков и отары овец, словно брошенные с небес живые овчины.

Крытый сивым брезентом, дребезжащий газик, вздымая пыльный хвост, скакал по грунтовой дороге, и путники сморенно, сонно глядели в степную даль, где не за что глазу уцепиться, увеселиться — ни деревца, ни кустика, лишь изредка, словно рукотворный, вырастет придорожный курган с каменной россыпью на вершине и сиреневыми всполохами чабреца у изножья.

Разбудила, потешила Иванову душу отара овец, что блеющей рекой текла через тракт, надолго заслонив путь, а когда машина тихо тронулась, самые беспутые* овцы толпились перед бампером, потом, истошно вопя, побежали вперед. Вот так же, бывало, семенили перед машиной ошалевшие коровы, не догадываясь, что подобру-поздорову свернуть бы на обочину, а быки, свирепо угнув шеи, пытались еще и боднуть машину, обзлившись на выхлопной угар и моторный рев.

За отарой — бараний гурт: изба, похожая на юрту, низенькая овечья база да поседевшие от зноя прясла загонов. «И чем буряты топятся?.. — торопливо, пока гурт не ушел с глаз, высматривал Ваня поленницу дров, но, даже осинового полешка не узрев, решил: — Поди, хохир жгут — сухим назьмом печки топят. Или уж к зиме дровами запасутся...»

И вновь — томящий душу Московский тракт, куда, словно в реку, впадают ручьи мягких проселочных дорог. Да, испокон веку русскую душу и сладостно, и горько томят проселки, уходящие в степную, полевою, лесную даль, а тем паче излучины дорог.

Иван — мужик лесостепной, но все же уморила дремлющая степь; и благо, что машина мягко и беспыльно покатила по влажной пойме речушки, заросшей ивой, ольхой, черемушником и боярышником. А потом

* Беспутый — бестолковый (обл.).

с голубовато-сизого хребта спустился к дороге сосняк да забелели у дороги матерые березы, по комлям опутанные сочно-зеленым папоротником. А вот наконец и село Романовка, эдак повеличенное в честь трехсотлетия Царского дома Романовых, в память о грядущем святом страстотерпце, цесаревиче Николае, что в 1891 году путешествовал в здешних степях и лесах.

Подкатили к берегу Витима, вышли из пропыленного газика, ожидая паром; оглядели село, что разметалось избами по левому и правому берегу Витима. Горделивая радость выиграла в душе, когда Иван узрел на высоком становом берегу, среди золотистых сосен добротные и хормные избы, окруженные поленищами дров, словно крепостными стенами.

Вернулся Иван из Белокаменной к Божьему Сретению (15 февраля), когда зима с летом встретились и погода чудила: то сретенские морозы, то сретенские оттепели; а деревенские деды еще и сказывали: «Зима весну встречат, заморозить красну хочет, да от хочи лиходейку саму в пот кидат...» Словом, зима, дав на Сретение потачку теплу,дохнула наземь морозами вроде крещенских.

Махнув рукой на стужу, Иван рванул на заимку: зима на исходе, а дров кот наплакал; хотя в дровянике — две поленицы, посреди заснеженной ограды — штабель березовых и листвяжких кряжей, укутанных снегом, но все чудилось: мало... В электричке краем уха услышал: две девчушки стрекочут по-сорочьи, и простенькая с виду кажет другой, форсистой, обнову — наемдни купленный телефон; форсистая брезгливо морщит носик:

— Дрова... Для лохов китайцы в сарае сляпали...

«Ишь, дуреха, дровами телефон обозвала, а тьму веков люди дровам кланялись в ножки...» — Иван обиделся, уставился в окно, где грозно стучал колесами долгий состав, груженный строевым лесом, — уплывала тайга в Поднебесную, текли денежки в карманы толстопузых буржуев, а дурачью — телефончики да ноутбуки, прозванные «дровами». Косят остервеневшие лесорубы строевой сибирский лес, глядят задобренные лесники на грабеж сквозь пальцы, а простецов, что на лесных дачах норовят заготовить дров, так запугали, что те боятся трухлявую березу свалить. Валят исподтишка, но... боятся.

Но вот и заимка, в ограде снег по колено, в избе красота — минус двадцать пять, на кухонной столешнице стакан в медном подстаканнике, с ложечкой, и мерцает чай — бери и пей, если бы не ледяной. Благо прихватил термос, где чай горячий, подслащенный и с лимоном; но чай уже не согревает стареющую кровь — мерзнут кончики пальцев на руках и ногах, отчего приходится выплясывать «подгорного мужика» с выходом из-за печи.





Приволок березовых поленьев, щепы и бересты на растопку, и скоро огонь озорно запел; а когда открыл дверцу, дабы подкинуть дров, зарницы поплыли по сумеречной кути. Жалко Ивану печь — страдалница: замороженная, скучает по хозяину, а тот прибежит, растопит, печка и не рада — после мороза хозяин ее так раскалит, что уж духовка, сваренная из толстого железа, трижды прогорала. Да и печной кирпич крошился, не вынося резких перепадов мороза и жары.

Ну, деваться некуда, Иван протопил печь и, впрягшись в сани, побрел в хребет; за три дня вывез последние кряжи; и вешним днем, громя дзя посильные на козлы, к вечеру распилил. Любуясь чурочьей горой, гадал, как расколоть: то ли самому колуном махать, то ли звать поэта и певца Пашу Шапошникова, играющего колуном, словно казачьей шашкой.

А вечером, даже не набросив телогрейку, в кожаных монгольских тапках выбежал в ограду по дрова и тут же поскользнулся, со всего маха ухнул грудью на чурки. Да так сильно зашиб ребра, что при всяком вздохе и выдохе боль пронизывала грудь; а посему, промаявшись бессонную ночь, на сером, мутном рассвете побрел с хребта на электричку. В деревянной клинике на окраине города, где стонал и вопил раненый люд, просветили Иванову грудь и утешили: ребра целы, а боль схлынет; но семь дней мужик не мог толком дышать, не мог и курить — воистину, нет худа без добра, — отчего и бросил гибельную привычку. А ведь долго и беспрокло* сражался с табаком, потом, измученный пагубной страстью, даже молился в храме преподобному Амвросию Оптинскому: «Преподобне отче Амвросие, ты, имея дерзновение пред Господом, умоли Великодаровитого Владыку подать мне скорую помощь в борьбе с нечистой страстью. Господи! Молитвами угодника Твоего, преподобного Амвросия, очисти мои уста, оцеломудри сердце и насыти его благоуханием Духа Твоего Святаго, да отбежит от мене далече злая табачная страсть туда, откуда пришла, — во чрево адово».

Похоже, благодаря молитве святому Амвросию Бог услышал Ивана, даровал спасение от пагубы; и после сего тот, счастливый, сулился заядлым курильщикам излечить от сей похоти и добавлял, что на заимке всякую зиму вырастает гора чурок и можно грохнуться грудью на чурки и... прощай табак. «Ежели чо, дак могу и подтолнуть...» — договаривал Иван по-деревенски.

Кроме спасения от табака, Иван в потешных застольях грозился исцелить и от ожирения — на заимке припасены снадобья: штык-лопата, лом, топор, пила-двуручка, сани, тачка и носилки.

Про исцеление от табачного срама Иван сочинил записку Владимиру Личутину, доброму приятелю и знаменитому писателю: «Владимир, жив-здоров ли я?.. Мужик в деревне прихворал... кого, вру — помирал, и Господь огнем из мужика грехи выжигал, но тот не знал,

* Беспрокло — без толку, безрезультатно (обл.).

катанок сибирский. И вот мужик от боли зубами скрежещет, а спросили: “Но чо, Кузьма, как здоровье?..” — виновато улыбнулся: “Да грех, паря, жаловаться...” Тут к Богу и отошел... А меня, табакура, эдак Господь от табака отваживал: сперва по-староверчески уговаривал: “Бросай, паря, табак... Кто курит табак, тот хуже собак. Кто курит табак и пьет чай, спасенья не чай...” Однажды даже писатель Распутин с горьким вздохом подивился: “Так ты, Ваня, куришь?” Видит Господь, беспроклы уговоры, и если отец земной взял бы вожжи да разок ожег по хребтине, то Отец Небесный попустил, чтобы рухнул на чурки да и попрощался с табаком...»

Когда грудь отпустило, прибежал Иван на заимку и, радостно вдыхая морозный дух, поблагодарил чурки, расколол да в крытом дровянике выложил поленицы с такими бравыми клетками, что и отец бы залюбовался. Похвалил бы и козлы, что со второго захода смастерил на старинный манер: осиновый кряж с конусообразными запилами, куда наростопырку загнал четыре березовых ноги.

Сразу же помянулось далекое-далекое: родимая ограда, наряженная поленицей дров, и отец, уложивший колун на старую чурку с облезшей корой, сел на козлы и пристально оглядывает сына, который уже четыре зимы отбегал в школу. Отец пытается высмотреть сыновью судьбу: добрая ли вызреет или по родительским грехам горемычная... «Видимо, в отца я пошел, ежели увеселяю душу и таюсь от демонов на заготовке дров... — по писательской привычке эдак книжно подумал Иван. — А отец пошел в деда, забайкальского гурана».

В Забайкалье русские мужики и бабы, четыре века мешаясь с тамошними инородцами, обратились в гуранов^{*}: чернее головешки, коренасты и, подобно таежным козлам-гуранам, по-звериному чутки и выносливы, в тайге как в батиной избе, и сноровисты, а в сражении бесстрашны — худо-бедно Москву отстояли... Перед Байкалом же, по Лене и Ангаре, русские, веками роднясь с тунгусами, на обличку походили на гуранов, но звались чалдонами^{**}.

Да, я чалдон. Медведь таежный.
И понимаю толк в дровах.
Я рос на зелени подножной
И спал с поленом в головах...^{***}

Эдакую песнь песней дровам пропел красноярский стихотворец Александр Щербаков; а Иван, хотя не чалдон и не причалил с Дона к диким енисейским берегам, хотя и малорослый гуран, в отличие

* Гураны — народность в Забайкалье, образовавшаяся в результате смешанных браков русских с бурятами, звенками, монголами, даурами, маньчжурами. По преданию, мужики-гураны, выходя на охоту, надевали на голову шапки с рогами косуль, для того чтобы животные принимали их за своих.

** Чалдоны — результат браков с тунгусами насельников берегов Енисея, Ангары и Лены, якобы причаливших с Дона во времена Ермака и сибирских казаков-первопроходцев.

*** Из стихотворения А. Щербакова «Чалдон».





от медвежалого Щербакова, но в жарких листвяжьих дровах толк ведал. И до сипоты, до хрипоты спорил с Щербаковым, когда чалдон, прочитав Иванов сказ о дровах, вроде бы уличил сочинителя в благонамеренном вранье:

— Насчет того, что топили печи листвяничными дровами, ты, брат, слегка приврал... Лиственница — дерево редкое, а посему дрова — обычно береза, сосна и осина.

С горем пополам забайкальский гуран доказал енисейскому чалдону, что село, в коем родился и вырос, окружала сплошная лиственничная тайга, где изредка белели березы, изредка желтели сосны да зеленели елки. Эх, чалдон, чалдонище, славно пели про вас девки:

Золото мое колечко,
Хуже оловянного.
Надоели мне чалдоны
Хуже окаянного.

А с поленом в головах спал дед Ивана по материнской ветви, и любимая тетка, перекрестясь во упокой души усопшего, поминала: «Тятя, как ему за сто перевалило, чудить стал. Сбегал в лес по грибы, а грибы давно уж отошли, дак на ночь полено под голову, а ноги на подушку: мол, дурная голова ногам покоя не дала. Так и спал: голова на полене, ноги на подушке...»

Но вернемся на лесную заимку. С отрадой и умилением полюбился белесыми и багровыми поленьями, подпирающими крышу дровяника, и, спасаясь от сретенских морозов, внес в избу беремя сухих дров; уложил на бересту и лучины, чиркнул спичкой и, заморожено глядя на игривый огонек, ласково лижущий бересту и щепу, с горестным вздохом пожалел ямщика: не отыскавши дров для костра, замерзал, горемыка, в глухой волчьей степи. Помянув ямщика, прочел, вьюжно завывая, родимый стих:

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя...

Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей...*

Выпить не грех, ежели не упиваться, яко винопивцы ненажорные, ибо пьяному в стельку море по колено и смертные грехи в радость, особо блуд; но отраднее повеселить сердце не кружкой, а молитвой

* А. С. Пушкин «Зимний вечер».

и дровосечным промыслом; хотя, конечно, охота с горя выпить, да вот беда-бедушка — обманное веселье с питья хмельного: потеплеет заледенелое сердце, томно очаруется разум, и вроде утопил горе во хмелю — скрутил лихо, увязал на его синюшную шею каменную булыгу да и кинул в омут; а после — блудное веселье и тяжкое забытьё. Но утром — с гульбы обычно серым и ненастным — похмельная кручина, горше трезвой, так стиснет иссохшую, измаянную душу, что хоть глаза завяжи да в омут бежи. Ели, пили, веселились, а наутро прослезались; либо как в песне переиначенной: «А поутру они проснулись, кругом помятая братва...»

В горе — а лихо по грехам — лишь покаянная молитва ублажит и спасет душу: «...сердце сокрушенно и смиренно Бог не унижит...» — а работа до пота, в радость и охоту, укротит страсти, палящие душу. Какие страсти на вешней пахоте, на севе, жатве и покосе, на плотницкой страде, на дровосеке?! Разве что трудовые...

Прочтя вечерние молитвы, уместился Иван на лежбище под святыми образами, попрощался с зимой и азартной заготовкой дров, но и во сне причудливо виделись дрова, без коих и святому, и грешнику шагу не ступить, даже переправившись на утлой лодчонке через буйную реку жизни.

А перед сном, и смех и грех, вспомнил историю, что случилась в его селе. Вечно пьяненький, бичеватый мужичок Кузя, прозванный «ночным врачом», дежурил в больничном морге и однажды суровой зимой выскочил по нужде, заодно и дров прихватить да слегка печь подтопить, дабы покойники не оледенели; а тут пьяный дружок ввалился в морг и, коль хозяина не узрел, то и прилег на пустую лавку, что угодила на пьяные глаза. Кузя вернулся с дровами, затопил печь, глянул в комнатешку, где два мужика и баба ждали упокоения в сырой земле, — и вдруг покойничек встал, а Кузя в обморок упал... Слава богу, одыбал, но из морга перешел в больничную кочегарку.

А сон же Ивану выпал мрачный... Снилось веревочная лестница в голубые небеса, куда карабкался; но вдруг налетел черный ворон, затмив голубизну широкими крылами, ухватил Ивана в цепкие когти и, обмершего от страха, понес в кромешную тьму. «За что?» — вопрошал Иван неведомо кого, незримого в лихорадочном мраке, а неведомо кто, раскатило смеясь, отвечал: «А за то, что в душе твоей и поныне лишь грешные помыслы».

Очнулся Иван в зимней тайге, на широкой поляне, где полыхал костер, а мужички, вроде леших с рогами, подбрасывали в огонь жаркие листвяжки дрова, и огненные языки зловеще лизали закопченный котел, откуда неслись душераздирающие стоны, дикие вопли и скрежет зубовый...

Среди ночи Иван проснулся в холодном поту — сердце, словно пичуга в силках, испуганно и заполошно билось в груди, и пал грешник на колени перед образами, и, обливаясь слезами, возопил:



— Боже, милостив буди мне, грешному!..

Долгие слезные молитвы утихомирили, а коли сон изломан, решил подтопить печь и пошел за дровами.

Русские думы и дрова

Запасая дрова на лесных заимках, Иван справлялся без пособников, ибо трудно позвать приятелей на дачу, если заподозрят, что манит не столь бражничать, сколь пособить. Теперь уж иных не зовет — не пахари, с посошками бродят, жалобно шаркая подошвами и покаянно взирая в небеса. Но и в добром здравии тоже, бывало, не упросишь; однажды сулился старинный дружок, да все беспрокло; а повинил Иван — тот ловко отбрехался.

— Ждал тебя, Егорша, в четверг. Думал, подсобишь... Сулился же, божился! Пошто не приехал?

У Егорки на всё отговорки:

— Дак это, паря, тово, понос одолел...

— А в субботу обещал?

— А в субботу, паря, тово, золотуха...

— Ясно, что дело тёмно: то понос, то золотуха...

Звал Иван и другого давнишнего дружка, тот задумчиво чесал затылок, скреб дремучую бороду, потом, хитровато прижмурившись, виновато улыбнувшись, то ли спросил, то ли заверил:

— Припашешь же, Ваня?!

Утешил:

— Шибко-то, Фома, не припашу. Сороки, воровки, облепиху клюют, так облачился бы пострашней и в кустах постоял, руками помахал...

— Заместо чучела?

— Чучела, не чучела, но работенка же не бей лежачего — руками махать. Непыльная. А с меня магарыч.

— Магарыч?

— Ну, поляна, угощение...

Смех смехом, а припахал бы. Бог не дал Ивану сынов, работающих зятьев, и, что греха таить, не имея пособников, Иван, случалось, тайгой и баней заманивал друзей на дачу — на старую, в байкальском селе Култук, и новую, у полустанка Листвяничного, что поблизости от реки Олхи. И до вечернего застолья либо утром ласково пытался гостей «припахать»: сильных, сноровистых — ветхую стайку ломать, малахольных — ржавые гвозди выправлять, тихих семейных — ягоду брать: вишню, смородину, малину, облепиху; но чаще уводил гостей в лес, что в Култуке — сразу за частоколом, а в Березовом садоводстве — за сеткой-рабицей. И душе отрада, и подворью добро: надышались хвойным духом, полюбовались тайгой и лесными еланями в цветущих жарках или голубоватых снегах, а на обратном пути спустили к избушке сухостоины на дрова или осиновые жерди на заборные прясла. Дико Ивану, сельскому жителю, шататься



в лесу без заделья; к сему приваживал и гостей, даже и приятелей-писателей. С мужика — сухостоина либо жердина, а коли с женой либо невестой — два хлыста; сунул башку в семейный хомут или пялишь хомут на выю — и за богоданную трудись, не ленись.

Благодарно поминая друзей, кои без насилия, по доброй воле подсобляли пилить и колоть дрова, Иван вспоминал и вечерние застолья с песнями и плясками, с жаркой словесной бранью, ибо кручина одолевала, лишь подумаешь о горькой судьбинушке родного люда. И в прошлые века баре да разночинцы, сойдясь в хлебосольном доме, судили-рядили о народной доле и воле, враждебно межуются на славянофилов и западников. Однажды промозглым невским ветром занесло Достоевского в некий петербургский салон, где дамы и господа, вкусив бургундского вина, с полудня и до позднего вечера спорили о смысле человеческого житья-бытья и о спасении души. В сумерках кухонный мужик принес охапку дров, нащипал лучины для растопки, зажег камин, и Достоевский, угрюмо сидевший в углу, вдруг воскликнул, указав на истопника: дескать, идите к сему мужику, внимайте мужику, лишь куфельный* мужик и ведает смысл жизни. Дамы и господа сконфузились, а чтущие западных мыслителей насмешливо скривились, словно отведали кислоты с куста; и в скороморшеском обличье пошла шататься по салонам идея «куфельного мужика», якобы приглашенная безумцем.

Ночью и утром валил снег, да столь щедро, что к полудню дачный сад утопал в белых сугробах; сиротливо топорщились верхки смородины, вишни, жимолости и крыжовника, а ветви малины, согнутые в дугу, и вовсе сгнули в снегу; лишь высились над снежными дюнами кусты облепихи и ярко светились оранжево-алые ягоды — облепили ветки рыжие детки, и чудом не склевали облепиху лесные птицы. Снегопад, похоже, зарядил надолго — тоскливая мгла заволокла дачное поселье; помутнел и смерк белый свет. Но в снегопад дремлют крещенские морозы, теща стариков и старух, ветхую плоть которых вяло греет усталая кровь. Впрочем, к полудню разыгрался ветер, и колючий снег полетел над землей; и метель взвыла, а в степи, поди, уж буран бушует.

Но лишь в непогоже ощущим ласковый уют в тепло натопленной избышке, где Иван Краснобаев да Ярослав Анисимов хлебали чай, хвалили печь и жаркие дрова, судили-рядили о крестьянском роде и родном народе, костерили фармазонов, что нынче, на исходе усталого века, воцарились на Руси.

Растекаясь мыслью по дереву, утопая в щедром глаголании, мужики забыли, что наладились в хребет по дрова, и славно чаевали подле ласковой печи, ублажаясь казенными шаньгами. Сквозь заснеженное окошко

* Куфельный — кухонный, служащий при кухне (устар.).





вопрошающе косились на поляну перед мелколесьем, где по-волчьи выла метель, летел косой снег, мела поземка, вихрясь в порывах ветра. Сдурела метель — даже в усадьбе взыграла, словно за околицей ведьмы свадьбу справляли; но бодрились приятели: мети метель, нам, мужикам, не боязно, мы в опрятной, теплой избе — печка пышет сухим жаром, — мы пьем чай и в ус не дуем, нам даже отраднo любоваться метелью из тепла и напевать: «Вьюга смешала землю с небом...»*

Но сиди не сиди, доброй погоды не высидишь, пора и дровец напилить — за зиму иссякла поленница, улетела в обжорное печное чрево, да и не худо бы поразмяться, чтобы и среди городских удобств плоть помнила не поросшую травой-дурниной, бывую отраду сельского труда. А что лютует ветер-снеговой, то не беда: у природы нет худой погоды. Словом, приятели, перекрестясь, помолясь, положась на волю Божию, выпали из утревного жилья на ветер и снег, который пуще и гуще замесился — не видно ни зги, и дровосеки лишь чудом угадывали тропу среди заснеженного березняка и осинника, среди дородных сосен, что с обманчивым теплом светились в сумеречной роще.

Есть горделивая услада: набычившись, подражая сибирским первопроходцам, настырно брести сквозь метель, подставляя лицо колючему снежному ветру, палящему нос и щеки, вышибающему обильные слезы. Впрочем, в лесу потише, ветер не сшибает с ног; а посему дровосеки взбодрились, повеселели. Долго ли, коротко ли, но, волоча двое саней, облепленных снегом, запыхавшись, выбрали на опушку, где Иван загодя пометил три березы, после низового пожара почерневшие с комля, сохнувшие на корню.

Коль бензопила-привереда отказалась пилить, пришлось, веселя души древним дровосечным ремеслом, валить и кряжевать березы пилой «Дружба-2»**, в народе весело прозванной «тяни-толкай». Накатав тропу, приятели спустили в усадьбу дюжину кряжей, и, хотя Иван уговаривал заночевать, Ярослав рванул на позднюю электричку — в молодом рабочем городке Шелехово барышня ждала кавалера.

В юные лета, покинув байкальское село, Ярослав пахал в горячем чугунолитейном цехе; потом, заочно обучившись, осел в Шелеховской заводской газете и, увы, случилось, впадал в недельные запои, а посему, настрадавшись, жена бросила запойного мужика. После развода осталась в квартире с двумя погодками, что учились в старших классах, а Ярослав ютился в заводской общаге, но лет через десять вернулся в былое жилье, ибо старший сын, солдат срочной службы, погиб в Чечне, малой, выучившись на геолога, махнул на Крайний Север, а бывшая супруга, выйдя за вдовца, вселилась в его каменные хоромы. В те лета Ярослав, смолodu богомольный, во избавление от пьяного беса усердно молился и святому Иоанну Кронштадтскому, и святителю Вонифатию Милостивому,

* Некогда популярная «Песня о любви» на стихи Л. Ошанина и музыку А. Островского.

** «Дружба-2» — двуручная поперечная пила.

и преподобному Моисею Мурину, и пред иконою Божией Матери «Неупиваемая Чаша»; и одолел молитвенник беса, изверг из души.

Долго не виделись старинные приятели — и столкнулись на отшибе села Посольское, где на высоком байкальском берегу бело и величаво красуется церквями Спасо-Преображенский мужской монастырь, где под сенью могучей крепостной стены — часовня в скорбную память о погибших русских послах, что при царе Алексее Михайловиче пробирались с дарами к мунгальскому Цысану-хану. Царский посланник Ерофей Заболоцкий и его сын Кирилл, а также подьячий Чаплин, казаки Василий Бессонов, Терентий Соснин, Афанасий Сергеев, Яков Скороходов и промышленный мужик Сергей Михайлов переплавились на дощанике через Байкал, вышли на студёный осенний берег. До костей промерзшие на лютом октябрьском ветру, послы нарубили дров, благо в кедровом бору изрядно сушняка, развели костер, абы согреться, и тут из тайги вылетела стая бешеных собак — брацких* людей, побила и ограбила русских, не успевших схватить сабли и ружья. С тех скорбных лет байкальский берег, освященный праведной русской кровью, украшенный монастырскими куполами и крестами, в память о погибших послах величается Посольским, а над прахом коварно убиенных могильные кресты золотятся на байкальских зорях.

Иван седмицу послушничал во святой обители, читая и правя сочинение здешнего наместника, архимандрита Николая; и однажды, гуляя по обители, увидел возле горы сосновых чурок Ярослава; приятель коллол дрова, играючи ладным колуном. Обнялись, расцеловались, и дальше уже кололи вдвоем, выстроив чудную поленницу дров в виде церкви с шатровым куполом. Из монастырских послушников Ярослав пытался с Божьей подмогой возрасти духом до монашеского пострига, до ангельского чина, но, увы, наместник не благословил, и приятель вернулся в мир, словно приземлился, покружив под небесами на ангельских крыльях. При боголюбивом отречении от дольного мира ради мира горнего Ярослав мог взойти во святые юроды, но, увы, любил мужик и дольный мир, который его не жаловал.

Жил бобыль бобылем, да вдруг на закате лет по уши влюбился, словно безусый юнец, что бреется мокрым полотенцем. Даже исподтишка стихи кропал — литератор же — и, смущаясь, краснея от счастья, хвалился подругой, казал цветную карточку, утаенную в нагрудном кармане, греющую душу. Карточка жила в потертом рыжем бумажнике и после бракосочетания и венчания в храме. Иван каялся: обидел Ярослава, с ироничной улыбкой читая с листа его любовную лирику, напоминающую ходовой стишок: «Ветка сирени упала на грудь, милая (Галя, Валя, Оля, Поля...), меня не забудь...»

Однажды приятель ночевал на заимке; а Иван, жалея дрова (скупердяй же), на ночь худо протопил печь; изба после полуночи выстудилась,

* Браты, или брацкие люди (брацкие мунгалы), — обычное наименование бурят в исторических документах XVII—XVIII веков.





и утром хозяин покаялся в скупости, но Ярослав успокоил: приснилась возлюбленная, вот, обнимаючи, и согрелся. Из приятельских уст эдакое звучало чужеродно, ибо, в отличие от богемных деятелей искусств, не токмо грешащих, но и восхваляющих, воспевающих блуд, величая похоть «любовью», Ярослав, по-христиански целомудренный, сроду не страдал любовстрастием. А посему и любовное чувство мужика вызрело отрочески светлым и завершилось Божиим венцом, коли паспорта увенчались печатями.

Не маяли мужика и прочие смертные грехи, вроде гордыни, зависти, алчности, да и винцом уже губы не пачкал, вопреки отчаянному выводу: мол, нет молодца, чтоб одолел винца. Гневался, правда, но вроде праведно — против супостатов.

Потом Ярослав прибежал на закате марта, когда снег опал и на солнопеках в голом сосновом бору обнажилась белесая ветошь прошлогодней травы. Иван встретил приятеля на полустанке Листвяничный, и от перрона шли по шпалам короткого пути, запасного ли, брошенного ли, глубоко вросшего в землю, отчего рельсы едва угадывались. Во времена запойного и разбойного правителя сей путь, где не гремели поезда, обнищавший народ обозвал «ельцинским» — Ельцин же грозился: мол, ежели цены на хлеб, молоко и мясо повысятся, лягу на рельсы. А цены так подскочили, что нищее простолюдые ходило в лавку, словно в музей, где экспонаты нельзя трогать руками; и ждало простолюдые: должен же лечь на рельсы, коли сулился. Или как в присказке: во хмелю что хошь намелю, а проснусь — отопрусь? И лег бы, с него, дурного и вечно хмельного, сталось бы, но... лишь на брошенные рельсы, где давно уже отшумели поезда.

Про сей «ельцинский» путь Иван и поведал Ярославу, и тот, горячий, обозвал правителя иудой, что за тридцать сребреников проданся америкосам и служил им, пьяный либо с похмелья восседая на русском троне. Речь Ярослава страдала откровенной митинговщиной; вот Иван и сманил приятеля на займку, чтобы потолковать: накануне черкал и кромсал его очерк, где, восславив черносотенство, друг во всех российских бедах митингово, запальчиво повинил еврейских большевиков, ухитивших власть в кровавой русской смуте. Ярослав хлестко озаглавил сочинение: «Черносотенцы и бесы».

Иван готовил очерк в церковно-приходской альманах «Иркутское обозрение» (в народе — «Иркутское оборзение»), где служил исполнительным редактором, а главным — протоиерей Михаил Громов. Ярослав, почитая за великую честь засветиться в православном альманахе, о ту пору уже хваленном в губернии и столице, терпеливо сносил Иванову правку, лишь зауживались чалдоньи глаза да желваки сурово набухали на костистых скулах. Обильно править, лихо сокращать пришлось, ибо очерк, начиненный гремучей смесью враждующих стилей, лишь чудом

не взрывался: выдержки из святых отцов, богословов и русских мыслителей переплетались с митинговой речью рабочих маевков.

Столь ярко и жарко светилась в его душе любовь к родному русскому народу, столь яростная клокотала ненависть к врагам, что речь Ярослав, утратив даже дольную мудрость, не говоря уж о горней, обращалась в базарную брань и добела раскалялась. Слушать подобное — что пить обжигающий чай, а посему Ивану хотелось остудить речь, хотя опять же Пушкин завещал: «Глаголом жги сердца людей». Вперив ярое око в воображенных врагов русского люда, в их гнусные хари, увенчанные рожками, Ярослав бранным слогом поражал супостатов, яко святой Егорий Храбрый пронзил копием змия, пожирающего людей. Что уж говорить про Ярослава, коли сам Николай Чудотворец, яростно споря с собакой Арием, в пылу обличения и пламеневший ревностью ко Господу, заушил еретика, за что горячего епископа лишили святительского омофора и посадили в зарешеченное узилище*. Даже и за то, что дал в ухо лжецу, святого угодника и возлюбили русские мужики вроде Ярослава, который в ранней молодости за рукоприкладство угодил на пару лет за решетку.

По натуре крестьянин и Христов ратоборец, коренастый, ладно скроенный, крепко сшитый, косая сажень в плечах, Ярослав Анисимов чужеродно выглядел на филфаке, где испокон веку паслись девчата да маляхольные очкастые ребята. Хотя Иван, тоже выходец с филфака, вспоминал: случалось, залетали на факультет и эдакие бугаи, коим бы не книжки читать, а земелюшку пахать, не стихи учить, а быкам хвосты крутить.

Верно молвлено: на Руси не все караси — плавают и ерши. В обличительной ярости Ярослав не ведал чуру** и, черпая из мутных источников, ввел в очерк сомнительные высказывания Льва Троцкого.

Слово за слово, приятели крепко сцепились, ибо один — задериха, другой — неспустиха. Осадившись на «ельцинских» рельсах, до хрипоты и сипоты спорили; орали друг другу, словно глухой глухому, размахивая руками; и если бы тихий мужичок либо тихая баба увидели, то, испуганно глядя, покрутили бы пальцем у виска: мол, чокнулись мужики; а шутники бы посетовали: что за шум, а драки нету? Могли бы наворожить, накаркать, и здесь не грех трижды плюнуть через левое плечо, где анчутка*** беспятый незримо торчит и ворчит, а потом перекреститься: слава богу, до драки споры не дошли.

Спорили о революции и гражданской войне; Ярослав с пеной у рта, брызжа слюной, твердил и твердил: дескать, евреи, после революции оседлав русский престол, с наемными карателями истребляли русский народ, крушили православную веру вместе с храмами. Иван перечил: да, истребляли, крушили — но русскими умами и русскими руками, ибо народ пал, обезбожился, вскинул руку на Бога и царя, помазанника Божия.

* По преданию, на Первом Вселенском соборе святой Николай, боговдохновенный ревностью о Господе, не стерпев арианского богохульства, ударил еретика по щеке (заушил). Собор почел дерзким сие заушение, и Николая, лишив архиерейского сана, заключили в тюрьму.

** Не знать (не ведать) чуру — не знать меры, не соблюдать правил (*устар. сб.*).

*** Анчутка — распространенное название нечистой силы (бесов).





Не смогла бы завоевать многомиллионный русский народ жалкая свора еврейских большевиков с латышами да мадьярами.

Ярослав оторопел, обернулся к Ивану, вроде сжимая кулаки, и, что таить, приятель оробел: вот она — гражданская война, сейчас кинется... под поезд бы не толкнул... смалу отчаянный, по юности наглому начальнику прилюдно в ухо дал и за драку пару лет зону топтал.

Развернулся Ярослав на полустанок Листвяничный, а у Ивана ум на-раскоряку, как вернуть приятеля; но спохватился, вспомнил деревенское: «кто много спорит, тот ничо не стоит» — и пошел на попятный; и не потому, что лишился пособника на заготовке дров, а потому, что со светлой завистью любил ясную русскую душу Ярослава.

— Может, Слава, ты и прав. Прости, брат...

Постепенно приятели остыли, потом помирились и дружно потопали в гору. В избушке подтопили печь, и коль Ярослав свою бочку по молодости выпил, а ныне сивуху на дух не переносил, то приятели заварили густой чай с мятой, чабрецом и смородишным листом. Позже подбежал дачный сосед Коля, прозванный Таёгой*, и три дровосека, впрягшись в трое саней, полезли в хребет, где Иван, по обычаю, загодя приглядел добрые сушины.

По-вешнему голубело небо, солнышко припекало, снег искрился, таял, яко воск от лица огня, пахло сопревшими, лоняшными** травами, оттаявшей хвоей; и в душах, даже и остарелых, усталых, играло мартовское солнышко, искрился снег, залиvisto пела веселая птица-веснянка.

Выбрали мужики листвяк, что уже скосился, готовый со дня на день рухнуть, завел Иван бензопилу, и лишь цепь въелась в дерево, как ухнула снежная кухта — и мужики оторопели, похожие на белые привидения, на снежных людей. Потом Иван кряжевал листвяк, а напарники обрубали сучки; и когда Ярослав, сучкоруб, ловко сек топором листвяжки ветви, Иван любовался молодцеватой статью, словно и не закатный мужик подсоблял ему, а сельский паренек в вешнем соку, в играющей силе.

И разве мог Иван вообразить, что вскоре, с оказией передав альманах, где явился на белый свет очерк Ярослава Анисимова «Черносотенцы и бесы», увидит сочинителя на смертном одре, сухого и желтого, в окружении родичей. Правда, Ярослав повинился:

— Уж прости, брат, нынче без меня дрова заготовливай...

— Не, паря, без тебя не обойдусь, поправляйся.

Приятель вяло улыбнулся. Навидался Иван смертей на веку, як на волоку: ушли родители, четыре единокровных брата и две сестры, бесчисленные родичи, сослуживцы, приятели — писатели и художники; доводилось и сидеть в ногах у доживающих остатние, скорбные дни; сидеть на краешке постели, сутулясь, виновато и скорбно отводя взгляд от иссохших, восковых лиц; доводилось и слышать обреченные прощальные слова, не ведая, как и откликнуться.

* Таёга — матерый таежник в прибайкальской тайге.

** Лоняшный — прошлогодний.

Друзья и дрова

Прятели говорили об альманахе, где, на радость Ярослава, вышла первая часть его очерка «Черносотенцы и бесы», а беседуя, не поминали пустоглазую с косою, что постаивала у изголовья друга; тот еще надеялся выкарабкаться, хотя, с отрочества храбрый, воистину воин Христов, смерти, похоже, не боялся, в полную душу покаявшись в грехах.

На могилку водрузили скальный валун с эпитафией, загодя Ярославом сочиненной: «Под сим байкальским камнем покоится прах Ярослава Ивановича Анисимова, многогрешного раба Божия, что спасался любовью к родному русскому народу. Братья и сестры, молитесь Бога о спасении души раба Божия Ярослава».

Поминая приятеля, тихо умиравшего, Иван видел Серафиму Ивановну, запоздало возлюбленную, слышал гаснущий голос Надежды, очерк которой давно уже кис в портфеле «Иркутского обозрения»; и, помнится, чудом вызвонил, бодро поздоровался и, хотя слышал, тяжело больна, все же весело спросил:

— Жива-здорова, Надя?..

В ответ услышал:

— Умираю я, Ваня...

Как не ведал Иван, чем утешить уходящего Ярослава, так же не ведал, что сказать Наде; но сдуру, впопыхах ляпнул:

— Не спеши, поправишься — сразу позвони...

И с той поры Иван негасимо слышал голос, далекий-далекий, словно уже с небес: «Умираю я, Ваня...»

А вскоре позвонил старенький сельский писатель, с коим в Култуке совместно запасались дровами:

— Ваня, я крепко залег. В хосписе лежу, отсюда уже не выходят. Богу душу предаю. А думал, проживу, взял машину дров на зиму...

Но в сем случае Иван обрел дар речи и, словно приходской поп, властно советовал исповедаться, причаститься Святых Даров, собороваться и, пав на колени, покаянно молиться, стуча лбом в половицы.

Ярослав и без Ивановых наказов исповедался, причастился, потом соборовался — легче грешной душе взбираться по лестнице мытарств, когда налетят чернокрылые бесы, дабы унести душу в ад кромешный, где огонь неугасимый и червь неусыпный, где плач и скрежет зубовный. Но до сего ангел-хранитель да иные белокрылые ангелы Божии обороняли покаянную душу раба Божия Ярослава и, вероятно, оборонили, и упокоилась душа в райском блаженстве.

Друзья и дрова

С радостной любовью вспоминал Иван товарищей, вроде Ярослава Анисимова, что посещали лесную дачу и зимними вечерами в братчинном пиру веселили его тоскующую душу русской песней, жаркой беседой, а до застолья, абы размяться, пособляли валить, кряжевать, спускать с хребта сухостой, колоть чурки на дрова.





Однажды зимой пригласил Иван на заимку доброго приятеля Пашу Шапошникова, музыканта, стихотворца, и Паша радостно спросил:

— С гитарой или саксофоном?

— С колуном, Паша. Дрова колоть. Шучу, брат. Приезжай с гитарой, саксофон уже слушали.

Беда от саксофона. Помнится, однажды в сумерках спустили с хребта последний кряж, Петр Алексеевич Романов, кашевар, сварил омулевую уху; и дровосеки, отведав красного вина, закусив, слушали Пашин саксофон. А коль горница тесна и низка, а саксофонист неистов, то слушатели оглохли и дивились: чудом изба выстояла, когда звуки, истошные и пронзительные, словно дикие вопли кедровки в ночной таежной тиши, впивались в брусовой сруб, выдавливали окошки.

— Нет, Паша, лучше гитару бери. Нынче на видео запишу, как ты играешь и поешь. Петр Алексеевич приедет, Таёга подбежит, сосед мой...

И в тот февральский день Иван и Петр Алексеевич, отставной подполковник милиции, прилегли вздремнуть, ибо после сытного обеда по закону Архимеда полагается поспать; а Паша, скинув Иванову телогрейку, напевая и насвистывая, к вечеру переколол гору крученых-верченых, сукватых сосновых чурук.

Иван дивился, глядя, как моложавый мужик, вроде вечный юноша, погрузив на сани два, а то и три кряжа, толкал сани по накатанной тропе, и когда сани, скользя с крутого хребта, разгонялись, падал на кряжи, летел вниз, громогласно и восторженно вопя. Но вскоре сани сбивались с тропы, врезались в сугроб, Паша нырял в снег и, утирая мокрое лицо, пуще ликовал среди сугробов, что в оттепельные дни замораживали взор, слезяще искрились под небесной синевой.

Вот так же шутя, любя, играючи Паша колот чурки, и гора поленьев росла на глазах. А уж смеркалось, и блеклое небо укрылось густой синевой, и уж Иван просом просил:

— Бросай, Паша, колун! Завтра поутру докоleshь. Пошли, Петр Алексеич зовет на ужин. Баранина остынет...

Но Паша, упорный и азартный мужик, угомонился лишь тогда, когда расколол последнюю чурку.

Петр Алексеевич стгоношил ужин — чугунный котел тушеной баранины с картошкой, и подбежал Иванов сосед Коля Таёга. Бакшеев Коля, крепкий мужик, изрядно сменил профессий на трудовом веку и перед пенсией крутил баранку в пожарной части. Выйдя на заслуженный отдых, лет десять зиму и лето обитал на лесной заимке, поскольку с городской женой, увы, жили словно кошка с собакой, и кто прав, кто виноват, лишь Богу ведомо. Таёга, хотя и корявенькую, но своеручно срубил избу с летней мансардой, потом и баньку из осинового леса, похожую на таежную зимовьюху; и хотя годы ползли к восьмидесяти, шустро бегал по хребту на широких охотничьих лыжах, подбитых изюбриной шкурой. Летом Таёга добывал черемшу, жимолость, чернику, бруснику, а зимой пилил

дрова и вечерами вырезал из осины таежных зверей, причудливых зверушек и пичужек, леших и кикимор, домовушек и баннушек, ёкарных бабаев и ёшкиных котов.

А познакомился Иван с Колей забавно. По натуре Таёга — мужик братчинный, а посему, махнув рукой на запущенный сад и огород, вечно шатался по заимке, пособляя друзьям заготовить дров и застольничая. А когда Иван прикупил избушку, кою потом перестроил и достроил, Таёга тут же прибежал знакомиться. Поинтересовался:

— И откуда ты родом?

— Забайкальский я, паря. Из Бурятии.

Таёга повеселел:

— Да? И я, паря, из Бурятии! А ты из какого аймака?

— Из Еравны, село Сосново-Озёрское.

Таёга выпучил восторженные глаза, словно узрел чудо:

— Ого, за тыщу верст земляка встретил! Я же, паря, из соседнего села, из Романовки. Верховье Витима. Слышал?

— Кого «слышал»?! Сто раз гостил в Романовке у племяша! Красивое село, кругом тайга.

— Дак я, паря, с пеленок из тайги не вылазил. Мы же, Ванюха, гураны — помесь русских с бурятами, эвенками. А те, паря, охотники фартовые.

— Романовка... Красивое село. Я-то вырос в степном селе, а Романовка таежная. Помню, ехали на газике, кругом степь, а к Витиму убежали — тайга. В Романовке левый берег низкий, березнячок да осинничек, а правый становой берег высокий, и сплошной сосняк. А дома добротные, а возле домов сплошные поленницы дров...

— Да, паря, на Витиме тайга богатая, из окошка глухарей стрелял, а за околицей зверя брал. Помню, шестую зиму в школу бегал, и под весну пилили с отцом дрова, и вдруг...

Витимский таежник поведал случай, как попутно с дровами завалили сохатого, и в будущем Иван услышал от Коли — Таёга же — дюжины охотничьих случаев, как зверовал в северной тайге, особо на таежной метеостанции, где посчастливилось верно служить и азартно жить с молодой женой.

И вот, когда Паша расколол остатнюю чурку, а Петр Алексеевич, кашевар, сварганил жаркое, да столь вкусное — за уши не оттащишь, когда подбежал Таёга — и затеялся дружеский пир с песнями до сипоты и плясками до упаду. Впрочем, Иван и Таёга не пели, ибо икун — не говорун, емануха — не певица, а плясали, лишь топая чоботами; а Петр Алексеевич Романов старательно плясал, хотя, бывший тверской тракторист, потом знатный сибирский сыщик, вышедший в отставку с погонами подполковника, страдал подагрой и по сему поводу говаривал: «Фамилия царская, болезнь дворянская, рода крестьянская».

Итак, Паша наяривал на гитаре «Подгорную», а Петр Алексеевич, полный тезка Петра Великого, но, в отличие от дылды царя, коренастый,





круглый и шустрый, степенно плясал, но потом сморился и, выпивая, закусывая, поведал тьму историй, как брал усть-илимских варнаков голыми руками.

— Помню, в Едучанке — поселок усть-илимский — жил на поселении бывший эк. Для поселка дрова заготавливал, а варнак варнаком, раз пять лагерные нары протирал. И помню, бахвалился, зараза: «Бывало, говорит, черная тоска накатит, пойдешь, зарежешь кого-нибудь — и вроде легче...» Языком трепал, сука лагерная, а ведь зарезал! И убежал в тайгу, где я с операми и брал эчару...

Поведав про варнака, подполковник Петр Алексеевич Романов, который нынче с ватажниками пилил сухостой в хребте, вдруг узрел родимое тверское село:

— Пять зим в школу отбегал, отца схоронили — пришел с фронта раненый, контуженый, — и остался я у матери за мужика. А мне всего двенадцать лет... Помню, осенние каникулы, одноручку-пилу, топор за кушак и — по дрова. Глубоко в лес не полезешь — снег выше колена, пилил с краю, где березы суковатые, это в густом березняке — свечки. Да и мерзлые березы, пила скачет, не вгрызается. Семь потов прольешь, пока свалишь... К вечеру гляжу, вроде на конные сани хватит, и таскаю кряжи в штабель, поближе к дороге. А уж на зимние каникулы запрягут колхозные мужики лошаденку в сани, вот я в лес по дрова. И сам бы запряг, да мал ростом, хомут супонью не могу затянуть — надо же ногой в хомут упираться. Ну а в лесу кряжи заваливаю в сани, затягиваю веревкой — и в село. А боюсь, не дай бог хомут рассупонится по дороге, мне же супонь-то не затянуть. И что делать? В деревню топать верст пять, мужика звать?.. Но, слава богу, мужики туго затягивали супонь, и потихоньку довозил кряжи до избы. А весь перемерзнешь, оголодаешь... И на весенние каникулы с матерью пилили кряжи, потом тюкал топором суковатые чурки, а уж поленья складывал в дровяник. Вот так и проходили мои школьные каникулы...

Петр Алексеевич, помянув сельское детство и дрова, сел на любимого конька и подробно поведал, как его отец в тверской деревушке не дурака валял, но — валенки в бане, загодя припасши овечью шерсть. Но и здесь дело не обошлось без дров:

— Отец заготавливал дрова для школы и клуба, а по вечерам валял валенки всей деревне. — Коль Иван уже слышал долгую историю об отцовском ремесле, то Петр Алексеевич заводил долгое повествование для Паши и Коли. — Он был каталем. Мастер был искусный, со всей округи приезжали за валенками. У нас овцы были «романовской» породы. В Сибири овцы длинношерстные, поэтому на заводах, где войлочное производство, использовали шерсть не тонкорунную, а груборунную. Овец обычно стригли по осени, вручную. Всю шерсть, которую состригли, нужно было разбить, чтобы легче пряхсть. У добротных хозяев водились специальные шерстобитные станки. Шерсть начинает скручиваться, слепливаться друг с другом и превращается в единое

полотно. Потом скручивались два колпака, которые походили на огромные сапоги. Дальше мать берет эти два колпака, взбивает и отдает отцу. А он вечерами, после работы, катал валенки. Бывало, зимой придет с работы, накормит, напоит овец, поужинает, баньку подтопит и валяется в бане валенки...

Если Ивановых друзей-писателей до глубокой старости звали Вовка, Гошка, Трошка, то сын катая еще ходил пешком под телегу, а уже величался Петр Алексеевич. Бывало, ковыляет по деревне, одной рукой держится за материн подол, другой утирает мокрый нос, а мужики кланяются: «Будь здоров, Петр Алексеич! Ишь, мужик уже, пора и в колхоз записывать — быкам хвосты крутить».

А вечернее застолье, грозя перевалить за полночь, продолжалось; и, отыграв плясовую, Паша под тихий гитарный звон пел задушевные советские песни, ставшие русскими народными, а Петр Алексеевич, Иван и Таёга, коль медведь уши оттоптал, лишь подтягивали. Для зачина и подогрева Паша лихо пропел северную охотничью:

Я открою поддувало, чтоб оно заподдувало,
Чтобы в печке затрещало лиственничное смолье.
Белый снег, и нету грязи, снегоход у коновязи,
Отвечайте, я на связи! Я приехал в зимовье*.

Разогревшись, Паша вдруг голосисто вывел сибирскую старинушку, застольникам неведомую, и те слушали, дивились:

Пойду, выйду на высокий
Я на берег Иртыша.
Ой ты, милая сторонка,
До чего ж ты хороша!
Эх, ельничек, да и березничек!
Кедровые, пихтовые
Сибирские леса!**

Петр Алексеевич с Иваном вышли на сон грядущий подышать лесным духом и, коль уж хмельные, кратко помолились, взирая на восток, усыпанный жаркими звездами, благодаря Бога, что накануне исповедались, причастились Святых Даров в Никольской церкви, посреди села Ола.

— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных отец наших, помилуй нас, — со вздохом перекрестился Иван перед крыльцом.

А среди высоких снежных суметов, под сияющей луной остался Паша, сколь певучий, столь и богомольный; раскрыл толстый

* Слова М. Тарковского.

** Автор — омская песенница Аграфена Оленичева (1911—1960). Песня «Ельничек-березничек».



молитвослов, где затертые корочки уже едва сдерживали взъерошенные страницы, и взмолился:

— Боже, милостив буди мне, грешному...

...Явился с небес Спиридон-солнорот, и медведь в берлоге заворочался с бока на бок, а солнышко по-вешнему ласково пригрело коровье брюхо; о ту пору пожаловали на заимку заветные друзья: Петр Алексеевич Романов, протоиерей Михаил Громов, настоятель храма, и живописец Александр Тихомиров, славенный в Иркутске и Москве. Мужики решили подсобить Ивану, спустить с хребта хоть пару сухостоин на дрова.

Ранней осенью сманил Иван друзей по рыжики в Тункинскую долину, где, запальчиво уверял, грибов что грязи; друзья поверили, запасливо прихватили здоровенные корзины да решили, ежели чо, дак и багажник набить грибами. Ходили-ходили, полдня бродили по лесу и даже гнилого рыжика не узрели. Нашли три подосиновика — похожи на древних старух, коротающих век на завалинке. «То ли рыжики не родились, то ли грибки выпластали?» — гадал Иван, выходя из леса на песчаный проселок, где поджидала машина. Настороженно огляделся: думал, будут друзья с березовым дрыном гонять по тайге, но величаво сияла небесная синь, тайга светилась цветами радуги, и при эдакой осенней красе браниться — святотатство. Краса и спасла Ивана от дружеского осуждения; поклон таежной красоте — дивному творению Божию.

А позже на глазах друзей отец Михаил освятил загородный дом Петра Алексеевича Романова, рубленный из толстого бруса, с верхним и нижним жильем, изнутри обшитый полированной доской с пеньковой веревкой в пазах. Рядом с эдаким хоронным домом Иванова заимская изба выглядела банькой, но в Долине Нищих — так простолюдье дразнит коттеджные поселки, — среди каменных дворцов с глухими каменными заборами дом Петра Алексеевича походил на зимовье, воинственно чуждое дворцам.

Ну да всяк сверчок знай свой шесток. Иван на своем веку дважды или трижды мимолетом, мимоходом навецал буржуйские дворцы, дивясь чудовищной роскоши и мужикам да бабам, похожим на манекены, что красуются в витринах богатых лавок. Пластмассовые манекены — вроде нежить и нерусь — говорили на пластмассовом наречии, глядели погашенными фарами на Ивана, голодранца, нищелюда.

На освящении романовского жилища, как и на церковных службах, Иван, окутанный грехами, страшился глянуть на батюшку и, пряча глаза, под звон кадила однообразно шептал:

— Боже, милостив буди мне, грешному...

Батюшка щедро кропил святой водой золотистые венцы, а заодно и друзей, обмерших со свечами, огоньки коих нежно трепетали; при сем



батюшка, в дикие девяностые окормлявший русских воинов на Кавказе, лихо приговаривал:

— Кропило пристрелянное, бьет без промаха!

Потом — каждение, и звон кадила, величавый в храме, звучал тревожно в тесной горнице, где намедни пустословил, суесловил болливый телевизор. Читая молитвы, батюшка вручал кадила Тихомирову, словно алтарнику, и живописец, рослый, вальяжный, с окладистой русой бородой, в кожаных штанах и красных сафьяновых сапожках, был столь впечатляющ с кадилом, что батюшка повеличал его «монументом», а Иван в дружеском застолье, усаживаясь на диван, весело попросил:

— Статуя, подвинься, я присяду.

Ваня и Саня, дружные смолоду, дружно страдали пристрастием к огненному питию, но если Иван, отроду равнодушный к изысканным блюдам, чтил лишь горячую картошку в мундире, то Александр, гурман, еще и чревоугодием грешил.

После освящения гнезда приятели, Богу помолясь, земно поклонясь, сели за круглый стол и, выпив по чаре холодной водочки, закусив копченым омульком, взялись за жареного сига. Иван по вдохновению разглагольствовал о русских избяных обычаях, о чудной и чюдной романовской печи, что не жрала столь дров, как Иванова, а избу грела усердно. И вдруг Иван осекся, споткнулся на полуслове, узрев, что Тихомиров, дружнице, опустошив свою чашку, выуживает рыбу из Ивановой. А в разгар застолья художник, откинувшись на спинку стула, вдруг задремал, огласив горницу богатырским храпом; и батюшка пихнул приятеля локтем:

— Саня, не храпи...

Подобное случилось однажды и в больнице, куда упекли Петра Алексеевича; не успел тот насладиться уколами, как нагрянули друзья: отец Михаил Громов, Иван Краснобаев и Александр Тихомиров. На лестничном пролете между этажами сели на лавочку и поджидали хворого, а когда тот спустился в пролет, Александру пришлось встать, чтобы хворый присел на лавочку, коя больше трех стройных не вмещала. На широченном низком подоконнике раскинули скатерть-самобранку, где среди изысканных закусок красовалась и четвертинка (в народе — четушка) армянского коньяка в плоской фляжке. А за окном золотисто сияли октябрьские березы, рдели гроздья рябины среди багровой листвы. Любуясь, друзья, что греха таить, выпили, закусили и повели степенную беседу, блуждая в философских дебрях; и вдруг послышался храп, и батюшка привычно пихнул художника:

— Саня, не храпи...

А Иван восхищенно подивился:

— Знаю, лошади стоя спят, но чтобы художники... А чем ты, Саня, ночью занимался?

— Вот ты, Ваня, всякую чепуху молотишь да еще, поди, воображаешь, а я всю ночь работал.

— Ну, прости, брат, коли обидел...





О ту пору Иван с отцом Михаилом издавали православный альманах «Иркутский вестник»; батюшка духовно окормлял, а Иван составлял альманах и однажды надумал украсить очередную книжку живописью Тихомирова, а коль тот, бродячий художник, покинув Сибирь, обитал в Белокаменной, то Иван и позвонил в столицу:

— Саня, здорово! Как поживаешь, дружище?

Ответ Иван не разобрал и продолжил:

— Саня, ты должен месяц угощать меня в кабаке...

Из маловнятного бормотания Иван уразумел лишь угрозу: с вина сгоришь, как со стыда, а потом вопрос:

— И с какого бока-припека я должен поить тебя, Ваня?

— А с такого бока-припека, что в очередной номер альманаха ставим репродукции твоих картин. И мой очерк о твоей живописи.

Приятель вновь забормотал, словно глухарь на токовище, и смеха ради Иван спросил:

— Саня, ты когда к логопеду пойдешь? Чо говоришь, ничо не пойму, у тя же слова в носу застревают!

Художник заговорил внятнее — очевидно, прямо в телефон — и сообщил, что готовит живописную выставку в Москве.

— Ого, здорово! Поздравляю, дружище! А я чуть раньше в столицу прилечу и с неделю погощу. И, бог даст, подбегу на выставку. Но ежели на открытие опоздаю, то хотя бы на банкет...

— Какой банкет?! Чудом картины оформил...

Тихомиров опять ворчливо бубнил; из ворчания Иван с трудом смекнул, что художник на мели; хотя тот вечно сидел на мели, путешествуя по российскому белу свету, живописуя скалы Байкала, волны Охотского моря, камчатских рыбаков и оленеводов Чукотки.

— Ладно, обойдемся. Я же говорил, что в альманахе с репродукциями поставим и мой очерк о твоей живописи. Думаю над заголовком... Решил такой заголовок поставить: «Гений Александр Тихомиров».

В трубке задумчивое сопение художника, потом вопрошающий голос:

— А может, нескромно? Или сойдет?.. Ну, короче, ближе к ночи, сам решаю, я тебе доверяю.

— Ладно, тогда оставим заголовок: «Гений Александр Тихомиров».

После разговора Иван, помяная заголовок, хохотал до слез: вот ведь хохмы ради ввернул «гения», а Саня согласился. Хотя, может, живописец и заслужил эдакое величание, о чем Иван Краснобаев и поведал в очерке:

«Александр Тихомиров — чадо исподвольного талантливого, но растерянного поколения, а в молодые лета — кумир творческой богемы; но, ведомый умыслом иль промыслом, распираемый живописной силой, потаенно и азартно трудолюбивый, неколебимо верящий в свою художническую звезду, не утопил талант в богемных шабашах, не сгинул в пучине модернизма, но, пройдя огни, воды и медные трубы, возродился к российскому имперскому искусству. А яростное блуждание в западном модерне, как

ни странно, лишь обогатило и без того необозримо щедрую, порой и вселенски холодноватую, неотмирную, но и яростно земную тихомировскую живопись. Живопись Александра Тихомирова в иных произведениях — имперская евразийская симфония, где слились мелодии сибирских народов, в других полотнах — музыка нечеловеческая, музыка вселенская.

Намедни увидел в храме иконописный триптих живописца “Иркутские святители”, а в зале приходской воскресной школы — и живописные произведения из серии о гражданской войне; и не мне судить, сколь иконно духовны парсуны святителей иркутских, сколь верны характером атаман Семенов и барон Унгерн, но ошеломила живописная мощь картин...»

Коль сочинитель сего повествования поведал о легендарном сыщике Петре Алексеевиче и славном живописце Тихомирове, то приспел час молвить словечушко и про достопочтенного отца Михаила Громова, чьи бесчисленные деяния во славу Божию, во благо православных христиан посильны лишь перу матерого романиста, а мне до романистов — что до небес. У сего батюшки, подобно прочим героям повествования, есть прототип, и сочинитель не озвучил земное имя пресвитера*, дабы не уничтожить высокий образ Христова воителя.

Иван Краснобаев и отец Михаил Громов — земляки, уроженцы забайкальских русско-бурятских селений; а сдружил их Харлампиевский храм, что благодаря батюшке и тогдашнему губернатору возрождался из мерзости запустения. В черновых заметках для грядущей повести Иван поминал юные лета, когда, окончив сельскую школу, дерзнул поступать на исторический факультет Иркутского университета: «Поселили меня в Харлампиевском храме, который безбожники обратили в студенческую общагу, сбив кресты, своротив купола, из высоких икон сколотив двери; здесь и началась моя иркутская судьба; здесь — слава Богу — ожил из руин двухвековой морской храм; здесь, дай Боже, после исповеди, соборования, причастия Святых Даров отпоет меня батюшка; здесь помолятся за мою блудную душу добрые прихожане, братья и сестры во Христе...»

Иван, сдавший три экзамена на отлично, с треском завалил сочинение, ибо в слове «еще» мог изловчиться и совершить четыре ошибки; после сего кануло полвека, суетных, хмельных и грешных, и уставший, опустошенный, Иван вновь очутился в морском храме, что — поклон губернатору и отцу Михаилу — величавым ковчегом выплыл из руин и ныне белоснежно светится в небесной синеве. Здесь, будучи даже не добрым прихожанином, а захудалым захожанином, Иван и сдружился с отцом Михаилом.

* Пресвитер — древнейшее каноническое, основанное на правилах апостолов, вселенских и поместных соборов, название второй степени священства в христианстве.





За спиной батюшки подобная ратной службе в забайкальских приходах, душеспасительное окормление русских воинов в боях на Кавказе, возрождение храмов, а для путешествующих по железной дороге — возведение Никольской церкви в старинном казачьем Верхнеудинске, ныне Улан-Удэ. А уж Харлампиевский храм власть земная и власть небесная удумала сносить, ибо старчески одряхлел и сквозь трещину в стене тогдашний владыка вольно входил в нижний придел. Словом, решили сокрушить: мол, дешевле обойдется новодельный, но некий славный пресвитер убедил владыку: памятник старинного русского зодчества посильно спасти — и, благословясь, начал уборку храма, обращенного в свалку. А вскоре в согласии с повелением губернатора владыка благословил отца Михаила, и долгими, тяжкими трудами, заботами, хлопотами древний храм обрел белоснежное величие. И ныне отец Михаил, настоятель сего дивного храма, с амвона творит боговдохновенные проповеди, похожие на покаянные исповеди; и ныне в певучем мерцании горящих свеч из ярого воска, в свете лампад ожили образа Царя Небесного, Царицы Небесной, преподобных и богоносных отец наших и всех святых.

Вот батюшка после обедни шествует по храму и ласково, с христородной любовью благословляет мирян; а Иван, глядя на отца Михаила, слышит голос Вседержителя: «Да будут чресла ваши препоясаны и светильники горящи...» У батюшки чресла препоясаны широким кожаным ремнем, яко у Предтечи, а походка борцовская, раскочистая, руки разведены, словно готовы для схватки, глаза горящи, — воистину, воин Христов, у коего небесный покровитель сам архангел Михаил, атаман небесного воинства, в схватке оборотивший сатану. И походка у батюшки медвежья не случайна — по молодости в классической русской борьбе изрядно соперников уложил на лопатки и, по слухам, вышел в мастера спорта, а потом освоил и русский рукопашный бой. Батюшка — смиренномудрый, но, ежели прилюдно охаеть Бога, упредит в сердцах: «Дам по рогам, олень!» — и ежели поганую пасть не закроешь, то и заушит, словно Чудотворец Николай еретика Ария на Вселенском соборе в Никее.

Иван вспомнил: на Крещение Господне после праздничной обедни художник Тихомиров, подполковник Романов, батюшка и он прибежали на крещенскую иордань, что православные мужи вырубил в заливе Иркутского моря. Надо трижды окунуться, смыть святочные грехи, но Иван оробел — мороз за тридцать; а батюшка поплавал в иордани, поплескался, яко селезнь, и вдохновенно кличет Ивана: мол, ты же, Иван Петрович, в блудных грехах как в шелках — ныряй, все грехи смоешь, ибо вода святая, а если окочуришься в иордани — душа прямым ходом в рай... «Спасибо, батюшка, за щедрость», — улыбнулся Иван и, положась на милостивую волю Божию, разгребая ледяную шугу, погрузился в крещенское море.

Но вернемся в день Спиридона-солнворота, когда нагрянули на Иванову займку Петр Алексеевич Романов, протоиерей Михаил Громов, живописец Александр Тихомиров. Коль мужики сулились-грозились спустить с хребта пару-тройку сухостоин на дрова, то Иван выдал «батракам» хваткие, мягкие верхонки, бриткий топор, моторную пилу, пару саней, и друзья тронулись в заснеженный лес.

У вершины хребта, фартовые, надыбали засыхающую лиственницу, кроной гаснущую в небе, и батюшка лихо, словно полжизни пахал на лесоповале, завалил лесину, да прицельно, дабы не зависла на соседней сосне.

В сучкорубах ходил Иван, ибо Петра Алексеевича послали кашеварить, а Тихомиров, живописец, снимал лесоповал на кинокамеру. Вот сучки срублены, лесина раскряжевана; Иван с батюшкой стали разворачивать толстый кряж комлем вниз, чтобы погрузить на сани и спустить с горы, но кряж даже не шелохнулся, поскольку надо толкать враз, а у дровосеков кто в лес, кто по дрова. Но с надсадой все же закатали кряж на сани, и Тихомиров запечатлел кинокамерой дивную картину: батюшка в черном подряснике и серой куртке из шинельного сукна, в черной скуфье на голове, впрягшись в сани, волочит комлистый кряж. Иван похвалил батюшку:

— Про эдаких, как вы, батюшка, мама моя, Царство Небесное, говаривала: добрый — под комель встает, не под вершину, когда мужики лесину на плечах тащат...

Прытко забегая вперед, поведаем, чем нынешний дровосек обернулся для Ивана. Помнится, Рождество Христово в ночном храме, потом — святочная трапеза, а перед рассветом Иван вызвал извозчика и, ожидая, гулял по церковной ограде, выискивая в сияющем звездном рое Вифлеемскую звезду, что привела волхвов к пещере, где родился Христос. И сладостно зрелось, певуче слышалось: в полночь по всей Руси Великой величаво и радостно звонят колокола, и плещется рождественский звон над заснеженными лесами и полями, над полуночными селами и городами, и крещеные единым гласом ликующе воспевают божественную стихирю преподобного Романа Сладкопевца: «Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп Неприступному приносит; Ангели с пастырьми славословят, волсви же со звездю путешествуют; нас бо ради родися Отроча младо, превечный Бог».

Иван замер пред малиново подсвеченным вертепом, вырубленным из снега, озирая пещеру для скота, где в яслях, набитых сеном, возлежал Отроча младо и умиленно глядели на Чадо Матерь Божия, святой Иосиф-обручник и даже овечки с бурой коровушкой. Подумалось: «Ишь, и в постоялом дворе не нашлось угла святому семейству, пришлось в пещере для овец и коров ночь коротать. Зябко, поди, семейству, а ежели бы дрова, да Иосифу развести бы малый костришко, всё бы теплее... Хотя какие дрова в Вифлееме Иудейском...»





Вскоре отозвался извозчик, и когда Иван шел по церковной ограде, увидел матушку, богоданную отца Михаила, что, подобно бабушке, уродилась в забайкальской староверческой семье и жила в суровом благочестии. Матушка, стоящая на крыльце воскресной школы, обратилась к Ивану, даже и не прихожанину храма, а захожанину:

— Иван Петрович, если с бабушкой что случится, вы будете моих детей содержать. Как вы могли запрячь в сани бабушку, у которого был инфаркт?!

Иван смекнул: забавную картину — бабушка с надсадой волочит толстый кряж, — отснятую Тихомировым на кинокамеру, увидело многочадливое семейство отца Михаила: матушка и пятеро ребятшек, из коих о ту пору лишь два старших брата бегали в школу.

— Матушка, простите, я же не знал, — испуганно оправдывался захожанин.

— Толстомясого гения не могли запрячь?!

Иван доспел: о Тихомирове речь, и хотел ответить матушке: где видано и слышано, чтобы гениальных живописцев запрягали в сани?!. Но воздержался от эдакого высказывания и вновь извинился.

После сего Иван, помнится, угощался в церковной трапезной и пригласил бабушку на заимку: мол, в баньке попаримся, потолкуем в застолье; а матушка, что подавала печеную рыбу и слышала, тут же, не глядя на Ивана, спросила бабушку:

— Что, у Краснобаева дрова кончились?!

С той поры Иван, бывало, говорит с бабушкой об альманахе, что совместно доводили до ума, и если рядом окажется матушка, тут же оповестит отца Михаила:

— Бабушко, а у меня дрова кончаются...

Матушка властно поведет строгим оком, сурово подождет губы, но словом не удостоит.

Но то случилось потом, ныне же — дровосек; и бабушка спустил с хребта последний кряж. А уж солнце склонилось к закату, словно отяжелевшая глава к подушке, и бабушка велел: «Баста, пора в баньку!» Иван жарко, не жалея лиственничных и березовых дров, протопил баню, а возле крыльца пихлом и лопатой нагреб снежную сопку; и если Петр Алексеевич с Иваном грелись на полке, легонько обхлестываясь березовым и пихтовым венчиком, да в снег сломя голову не кидались, то бабушка и Тихомиров парились до упада и, багровые, с казачьим гиканьем летели из предбанника в снежный сугроб, где долго купались, радостно вопя. А когда, напарившись, в предбаннике пили чай с чабрецом и шаманской травой саган-дали, Тихомиров вдруг отлучился из бани; и, коль долго не возвращался, Иван заперевивал — мало ли что, на дворе под сорок — и, накинув шубу, сунув ноги в катанки, пошел искать живописца. Узрел диво дивное: постаивает Тихомиров среди снежных сугробов за баней, дебелый и белый в лунном свете, да, похотывая, почесывая обильное

брюхо, треплется по телефону. Похоже, с милой сударушкой, коль мороз не в мороз.

По случаю филипповского поста Петр Алексеевич Романов сварил чугунный казан омулевой ухи. Помолились с чувством, толком, а то Иван, забывчивый, рассеянный, суетливый, ежели забудет прочитать Иисусову молитву перед естой, то читает после и благословляет еду и питье, крестя брюхо. А с батюшкой не забудешь...

В предчувствии лютых морозов, на ночь глядя Иван подтопил печь; и в сухом избяном тепле поначалу ладом текла застольная беседа, а затем под завывание ветра за оконным куржаком батюшка пел «Черного ворона», да не ходового, а вроде былинной старины.

...Черный ворон, друг ты мой залетный,
Где летал так далеко?
Где летал так далеко?
Ты принес мне, а ты, черный ворон,
Руку белую с кольцом,
Руку белую с кольцом...
Вышла, вышла а я на крылечко,
Пошатнулася слегка,
Пошатнулася слегка.
По колечку друга я узнала,
Чья у ворона рука.
Эт рука, рука мойво милова,
Знать, убит он на войне,
Знать, убит он на войне...
Он убитый ляжить, незарытый
В чужедальной стороне...*

Глаза застольников влажно мерцали в тихом свете настольной лампы, и даже Петр Алексеевич прослезился, хотя, будучи пожизненным сыщиком, нагледелся на смерти и, бывало, уже смотрел без содрогания, без сущего холода в паху, без волнения в душе.

А Иван слушал, чуял: мороз по сердцу пошел; и приглязился ему байкальский старожил, певший древние песни, да столь могуче, что чудилось: сосны звенят, на священном Байкале волны вздымаются, прибрежные скалы трещат. И голосил сей певень забайкальского казачьего «Ворона»: «Ты, вещун, да птица-ворон, да чо кружишьси надо мной? Полетай, вещун да ворон, ты к себе лучче домой...» Певень потом сокрушался в беседе с Иваном: «Счас редко кто старинны мотивы поет, всё больше дрыгалки-прыгалки, что в радиве, что в телевизоре... Да ишо и похабщина сплошь, а ранешни старики баяли: “Оборони меня Бог от грозы и молнии, от плохого глаза и уроченья, от зверя дикого и языка поганого”».

* Былинная песня донских казаков.



Иван, глядя на батюшку, поминал давнишнее путешествие по Забайкалью, воплощенное в его беглых путевых записках: «...В бурятском стольном граде гостили у коммерсанта в дачных хоромах, и, когда хозяин отлучился, его старенький батя, бывший советский начальник, собрав нас за круглым столом, стал знакомиться.

— Писатель Иван Краснобаев...

Бывший досадливо глянул на меня, мелкого, невзрачного мужика, как на круглого дурака, но я привык; мне родной зять говорил: “Ты, Ваня, не писатель, ты, Ваня, нарезчик — дуру нарезаешь”.

— Подполковник полиции Петр Алексеевич Романов.

— Да... — Бывший даже приподнялся и с почтительным поклоном пожал руку знатному сыдику. — Ваша работа нынче особо нужна и важна — распоясался народ!

— Художник Александр Тихомиров.

— О, доброе дело... Нам бы вот, товарищ художник, беседку покрасить да покрасивше бы.

— Отец Михаил Громов, священник.

— Да-а, видно, нету никакой специальности, — вздохнул Бывший.

Из степной столицы укатили за сотни верст в Тамир — древлемастерое русское село, чудом выплывшее из восемнадцатого века. Улицы — сплошь дородные бревенчатые избы с рублеными фронтонами — явный признак старинного избыного зодчества. И может, потому, что деревня вытянулась вдоль широкой, насквозь продуваемой долины, усадеб едва коснулась гниль. Да и, слава богу, хозяева обихаживали дедовские избы, отчего те и не ветшали, не врастали в землю-матушку; и, в отличие от других сёл и деревень, немного высмотрел я в Тамире брошенных усадеб, как мало узрел и нынешнего убогого новостроя; из поколения в поколение жили и живут многие тамирцы в могучих хороминах, рубленных дедами и прадедами. И потешила мою деревенскую душу милая картина: над бревенчатými заборами виделись высокие поленицы дров, хотя и вылинявших на долгом солнце.

Мы гостили у здешнего церковного старосты, в усадьбе которого поленицы переросли бревенчатый забор, и дровяник битком, а рядом козявые сосновые чурки с манящим колуном. Мы, гости, по очереди долбили суковатый чурбан, но пришел староста, усмехнулся, перевернул чурку и, поплевав на мозолистые ладони, взял колун — и вскоре чурка развалилась надвое, а потом и на поленья.

А вечером в разгар братской трапезы я, многогрешный рабчишка Божий, заживо сгорающий в похотях, забыв о смирении, послушании, почитании священнического сана, вступил с батюшкой в перебранку, защищая крестьян, кои, увы, пока еще бредут мимо сельских церквей: иные еще не одолели материализм, атеизм, что вбивали в их разум с отрочества, иные от лени души, иные от беспробудного пьянства.



Справедливо укорял батюшка хмельных, лодырей и безбожных селян, а я оправдывал: бывший сельский житель, я жалел несчастных крестьян, которых испокон русского веку ломали через колено — крепостное право, коллективизация и раскулачивание крепких хозяев, а когда крестьяне привыкли к совхозам и колхозам, обретя в них былую общину, когда расцвело село, власть жестоко порушила коллективные хозяйства, кинув крестьян на произвол безжалостной судьбы, и уйма крестьянских малосемейных дворов, отвыкших выживать единолично, погрузились в беспросветную нищету и пьяную тоску. Одыбает ли село, вернется ли в храмы, Бог весть... Блаженны нищие духом, а посему живет надежда: сельские души, если и пустые, то чистые, не исписанные демонскими письменами мудрости мира сего, как у грамотеев, когда уже нет вольного поля для Божиих глаголов...»

А трапеза на лесной заимке устало завершалась; изрядно говорено и не о суетных, утробных пустяках, но аж сразу о даровании православным благочестия, смирения и спасения, для чего и помянули стих дивного словотворца Алексея Хомякова:

Подвиг есть и в сраженье,
Подвиг есть и в борьбе;
Высший подвиг в терпенье,
Любви и мольбе*.

* А. Хомяков «Подвиг».



Юрий ВОРОТНИН

ВОДА ДРУГИХ МОРЕЙ

Манаенки. Прародина

Сторона глубинная,
Речка в два весла,
Тяга голубиная
В гости занесла.
Петельки вязальные
Указали след,
Стены есть вокзальные,
А вокзала нет.
Красная смородина
Зелена на вкус.
Доживает родина,
За нее боюсь.

Но весною озими
Лезут через лед
И в зеркальном озере
Солнышко плывет.
Значит, бездну мерили
Все-таки не зря,
Не напрасно верили
В доброго царя.
Чаю со смородиной
Спелую напьюсь.
Выживает родина,
За нее молюсь.

* * *

Не бывал железа я железней,
По своей судьбе не горевал,
Крепкой водкой выжигал болезни,
Крепким чаем водку выжигал.

А позвали — не нарушил правил,
Закруглил поденные дела
И на карту жизнь свою поставил.
Карта картой родины была.

Сон

Вот и знаю я, как умирают,
Как дыхание сходит на нет,
Как в тяжелую бездну врастают,
Размыкая закат и рассвет.

Вот и чую, как мерзлая замаять
Накрывает меня с головой,
И душа обращается в память,
Прирастая к тоске мировой.

* * *

Не в суетной тревоге,
Не в праздничной гульбе —
В раздумиях о Боге
Припомню о себе.

Не муку облегчаю,
Не набираюсь сил,
Лишь сам себя прощаю,
Коль знаю — Бог простил.

И все легко и просто,
Разглажено по швам,
Как будто бы короста
С болящего сошла.

И в темноту зазимье
Вплывает, как ладья,
И миром не судим я,
И миру не судья.

И бесконечность зримей,
И под ногами твердь,
И все необъяснимей
Рождение и смерть.





* * *

Встревожит сердце памятная вежа,
 Потянет в бездну, в топи-кисели,
 И стану я не только старше века,
 А старше жизни, неба и земли.

Не убоюсь, не сгину, не завою,
 Слеза удержит сердце на плаву,
 И предо мной, как лист перед травой,
 Семь дней творенья встанут наяву.

* * *

Мне снился сон: в глубокой старине
 Есть отчий дом и на двери подкова,
 Меня там ждут — живого, не живого —
 И держат свет негаснущий в окне.

Я в этот дом по тяге родовой
 Себя с кругов невольных возвращаю,
 И если жив, то жизнь свою прощаю,
 И оживаю, если не живой.

* * *

К какому рубежу
 Судьба меня готовит —
 В руках огонь держу,
 А ощущаю холод.

И в памяти моей
 Иных земель поверья,
 Вода других морей,
 Других лесов деревья.

То ль это миражи,
 То ль просто совпадения,
 То ль очень долго жил
 До своего рожденья.

* * *

Вязнут пчелы в медовом растворе,
 Вязнет время в песочных часах,
 Вязну я в невесомом просторе
 С переспелой травинкой в зубах.

Свет и тихий, и теплый, и сочный,
Заглядишься — до неба луга,
Но стучит колокольчик височный:
День не долог и жизнь не долга.

* * *

Если жить все время летом
Белым днем с румяным светом
И под чай с кипрейным цветом
Разговоры разговлять,
Привечать зверей бездомных,
Пропадать в глазах бездонных,
То во время лет преклонных
Страшно будет умирать.

Если жить во тьму и холод,
Растирать в ладонях голод —
Огород дождем прополот,
Ни зерна, ни сорняка.
Если ветер — только встречный,
Если путь — конечно, Млечный,
Срок глухой и бесконечный,
Сам поверишь — смерть сладка.

* * *

На цыпочках, украдкой,
Без шума и нитья
Приблизилась разгадка
Земного бытия.

Мне долго это снилось,
Но сны постичь не мог,
Вся жизнь моя вместилась
В один короткий вздох.

Я задержу дыханье,
Пусть будет по сему,
И легкое прощанье
На выдохе приму.



Ирина ЛЕВИТ

ОДНАЖДЫ ЕМУ ПОВЕЗЛО...

П о в е с т ь

1.

Олег Валерьянович Совков всегда мечтал жить там, где тепло. И желательно — у моря. Но с рождения жил в Сибири, где пять месяцев зима. Хотя море было — правда, искусственное.

Олег Валерьянович Совков всегда не любил кладбища: его пугала их смиренная безнадежность. Но уже семнадцать лет приходил сюда в один и тот же день — второго августа. Конечно, приходил и в другие дни, однако в этот — непременно. Только один раз он пропустил день свидания с матерью, которую семнадцать лет назад, второго августа, положил в могилу под невысокой осинкой.

Эта осинка всегда смуцала. Совков чурался всяких суеверий, но почему-то постоянно вспоминал, что именно осино́вый кол втыкали в могилу ведьмы. Мать Олега Валерьяновича не осмелился бы назвать ведьмой даже самый злоязычный человек. Она была настолько жалостливой, наивной и беззащитной, что становилось даже удивительно, как она смогла уцелеть в этой жизни. Вот муж ее и двое старших детей не уцелели — их смела война, оставив из милости лишь Олеженьку, Олега, Олега Валерьяновича...

Он очень походил на мать, и это служило ей утешением.

Совков сидел у могилы часа два — вспоминал, просил прощения... Ему было в чем покаяться, и он надеялся, что его простят. Он положил на серую шероховатую плиту букетик цветов, любимых матерью астр, и побрел со смиренного кладбища в свою совсем не смиренную жизнь.

...Он сразу понял, что хоронят кого-то значительного: могила была вырыта рядом с центральными воротами, за которыми выстроилась вереница шикарных машин; обилие венков напоминало оранжерею, где нет ни одной искусственной веточки; а гроб, похожий на саркофаг, переливался полировкой и позолотой. Но примечательнее всего была публика: мужчины в строгих темных костюмах и женщины в элегантных черных платьях. Таких женщин ныне обычно показывали по телевизору — на великосветских

приемах, — причем Совков не раз думал, что мода перепуталась, как сама жизнь, и теперь, глядя на черноплательных дам, уже не поймешь: то ли они собрались радоваться, то ли скорбеть. И выражение лиц у этих женщин и мужчин было особое — непохожее на привычную кладбищенскую мозаику, где рядом глубокое горе и вежливая печаль, а значительно-серьезное и одно на всех.

Олег Валерьянович никогда не проявлял любопытства к чужим похоронам. Ему казалось, заглядывать в чужой гроб — все равно что в замочную скважину. Но тут он вдруг остановился, поскольку через разомкнувшуюся людскую плотность увидел большой, не менее метра в высоту, портрет в массивной раме. Точнее, это была фотография мужчины с крупным, почти квадратным лицом, плотно сжатыми губами и бесстрастным взором. Ее, конечно же, сделали с живого человека, но впечатление создавалось, будто неизвестный фотограф запечатлел каменный бюст с аллеи героев-полководцев.

За последние дни Совков видел эту фотографию несколько раз. Местные каналы телевидения с вдохновенным рвением демонстрировали это лицо, неизменно подчеркивая, что теперь от него, равно как от всего мужчины, не осталось ровным счетом ничего. Неизвестный изувер с помощью взрывного устройства разнес в клочки одного из самых крупных и, безусловно, самого загадочного бизнесмена города — президента компании «Консиб» Георгия Александровича Кохановского.

Телевизионщики и здесь, на кладбище, пытались ухватить последний миг пребывания на земле этого, как убеждали в своих комментариях журналисты, таинственного человека, но их оттесняли крепкие молчаливые парни. Совкову стало жаль журналистов — людей, которые, в отличие от него самого, любопытны по профессии, но которым ни разу не удалось при жизни Георгия Александровича Кохановского перемолвиться с ним даже словом. Об этом тоже говорилось в телевизионных комментариях, причем подчеркивалось, что президент «Консиба» не только никогда не давал интервью и не появлялся на публике, но и вообще практически ни с кем не встречался лично. Все это делали его заместители, его помощник, оставляя своему патрону священное право быть мозгом крупнейшей и процветающей компании.

Да, практически никто не мог похвалиться, что общался с Кохановским напрямую, и даже смерть ему была уготована такая, что прощальные слова люди адресовали не человеку, пусть и мертвому, а плотно закрытому гробу.

Совков действительно не был любопытным и никогда не стремился к чужим могилам. Но сейчас не мог пройти мимо. Он был тем редким счастливецом, которому повезло однажды увидеть Георгия Александровича вблизи, говорить с ним и быть им выслушанным.

Когда это случилось? Да ровно девять лет назад, второго августа тысяча девятьсот девяносто первого года. Именно тогда в первый и последний раз Совков пропустил день свидания с матерью.



2.

— Олег Валерьянович? Рад, искренне рад!

Пилястров стоял у входа и улыбался. На вид ему было лет тридцать, и вид этот был очень и очень впечатляющий — такой вычищенный, выглаженный, почти отполированный. Аккуратная стрижка — волосок к волоску, серый костюм — без единого излома, галстук — темно-бордовый со светлыми полосками. Смотреть на Пилястрова было приятно. И — завидно.

Конечно, Совков позавидовал не прическе, хотя у него самого она давно превратилась в основательно прореженную поросль. И не костюму (совковский, тоже серый, доживал век молодящимся пенсионером). И, разумеется, не галстуку (его собственный, хоть и вполне приличный, еще помнил расцвет ныне покойной ГДР). Совков позавидовал возрасту. Не зло позавидовал, не по-черному, а так, как завидуют старики сильным своей молодостью юношам. Хотя стариком Совков не был. Пятьдесят два года — разве это конец жизни?

Но он подумал: какое славное время! Тридцатилетний человек — уже такой большой человек! А сам он в свои тридцать лет был никем, который, может, и станет всем, а скорее всего, не станет. Он был лаборантом кафедры в электротехническом институте — застоявшимся кандидатом в аспиранты. Впрочем, именно в тридцать лет он принял очень серьезное решение — ушел с кафедры, и его укоряли, дескать, он слишком быстро хочет получить от жизни все.

— И я рад! Искренне рад! — искренне воскликнул Совков.

Он был рад, что за ним прислали машину (никогда для встречи с ним никто не присылал машин), что вообще встречали его у самого порога (это даже вообразить было невозможно), а главное — что наконец-то состоялась сама эта встреча. Вот он, Сергей Борисович Пилястров, такой молодой и симпатичный, такой вежливый и внимательный, очень большой человек в очень большой компании, вот он весь, как есть, — знак негданной удачи.

Олег Валерьянович посмотрел на часы — на свои красивые импортные часы, которые были тоже негданным подарком очень большого человека. Часы показывали без пятнадцати двенадцать. Совков никогда не опаздывал на встречи — ему вполне хватало того, что он опаздывал в жизни. Но Совков всегда боялся опоздать, и сегодня особенно. Сегодня, в двенадцать часов, Сергей Борисович Пилястров должен был привести Олега Валерьяновича к президенту знаменитой компании «Консиб» Георгию Александровичу Кохановскому — человеку, который лично почти никогда никого не принимал, однако Совкова принять обещал. Удивительная удача!

Перед выходом из дома жена Лида долго оглаживала его пиджак и поправляла галстук (ей все казалось, что плечи пиджака слегка заминаются, а узел галстука съезжает набок), потом взяла Олега Валерьяновича



под локоть и перекрестила. Совков сильно удивился — отродясь в его семье Бога никто не вспоминал.

— Да так уж, на всякий случай, — сказала Лида, и Совков подумал: на такой случай можно и Бога вспомнить.

Пилястров тоже взял его под локоть, но крестить, разумеется, не стал, а, распахнув тяжелую входную дверь, завел Олега Валерьяновича в просторный и прохладный вестибюль. Совков не любил чужие вестибюли — в них его чаще всего поджидали старушки-вахтерши, которые почему-то именно на нем с особым рвением проявляли свою служебную бдительность. Вот и сейчас он почти инстинктивно напрягся, ожидая требовательного окрика, в лучшем случае — подозрительного вопроса, но вместо этого услышал вежливое «здравствуйте», которое произнесли двое молодых мужчин с приятными лицами и широкими плечами.

— Здравствуйте, — с облегчением откликнулся Совков, ощущая локтем спасительное присутствие Пилястрова.

Мужчины почтительно расступились, и Олег Валерьянович, все так же ведомый своим благодетелем, устремился по широкой лестнице на второй этаж.

Совков никогда не был придирчив к деталям, особенно бытовым, но сейчас он поймал себя на том, что присматривается к мелочам. Впрочем, какие уж тут мелочи!

Мелочью была вазочка с неизменным букетиком засушенных цветов на столе Светочки — ее стол упирался в стол Олега Валерьяновича, зажатый еще двумя столами других сотрудников их отдела. Мелочью был старый, засаленный, на крутящейся ножке стул Андрея Викторовича — заводделом сидел на нем уже лет двадцать пять, свято оберегая предмет своего удобства от периодической смены мебели. Мелочью был узкий, удивительно быстро продавившийся диван, — он явно всем мешал в тесной отделецкой комнате, но его все любили, потому что он «придавал уют». Мелочью было все то, чем занимался научно-исследовательский институт, в котором работал Совков и внешний антураж которого вполне соответствовал делам.

Но здесь, в компании «Консиб», в этом свежем творении новой экономики, все выглядело по-другому.

Кремового цвета стены, украшенные настоящими картинами. Матовые, темного цвета двери с золотистыми ручками. Небольшие холлы с глубокими, обитыми коричневым велюром креслами, изящными журнальными столиками и напольными вазами с диковинными живыми растениями. Искусно драпированные прозрачно-золотистые шторы, словно пена, окутывали окна, а пол был устлан толстым паласом. Этот палас поглощал звуки шагов, отчего казалось, что люди по нему не идут, а как бы плывут. Особенно это относилось к женщинам — красивым, элегантным, на высоких каблуках. Совков сразу понял, что в солидной организации все на уровне: и дела, и обстановка, и облик дам.





Эта дама была особенной — с фигурой, похожей на лиану, с густыми волосами, отливающими медью, с большими глазами, напоминающими два каштана, и голосом, созвучным виолончели. Она выплыла из глубины коридора и остановилась рядом с Совковым и Пилястровым, обдав их едва уловимым ароматом терпких духов. Ее вишневые губы — в тон облегающему вишневному платью — дрогнули и превратились в улыбку.

— О! — обрадовалась она. — А я как раз вас, Сергей Борисович, ищу.

Улыбка досталась не только Пилястрову, но и Совкову, и Олег Валерьянович тоже улыбнулся — какая женщина!

— Что, пора? — спросил Пилястров.

— Чуть позже. Я дам вам знать, — последовал ответ, и Сергей Борисович, взглянув на Совкова, развел руками:

— К сожалению, придется подождать.

— Конечно-конечно, — с готовностью покивал Олег Валерьянович.

Что в данном случае значило это «подождать»? Да ровным счетом ничего — всего лишь несущественный временной интервал.

В этот момент открылась соседняя дверь, и в ее проеме показался худой мужчина с толстой папкой. Похоже, он тоже обрадовался при виде Пилястрова, потому как с ходу заявил, что Сергея Борисовича ему сам Бог послал.

— Ты мне нужен вот так! — Мужчина провел папкой по горлу. — Буквально на несколько минут.

Он кивнул Совкову и даже чуть поклонился, словно извиняясь.

— Конечно-конечно, — все с той же готовностью отозвался Олег Валерьянович. Я подожду. Мне ведь все равно ждать.

— Тогда прошу сюда.

Пилястров вновь подхватил его под локоть, увлек в холл и бережно усадил в глубокое кресло, отделенное от коридора декоративным деревцем с густыми перистыми листьями. И Совков тут же почувствовал, что все напряжение последних дней вдруг исчезло, растворилось в зеленых листьях неведомого дерева, впиталось в бархатистую обивку мягкого кресла.

Он сидел и блаженствовал, блаженствовал и мечтал, как будет беседовать с Георгием Александровичем Кохановским, как покажет ему свои чертежи, как расскажет о деле всей своей жизни — маленьких устройствах, мини-роботах, которые дешевы в производстве и ценны в использовании, ведь они способны делать массу мелких, но важных вещей. У него самого дома таких было несколько. Один мыл тарелки, другой вытирал пыль, третий искал завалившиеся неведомо куда металлические предметы, четвертый... Фантазия на сей счет у Олега Валерьяновича была богатой, а дел, которые приходилось делать постоянно, но самому выполнять не хотелось, имелось предостаточно. И умные машинки служили ему преданно и надежно. Он всю жизнь работал над этими машинками, у него была создана своя универсальная система, но никто и никогда так и не проявил к этому серьезного интереса. И вот теперь он получил шанс.

«Это крайне интересно и перспективно для нашей компании. Я глубоко убежден, что Георгий Александрович примет решение о производстве многих ваших разработок. Он встретится с вами лично. Он обычно ни с кем не встречается лично, но вы станете исключением, — так сказал ему по телефону Сергей Борисович Пилястров и добавил: — Я очень рад, что Дмитрий Васильевич сообщил мне о вас».

Дмитрий Васильевич... Дима Коровин... Кто бы мог подумать, что именно ему Совков будет обязан своим счастьем!

Дима Коровин появился на кафедре, когда Олег Совков отработал там уже семь лет в скромной должности лаборанта. Что это за должность такая, Олег никак не мог понять, но ассоциацию это вызывало у него вполне определенную. Когда он учился в десятом классе, в кабинет физики пришла лаборанткой Оля, только что окончившая их же школу, но не поступившая в институт. Кабинет физики был ее временным пристанищем, где она практически ничего не делала.

Совков тоже стал лаборантом, но вовсе не потому, что провалился в вуз, и не для того, чтобы ничего не делать.

В институт он поступил с первого захода и вполне мог окончить его с красным дипломом, то есть на одни пятерки, но его подвел предмет под названием «История КПСС». Он никогда не считал эту неизменную нагрузку к любому высшему образованию особо сложной наукой, но, как выяснилось на экзамене, сильно недооценил ее простоту. После того как Олег вполне внятно изложил суть борьбы с троцкизмом и достаточно подробно обрисовал роль партизанского движения в годы Великой Отечественной войны, преподавательница, видевшая живого Ленина, а затем сосланная Сталиным в Сибирь, задала ему дополнительный вопрос:

— Почему учение Маркса всесильно?

Конечно, Олег помнил почти крылатое выражение Ленина на сей счет, но ему казалось, что любой вопрос, относящийся к науке, к коей, безусловно, причислялась и история КПСС, требует анализа и логики.

Преподавательница слушала его разъяснения минуты три, а потом произнесла досадливо:

— Бросьте нести отсебятину! Ленина надо было внимательно читать. Владимира Ильича! Он сказал четко: «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно». Вер-но! Вот вам объяснение — простое, ясное и строго научное!

После чего глянула в испещренную отличными оценками зачетку, покачала головой и вывела «хорошо».

В душе Совков признал: объяснение это действительно простое и ясное. Однако он не понял, где здесь строгая научность. Впрочем, вступать в дебаты не стал, как не стал впоследствии передавать и сам предмет, лишив себя красного диплома. Тогда он не мог предположить, что настанет время — и придется пожалеть о собственной недалекости.



Электротехнический институт, где учился Олег, был вузом молодым, возглавлял его молодой неумный ректор, в результате чего все здесь развивалось бурно. Когда Совков перешел на четвертый курс, в институте открыли кафедру с длинным, малопонятным названием, но очень притягательным смыслом — здесь собирались заниматься разработкой новых механических устройств. Возглавил кафедру профессор Косолапов, который тут же организовал студенческий научный кружок. Олег записался туда первым.

Ему повезло, потому что из всего курса Косолапов выбрал именно его, оставив после окончания института на кафедре в должности лаборанта и пообещав через год, максимум через два, сделать аспирантом. Однако прошел год, и еще два, и еще... и все время что-то случалось. Все время происходило нечто такое, отчего именно перед Олегом Совковым закрывалась дверь в долгожданную аспирантуру. И каждый раз Косолапов говорил:

— Вы, Олег, конечно же, достойны. У вас уже есть серьезные наработки, я вами весьма доволен, но... — Тут завкафедрой выпускал тяжкий вздох. — Обстоятельства, знаете ли... Ну подождите еще годик, максимум два.

А потом появился Дима Коровин, выпускник их же кафедры, — высокий, стройный, с ясными глазами и такой чудесной улыбкой, что мужчины тут же добрели, а женщины таяли. Его тоже заметил Косолапов и тоже в студенческом кружке, где тот был активистом и душой компании. В считанные месяцы Дима превратился в любимца кафедры, человека, без которого не обходилось ни одно мало-мальски значимое мероприятие, будь то проведение научной конференции или празднование Нового года. Впоследствии Совков не раз встречал подобных людей, искренне дивясь тому, что среди них попадались как весьма славные, так и совершенно скверные персонажи, чью пакостливость окружающие замечали с большим опозданием или не замечали вовсе. Впрочем, про Диму Коровина Олег ничего плохого сказать не мог — и даже тогда, когда, по сути, из-за него ушел с кафедры.

А произошло то, что происходило каждый год. Косолапов вызвал его к себе и, по обыкновению тяжело вздыхая, сказал:

— Мне очень неловко, Олег, но вам придется еще годик подождать с аспирантурой. Конечно, у вас есть наработки, я это ценю. Но вы же умный человек, вы понимаете: сегодня к молодым советским ученым предъявляется такое немаловажное требование, как общественная активность...

— Но ведь я участвую во всех общественных делах... которые мне поручают, — впервые, наверное, в жизни позволил себе Олег перебить завкафедрой.

— Вот именно, которые поручают, — с некоторой укоризной произнес Косолапов. — Но сами вы инициативы не проявляете, в отличие, положим, от Дмитрия Коровина. А ученый совет требует, я бы даже сказал, настаивает! А кроме того, и это в данный момент самое главное, Коровин окончил институт с красным дипломом, а вы — нет. Конечно,

вы проработали на кафедре семь лет, а он — только год, но диплом с отличием в данном случае перевесил.

Совков не стал спорить, не стал напоминать, что за эти годы в аспирантуру вместо него поступали люди с куда менее впечатляющими дипломами и куда менее выраженной общественной активностью, но всегда имеющие перед ним какой-то перевешивающий плюс. Олег понял, что ему, по всей видимости, никогда не понять эти тонкие, с трудом уловимые изгибы научной карьеры, и он просто подал заявление об увольнении.

Реакция сослуживцев была разной. Кто-то посочувствовал, кто-то остался равнодушным, а кто-то, в основном из старшего поколения, выразился в том смысле, что, дескать, нынешние молодые хотят все получить разом. Молодость Димы Коровина в данном случае оставалась как бы за скобками.

Сам Дима тоже отреагировал.

— Понимаешь, старик, — уверял он, — я тут совершенно ни при чем. Клянусь! Я даже словечка Косолапову не говорил — он сам так решил. Ну хочешь, я пойду и скажу ему, что это место твое? Хочешь?

И он уставился на Олега с надеждой, которую Совков не мог разрушить.

— Нет, не стоит. Я все равно уже присмотрел себе другую работу, — соврал Олег.

— А-а... Ну, если ты все равно... Хотя я — пожалуйста, я готов пойти к Косолапову.

И Дима улыбнулся своей примечательной улыбкой.

В последующие двенадцать лет Совков четыре раза менял место работы, пока, наконец, не осел в научно-исследовательском институте при оборонном заводе, занимающемся электроникой. Этот НИИ был не лучше и не хуже тех, где он успел поработать, но к сорока пяти годам Олег Валерьянович понял, что его метания и мечтания пусты и бесполезны. Везде все складывалось по одному сценарию: к его разработкам проявляли интерес, но никогда — серьезного внимания, и всегда находились вполне убедительные доводы, почему в данном случае не нужно делать это, а нужно делать то. Поначалу он пытался доказывать, приводил расчеты, приносил свои кустарно сделанные, но исправно действующие образцы, однако всегда достигал одного результата — этот результат вполне можно было обозначить цифрой «ноль».

Если бы Олега Валерьяновича спросили: «Чего достиг ты, человек творческий, в свои пятьдесят два года?» — он бы честно ответил: «Ничего». Ибо домашние поделки, груды чертежей и, в конечном итоге, рухнувшие надежды никак нельзя было назвать достижениями.

...В тот вечер он возвращался с дачи. Как выглядит человек, который два жарких дня горбатился на участке, потом час ехал в душной переполненной электричке, нагруженный тяжелой сумкой? Довольно непрезентабельно он выглядит — по крайней мере, совсем не так, как хотелось бы в момент неожиданной встречи спустя более двадцати лет.



— Олег! Никак, ты?

Совков обернулся и увидел Диму Коровина — все такого же высокого, стройного, ясноглазого, с прежней чудесной улыбкой. Вот только волосы стали совсем седые. Дима был одет в легкий светло-бежевый костюм, с которым очень хорошо гармонировали кремового цвета рубашка и коричневый галстук с золотистыми прожилками. Совкову вдруг стало неловко. Он словно со стороны увидел свои старые дачные брюки, потрепанные сандалии, выцветшую футболку и белую матерчатую кепку, прикрывавшую слипшиеся от жары волосы.

Это было первое чувство, которое он испытал. А вторым было удивление. За более чем двадцать лет с кем только он не пересекался, а вот с Димой — никогда. Он слышал, что Коровин успешно защитил кандидатскую диссертацию, потом докторскую, затем, после смерти Косолапова, стал заведовать кафедрой, однако после того памятного разговора с Димой больше не виделся ни разу. Нет, никакой обиды Совков не держал — ни тогда, ни после. Разве Дима был виноват, что судьба распорядилась так, а не иначе, что одному, вполне достойному, повезло, а другому, тоже достойному, — нет?

Дима всегда умел всех организовать, и в данном случае Олег Валерьянович даже не заметил, как оказался за столиком летнего кафе с кружкой пива. Первые несколько минут он еще смущался своего дачного вида, своей большой потрепанной сумки, но вскоре забыл обо всем, увлекшись разговором. Это был разговор о работе, о семье, о жизни... Обычная беседа людей, которые знали друг друга в молодости и теперь вот снова сиделись в зрелости.

Олег Валерьянович и в мыслях не держал рассказывать Диме о своих творческих неудачах, но так уж получилось. Дима ведь не только умел всех организовать — он умел и разговаривать.

— Н-да, старик, печально... — Коровин по-прежнему называл Совкова стариком, что звучало уже не столь забавно, как двадцать с лишним лет назад. — Я вот сейчас смотрю на молодых ребят, которые у меня на кафедре, — мало таких, каким был ты. Я бы, конечно, с удовольствием посмотрел твои наработки, но, понимаешь, за последние годы научное направление у нас поменялось... Опять же по части внедрения... Вечная морока с этими производственниками. Так что я тебе здесь не ахти какой помощник.

— Да нет, я ведь совсем не к тому рассказал, — принялся оправдываться Совков.

Но приунывший было Коровин вдруг просиял:

— Стоп, старик, я знаю, кто тебе нужен! Ты, конечно же, слышал о компании «Консиб»?

Совков, конечно же, слышал. А кто о ней не слышал в городе? Об этой компании писали в газетах, о ней рассказывали по радио и телевидению. Ее реклама висела во всех людных местах. Детище перестройки, вариант нового экономического мышления, образец грамотного ведения дел.



Конечно, были и другие высказывания: толстосумы, новоявленные капиталисты, опухоль на теле трудового народа... Но, если отбросить крайние суждения, почти весь город знал, что это процветающая фирма с огромными возможностями и впечатляющими перспективами.

— Самый главный человек там, — продолжил Дима, — некий Кохановский. Не человек, а фантом. Совершеннейшая тайна за семью печатями. Но, говорят, гений бизнеса. Этот гений близко к себе никого не подпускает, но его ближайший сподвижник, Сережа Пилястров, мой бывший студент. Толковый парень и очень деловой. Я ничуть не удивился, что он в предпринимательство ринулся. Он тоже стал, конечно, довольно важным, но я могу с ним по поводу тебя потолковать. Мне он не откажет. Тем более что этот «Консиб» занимается производством, но у всех наших ведомств в паутине не путается. Совков принялся было отнекиваться, дескать, не стоит Диме утруждаться, но тот все возражения отверг, добавив:

— Знаешь, старик, все-таки тогда в аспирантуру могли взять не меня, а тебя. А меня могли мариновать еще лет десять. И я, как и ты, тоже мог на все плюнуть. А теперь я доктор наук, профессор и заведующий кафедрой. И у меня все в порядке.

Через неделю в квартире Олега Валерьяновича раздался телефонный звонок и негромкий приятный баритон сказал:

— Беспокоит (вот именно так — беспокоит!) Сергей Борисович Пилястров...

Беседа длилась минут двадцать, в течение которых Совков несколько путано, но вдохновенно изложил суть своих наработок и услышал, что это очень интересно компании «Консиб». Пилястров обещал перезвонить через день и действительно перезвонил, сообщив Совкову удивительную вещь: его, Олега Валерьяновича, примет сам президент компании Георгий Александрович Кохановский.

— Прошу прощения, что заставил вас здесь ждать. — Лицо у Сергея Борисовича было слегка смущенным, а улыбка точь-в-точь как у Димы Коровина — такая же очаровательная и притягательная.

Совков смутился сам:

— Ничего-ничего... Я вполне хорошо сижу, здесь очень удобно, вам вовсе не стоит беспокоиться...

— Ну как же, как же!.. — Пилястров покачал головой, словно досадуя на самого себя, и тут же вновь подхватил Олега Валерьяновича под локоть, увлекая за собой.

Они дошли до конца коридора и остановились около массивной двери. Похожая дверь была у директора НИИ, где работал Совков, но эта оказалась ему более внушительной. Олег Валерьянович испытал даже некий трепет, словно перед входом в святилище. В общем, так оно примерно и было, потому как за этой дверью располагалась приемная самого президента



компании «Консиб». Совков это понял сразу — слишком солидной и представительной была эта комната, главным украшением которой служила все же не обстановка, а та самая, уже виденная им медноволосая дама в вишневом платье. Она вскинула свои глаза-каштаны на Совкова, потом перевела взгляд на Пилястрова и едва заметно повела плечами.

— Придется еще подождать? — спросил Сергей Борисович, и дама кивнула. — Увы, Олег Валерьянович, уж вы извините... Георгий Александрович буквально разрывается на части. Нам всем крайне неудобно, но мы полагаемся на ваше понимание. Георгий Александрович с вами непременно встретится.

— Что вы, что вы! — почти взмолился Совков. — Я, конечно же, подожду.

— Ну вот и замечательно, — разулыбался Сергей Борисович. — А Вероника угостит вас чаем. Или вы предпочитаете кофе?

— Да право же, не стоит беспокоиться... — забормотал было Совков, но, поймав на себе почти ласковый взгляд Вероники, добавил тихо: — Если можно, кофе.

— И мне тоже, — кивнул Пилястров.

Вероника исчезла за неприметной дверью, а Сергей Борисович уселся рядом с Совковым на мягкий кожаный диван и заговорил:

— Знаете, жизнь у нас просто сумасшедшая! Сами понимаете, мы, по сути, первопроходцы, по крайней мере, в нашем городе. Ведь с чего мы начинали совсем недавно? С небольшого кооператива. А теперь мы — крупнейшая в Сибири компания. Мы первыми стали поставлять персональные компьютеры и факсы. Сейчас кажется, что это какая-то безумно дорогая техника, но поверьте, лет через пять-семь ею будут пользоваться как теперь стиральными машинами.

Совков посмотрел на Пилястрова с сомнением, но тот лишь усмехнулся:

— Уверю вас, так и будет! И будет многое другое. Вот мы организуем поставки леса из Восточной Сибири в Азию. Но какого леса? Думаете, нарубили, в бревна сложили — и все? Ничего подобного! Такой лес стоит копейки. А мы организовали его обработку, и это уже совсем другая цена. Продукция уходит за границу, оттуда к нам приходят компьютеры и факсы. И это только один пример нашего бизнеса. Я вам могу привести и другие. Мы налаживаем производство тетрапаков. Вы знаете, что это такое?

Совков покачал головой.

— Это упаковка из специального картона для пищевых продуктов. В мире сейчас не разливают молоко, кефир, соки и прочее в стеклянные бутылки — преимущественно в тетрапаки. Они легкие, не бьются, продукты в них хранятся дольше. По сути это пусть маленькая, но настоящая революция в отечественной пищевой промышленности. Ну да, были у нас картонные треугольники для молока, но современные тетрапаки — совсем иное дело. У нашей компании есть и другие виды производства и торговли, и все они завязаны между собой. Мощный

производственно-коммерческий комплекс. И ваши разработки нас интересуют именно потому, что мы можем себе позволить творческий поиск. Мы не обязаны сто раз все согласовывать с разными ведомствами — мы работаем на свой страх и риск. И на свою выгоду. Впрочем, не только на свою. Вы слышали о конкурсе молодых ученых, который проводился весной?

Да, Совков слышал. Об этом писали газеты, в том числе центральные. Об этом рассказывали по радио и телевидению.

— Так вот, организаторами и спонсорами были мы.

Об этом Совков тоже знал — опять же из газет, радио и телевидения.

— И фестиваль артистов балета, и акция «Сделаем город чище» — все это тоже наша организация и наша финансовая поддержка. И вы думаете, местные власти нас за это носят на руках?

Олег Валерьянович не знал, что ответить, но Сергей Борисович и не настаивал. Он ответил сам:

— Ничего подобного! Они смотрят на нас, словно на ядовитых пауков в лабораторном сосуде. Вроде, с одной стороны, пауков этих нужно исследовать, а с другой — хочется придавить. И ведь кто больше всех активность проявляет? Партийные органы! Нет бы интересоваться результатами наших дел — так они всё докапываются, не противоречат ли наши дела социалистическим принципам! Буквально три дня назад к нам пожаловал секретарь обкома КПСС. За какой надобностью, мы так и не поняли, но он страшно возмущался, почему с ним не встретился лично Георгий Александрович. Я ему объяснял: со всеми встречаться и вести переговоры — это моя обязанность. Но вы же понимаете, что такое секретарь обкома партии! Он просто убежден, что его должен всегда встречать первый руководитель, да еще и ковровую дорожку ему расстилать.

— У вас могут быть неприятности? — вдруг испугался Совков.

Но Пилястров снисходительно улыбнулся:

— Ерунда! Не те времена. И этот секретарь — совсем не тот человек, на которого должен тратить время Георгий Александрович.

Совков вдруг почувствовал, как у него защемило в груди. Секретарь обкома партии — не тот человек. А он, Олег Валерьянович, — тот! Никогда его не возносили столь высоко. Никогда по-настоящему важные люди не обращали на него свой взор, а уж тем более — не выделяли его, не оказывали особых знаков внимания...

За исключением, впрочем, одного случая, произошедшего в восемьдесят третьем году.

Совкову редко везло, но тогда все случилось именно так. Нежданно-негаданно ему прямо в руки свалилась «горящая» путевка. И не куда-нибудь, а в санаторий в Гаграх. И не когда-нибудь, а в сентябре, то есть в бархатный сезон. Обычно в сентябре его вместе со многими другими сотрудниками НИИ посылали в подшефный совхоз убирать картошку, а тут





отправили на юг. Воистину, с первыми каплями осеннего дождя ему на голову упала манна небесная!

Три дня Олег Валерьянович наслаждался морем, солнцем, санаторным комфортом и прогулками в знаменитом гагринском парке*. А на четвертый день произошла та самая история.

Он выходил из парка, когда увидел изящную девушку с огромным догом на поводке. Девушка шла не спеша, явно прогуливаясь, и лицо у нее было безмятежным. Собака плелась рядом, высунув от жары язык, и морда у нее была добродушной. Того мальчугана лет пяти-шести Совков поначалу даже не заметил, лишь услышал рядом какой-то крик, похожий на воронье «кар-р-р», после чего увидел, как мимо что-то пролетело и угодило прямоком в собачью морду. То ли это был камушек, то ли комок земли, то ли шишка кипариса — не суть важно. А важным — и страшным! — оказалось то, что секунду назад равнодушно-ленивый дог вдруг оскалился, издал яростный рык, и не успела хозяйка среагировать, как пес бросился вперед вместе с выскочившим из руки девушки поводком. Олег Валерьянович всегда считал себя человеком несколько флегматичным и позже удивлялся, откуда вдруг у него взялась эта быстрота мыслей и движений. Но она действительно откуда-то взялась. Он понял, что сейчас пес вцепится в своего маленького обидчика, и ринулся наперерез, закрывая собой мальчика. А в следующее мгновение он услышал крики, почувствовал удар крепкого собачьего тела и ощутил в районе запястья режущую остроту клыков.

У хозяйки дога реакция тоже оказалась отменной. Не успел пес клацнуть зубами второй раз, как был схвачен за ошейник, после чего тут же попятился назад, выражая свое недовольство злобным рычанием.

И тут же вокруг Совкова и мальчика образовалась толпа — не очень большая, но очень шумная, в которой выделялись двое. Молодая красивая женщина с безумием в глазах подскочила к малышу, схватила его на руки и принялась неистово целовать, а молодой мужчина с мощными плечами цепко сжал руку Олега Валерьяновича и при этом гортанно крикнул:

— Всё в порядке! Разойдитесь! Разойдитесь все! — Потом повернулся к девушке с собакой и сказал тихим и от этого особо пугающим голосом: — Уходи. Уходи немедленно!

Толпа испарилась мгновенно, словно морские капли под жарким солнцем, лишь Совков остался стоять на месте, удерживаемый железными пальцами незнакомого мужчины.

— Вы спасли моего сына! — произнесла женщина горячо, после чего перевела взгляд своих черных глаз на мужчину, и Совков увидел, как смуглые щеки незнакомца побелели.

Потом они заговорили, вернее, говорила в основном женщина, причем довольно гневно, мужчина лишь вставлял отдельные слова, но Совков ничего не понял — они говорили на непонятном ему языке. Наконец

* Приморский парк, или парк принца Ольденбургского, — одна из главных достопримечательностей в Гагре.

женщина поставила точку, гордо вскинув голову, а мужчина сказал, обращаясь к Совкову:

— Уважаемый, вы спасли сына очень солидного человека. Его жена Тамара (женщина кивнула) просит вас быть сегодня гостем в их доме.

— Да, в общем-то, я ведь что... ведь ребенок... Вам совсем не стоит беспокоиться... — смутился Совков и тут увидел, что по его левому запястью течет кровь, а под ногами валяются сорванные зубами пса часы с раздробленным циферблатом.

Женщина это тоже увидела, вынула из сумочки тонкий платок и быстро перевязала Совкову запястье. Мужчина же поднял часы, повертел их туда-сюда и покачал головой. Потом подхватил на руки ребенка и повторил уже сказанное:

— Вас просят быть гостем, — после чего подвел Олега Валерьяновича к белой «Волге» и услужливо распахнул дверь.

Так Совков попал в этот дом. Точнее, его можно было бы назвать небольшим замком или виллой — подобное Олег Валерьянович видел в кино про шикарную заграничную жизнь и никогда не предполагал увидеть в собственном отечестве. Хозяин дома был близкого с Совковым возраста, но рядом с ним Олег Валерьянович почувствовал себя мальчишкой, которого вдруг одарил вниманием взрослый солидный человек.

Этот человек действительно был солидным по всем статьям — высокий, полный, степенный, в белоснежном костюме, с массивным золотым кольцом, окруженный людьми, которых скорее можно было принять за прислугу, нежели за гостей дома. Он вышел на террасу, где Совков сидел, любуясь изумительным морским видом, подошел к Олегу Валерьяновичу и крепко обнял его за плечи.

— Аким, — представился он. — Мальчик — мой сын, а я — ваш должник.

— Олег, — представился в свою очередь Совков. — Но вы никакой мне не должник. Я уже говорил вашей жене и... — он запнулся, не зная, как назвать спутника женщины, — тому мужчине, который нас привез...

— Он болван! — отрезал Аким — Я ему плачу большие деньги, чтобы моя жена и мой сын не имели проблем, но он плохо отрабатывает свой хлеб.

— Нет-нет! — запротестовал Совков. — Он совершенно ни при чем. Там все получилось совершенно неожиданно...

Олег Валерьянович не договорил, потому что Аким его перебил:

— Вам, дорогой, не стоит беспокоиться. Вам теперь ни о чем не стоит беспокоиться. По крайней мере, в Гаграх. И во всей Абхазии. Вы теперь друг Акима. А Аким в Абхазии может все!

В чем Совков убедился первым делом — это в возможностях Акима накормить такими яствами и напоить таким вином, о каких Олег Валерьянович даже не слышал. Они сидели вдвоем за роскошным столом и неспешно беседовали. Время от времени Совков видел в саду, который правильнее было бы назвать парком, каких-то людей, но они к террасе не приближались. Лишь несколько раз к их столу подходила немолодая молчаливая





женщина, и лишь для того, чтобы убрать использованные тарелки и принести очередное блюдо. Правда, один раз на террасе появился незнакомый парень, сказал хозяину несколько слов на своем языке, после чего Аким сдвинул брови, прервал с извинениями беседу и скрылся в доме.

В одиночестве Олег Валерьянович пробыл недолго. Аким вернулся с улыбкой, но что-то в этой улыбке Совкова насторожило.

Прощались радушно и, как уверил Аким, ненадолго.

— Мы покажем вам настоящую Абхазию! Вы увидите то, что показывают только самым дорогим гостям. А чтобы вы запомнили время, проведенное в нашей маленькой, но прекрасной республике, прошу принять от меня подарок. — И он протянул Совкову красивые часы, на которых маленькими буквами было написано название фирмы на английском языке.

— Это совсем ни к чему! — запротестовал Олег Валерьянович — и в тот же момент понял, что Аким совсем не тот человек, с которым можно спорить.

— Никаких возражений, — произнес Аким спокойно, но твердо. — Никаких. — И добавил уже мягче: — Тем более ваши часы, считайте, съела собака.

Белая «Волга» подвезла Совкова прямоком к дверям санаторного корпуса, и не успел он переступить порог, как тут же был перехвачен дежурной. Эта крупногабаритная женщина с громким голосом ретивого сержанта и вечным недовольством на лице с первой минуты вызывала неприятие у всех отдыхающих, и Олег Валерьянович не был исключением. Но тут она его поразила.

— Вы ведь Совков? — поинтересовалась она с почтением.

Олег Валерьянович кивнул.

— Вот и чудненько, голубчик! А я вас жду. Вас велено переселить в другую комнату.

— Кто велел? Зачем? — едва ли не испугался Совков.

Но дежурная вдруг многозначительно повела глазами:

— Да уж кому надо, тот знает зачем.

Кто позаботился о его переселении, Олег Валерьянович догадался сразу, едва оказавшись в своем новом жилище. Это была не стандартная комната на двоих, а двухкомнатный номер на одного с красивой мебелью, холодильником и телевизором. Укладываясь вечером в большую двуспальную кровать, Совков блаженно думал о причудливости судьбы. Мог ли он ожидать, что его сегодняшняя прогулка в парке закончится именно так? А еще он думал об Акиме. Кто этот, судя по всему, могущественный и богатый человек? Могущественных людей он видел — тех, у кого везде были знакомства и, соответственно, имелись большие возможности. Но людей откровенно богатых он не встречал никогда, хотя о них слышал. Из долгой беседы с Акимом он так и не понял, чем занимается хозяин роскошного дома, красивого сада и белой «Волги», что позволяет ему иметь обильный стол и по меньшей мере нескольких людей в услужении. Впрочем, было

ли у Совкова право вдаваться в подробности? Он был деликатным человеком и никогда не отваживался ломиться в чужие двери.

Однако ночью он проснулся оттого, что кто-то ломился в его собственную. Вернее, так ему показалось со сна, поскольку, открыв глаза, он понял: это всего лишь тихий стук.

Он открыл дверь и увидел того самого мужчину, который привез его в санаторий. У мужчины было мрачное, напряженное лицо и тревожные глаза. Совков удивился и слегка испугался. Пока еще — слегка. А через несколько минут испугался уже всерьез, потому что мужчина, пройдя в комнату и плотно закрыв дверь, сказал:

— Вам надо уезжать отсюда. Прямо сейчас. Вот ваш билет на самолет. Внизу ждет машина. Я увезу вас в аэропорт, утром улетите домой через Москву.

— Как уезжать? Зачем? У меня же путевка, у меня еще двадцать дней, — опешил Совков.

— В санатории не будет документов, что вы здесь жили. Мы уже все сделали, — успокоил мужчину.

Но Олег Валерьянович не успокоился. Напротив, совсем разнервничался.

— Что вы сделали? И почему все это? У меня отпуск! У меня путевка! Я ничего не понимаю!..

— Вам надо уезжать, — повторил мужчина непреклонно, после чего покачал головой и добавил: — У Акима Георгиевича неприятности. Вы были гостем Акима Георгиевича. Люди видели, как вас сюда привезли на его машине. Люди могли видеть, как вас увозили к нему. Люди могут на вас показать. У вас тоже могут быть большие неприятности. Аким Георгиевич этого не хочет. Он хочет, чтобы вы жили спокойно.

— Какие неприятности? Вы о чем? — совсем растерялся Совков, но мужчина вновь покачал головой и сказал:

— Я жду вас в машине.

Утром Совков улетел домой. Его прекрасный отдых продлился четверо суток, из которых полночи он провел почти в царских условиях.

А через три месяца он прочитал в газете «Известия» большую статью, в которой рассказывалось о том, как по решению Генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Владимировича Андропова наши правоохранительные органы ведут борьбу с незаконной экономической деятельностью. В статье приводилось несколько примеров и в том числе упоминалось, что в Абхазии раскрыта большая группа подпольных цеховиков, руководил которыми заместитель председателя Гагринского горисполкома Аким Георгиевич Габуня.

Кофе, приготовленный Вероникой, был отменным. Олег Валерьянович давно такой не пил, а может, ему это только так казалось —





в соответствии с внутренним настроем. Ему все здесь казалось удивительным, необыкновенным, почти сказочным. Он посмотрел на часы — красивый подарок того самого Акима, о котором он больше никогда не слышал. Пилястров тоже посмотрел на часы, потом перевел взгляд на Веронику, та в свою очередь, глянула на телефон и едва заметно повела плечами.

— Уж вы извините, — сказал Сергей Борисович, обращаясь к Совкову. — Я вас ненадолго покину. Вы не против?

— Что вы, что вы! — с готовностью откликнулся Совков. — Я подожду.

Он ждал уже три часа, но это ничего не значило по сравнению с ожиданием длиною почти во всю жизнь.

— Может, желаете журнал почитать? — предложила Вероника. — Или еще чашечку кофе?

Она вышла из-за стола и подошла к Совкову. Он почти инстинктивно вскочил с кресла, потерял на мгновение равновесие, качнулся вперед, и его руки скользнули по плечам Вероники.

— Извините, — пробормотал он, почувствовав, как его щекам стало горячо.

— Ничего страшного, — произнесла Вероника с улыбкой и посмотрела ему прямо в глаза. Ее улыбка была ласковой и успокаивающей, а взгляд теплым и обволакивающим. Такую улыбку и такой взгляд ему однажды подарила...

Он никогда и никому об этом не рассказывал. Он смущался от одних только воспоминаний. Хотя, по большому счету, это было смущение не от греха, а от нелепости грешных помыслов.

Совкову было тридцать два, а Лиде — двадцать восемь, когда они поженились. Они жили на одной лестничной площадке, и свела их не романтическая влюбленность, не пылкая страсть, а тихая добрая привязанность. За двадцать лет Олег Валерьянович ни разу не пожалел о своем выборе, и Лида, как ему казалось, тоже. И еще за все эти двадцать лет Совков ни разу не изменил жене, хотя, если уж совсем по совести, однажды на это решился.

Ее звали Анной. Она работала секретарем директора и всегда была окружена людьми — теми, кто интересовался директором, и теми, кто интересовался ею самой. Почему вдруг она заинтересовалась Совковым, тот так никогда и не понял. Он решил, что просто линии судьбы пересеклись, не согласуясь ни с какой логикой. Ну какая могла быть логика в этом переплетении — красивая тридцатилетняя женщина и сорокадвухлетний лысеющий, полнеющий мужчина? Совкову казалось, что никакой. Однако случилось.

Начало было банальным. На вечере в честь Нового года Олег Валерьянович пригласил Анну на танец. Совершенно неожиданно

пригласил — просто в тот момент, когда заиграла музыка, он оказался к Анне ближе всех. А потом он пригласил ее второй раз, третий, четвертый, и она не отказывалась. Он стал вдруг очень разговорчивым, веселым, он видел вокруг удивленные взгляды (причем женщины смотрели с любопытством, а мужчины — с завистью) и чувствовал какую-то поразительную легкость в душе. Ему казалось это новогодней сказкой, рождественской фантазией, он понимал всю нереальность происходящего, но не ощущал грусти, какая возникает от осознания, что вот еще мгновение — и зыбкий туман рассеется. Он всегда жил завтрашним днем, следующим мгновением, и вот теперь настал тот миг, когда он наслаждался сиюминутным.

А потом Анна посмотрела ему прямо в глаза, улыбнулась и сказала: — Поедем со мной.

Ее улыбка была ласковой и успокаивающей, а взгляд — теплым и обволакивающим.

— Ты здесь живешь? — спросил Совков, когда они подъехали к панельной девятиэтажке в районе новостроек, но Анна покачала головой:

— Нет, здесь живет моя подруга. Но ты не волнуйся, никого дома нет.

Однако Совков волновался. Он не мог не волноваться, ибо все происходящее было из другой, не из его, жизни, в которую он погружался с щемящей тоской и необыкновенной радостью.

Квартира была большой, но они кинулись друг к другу прямо в прихожей. А когда они переместились в большую комнату, Совков уже стоял в одних трусах, прижимая к себе обнаженную Анну. Его тело горело, его сердце рассыпалось на мелкие осколки, его голова отказывалась думать хоть о чем-то, кроме происходящего.

— Пойдем в спальню, — жарко шепнула Анна, увлекая его за собой по коридору вглубь квартиры.

А дальше был обморок. Или что-то похожее на обморок. Он не видел спальни, не видел кровати, только чувствовал, как, притягиваемый телом Анны, медленно падает ничком в темноту... И вдруг он услышал дикий визг. В следующую минуту в углу вспыхнул свет, обнаженная женщина — совсем не Анна — вскочила с постели, следом за ней, мотая головой, приподнялся на локте обнаженный мужчина, и оба они изумленно уставились на полулежащую Анну и обнимающего ее Совкова.

Олегу Валерьяновичу показалось, что он сейчас умрет.

Но он не умер.

Через два часа он уже лежал в своей постели, в собственном доме, и мучительно старался заснуть. Но вместо сна в голову лезли тяжелые мысли.

Единственный раз в жизни он отважился на грех, а получился смех. Подруга Анны, которая в последний момент передумала уезжать из дома, а, напротив, привела к себе своего приятеля, искренне смеялась над нелепой ситуацией и, более того, всячески уговаривала Совкова посмеяться тоже. Но он никак не мог. Его хватило лишь на то, чтобы поспешно



одеться, дожидаться на лестничной площадке Анну, поймать такси, в полном молчании довезти ее до дома и отправиться восвояси самому.

Через два дня он подал заявление об увольнении по собственному желанию.

Совков не любил вспоминать эту историю, но иногда она вспоминалась как-то сама собой, всегда с неприятным жжением в душе. Однако сейчас все было иначе. Он смотрел на Веронику и с удивительным облегчением думал, что, наверное, тогда, девять лет назад, все вышло к лучшему: по крайней мере, это избавило его от ненужных соблазнов, разочарований, а возможно, и крушений.

— Задумались?

Олег Валерьянович даже не заметил, как в приемной вновь появился Пилястров.

— Да так... — неопределенно протянул Совков и совершенно машинально взглянул на часы.

Сергей Борисович истолковал его взгляд по-своему.

— Я вас прошу, не тревожьтесь. Встреча состоится непременно, уверяю вас! Просто некоторые непредвиденные обстоятельства...

Его прервал телефонный звонок.

— Компания «Консиб», — пропела Вероника, затем зажала трубку рукой и быстро проговорила, обращаясь к Пилястрову: — Это они. Сейчас будут.

— Хорошо, — сказал Сергей Борисович и, обернувшись к Совкову, пояснил: — У нас тут предстоит еще одно дело, поэтому я попрошу Георгия Александровича, чтобы он вас принял безотлагательно.

И скрылся за дверью, на которой так же, как и на двери приемной, не было никакой таблички.

Совков вновь приготовился ждать, и вновь без какого-то сожаления, но Пилястров появился буквально через пару минут.

— Прощу! — воскликнул он с некоторой торжественностью и распахнул дверь, пропуская Олега Валерьяновича в святая святых компании «Консиб».

И тут вдруг Совков растерялся. Зачем-то принялся рыться в портфеле, где еще с вечера все лежало в образцовом порядке, потом начал искать носовой платок, хотя он всегда находился в левом кармане, затем ни с того ни с сего стал судорожно поправлять галстук, который и не думал никуда съезжать... В общем, повел себя суетливо и где-то даже глупо. Пилястров его не торопил — стоял, придерживая ногой дверь, и ободряюще улыбался. От этой улыбки у Совкова разом потеплело на сердце, и внутренний раздрай тут же сменился успокоением и уверенностью.

С этой уверенностью он шагнул в открытую дверь, оказался в узком коридоре, который вел к другой двери, а уже за ней...



Кабинет Кохановского удивил Олега Валерьяновича. Это была большая, похожая на пенал комната, окна которой были плотно занавешены тяжелыми темно-зелеными шторами. Свет сквозь эти шторы проникал с какой-то тусклой обреченностью, едва освещая темные стены, темную мебель и самого хозяина кабинета — крупного мужчину с каменным лицом и таким же каменным взглядом. Впрочем, взгляд этот Совкову был почти недоступен — его скрывали полумрак и расстояние, отделяющее хозяина кабинета от посетителя. Георгий Александрович сидел в торце длинного, почти во всю комнату, стола, вдоль которого выстроился, казалось, бесконечный ряд стульев. Олег Валерьянович поздоровался, Кохановский кивнул. Совков вознамерился было пройти вглубь кабинета, но тут же почувствовал прикосновение руки Пилястрова и услышал его тихий голос:

— Сюда, пожалуйста!

Сергей Борисович предупредительно пододвинул стул, и Совкову ничего не осталось, как сесть у противоположного торца стола. Это было отнюдь не самое удобное место. Олег Валерьянович вдруг вспомнил свое посещение театра на Таганке лет пятнадцать назад, куда билет он смог достать только на галерку и весь спектакль мучился оттого, что половину действия плохо видел и скверно слышал. Однако сейчас он так же, как и тогда, благодарил судьбу, что ему досталась хотя бы галерка.

Совков ждал первого слова — конечно, это слово должно было принадлежать Кохановскому, но произнес его Пилястров:

— Начинайте, Олег Валерьянович. Георгий Александрович вас слушает.

Кохановский едва качнул головой.

Совков никогда не считал себя особо красноречивым, но у каждого бывает свой звездный час. И этот час наступил, ужавшись в десять минут, о которых предупредил Пилястров. Конечно, Совков помнил дословно, что хотел поведать президенту «Консиба», он репетировал свою речь многократно, но действительность превзошла предположения. Он говорил убедительно, логично, вдохновенно, как может говорить человек в минуты высочайшего подъема или тогда, когда ему уже больше нечего терять.

Олег Валерьянович замолчал в ожидании естественных, на его взгляд, вопросов, но их не последовало. Вместо этого Кохановский вновь качнул головой, и на его лице появилось некое подобие улыбки. Каменной, как и само лицо, но все же это была улыбка.

И тут же оживился Пилястров. Он сгреб чертежи и расчеты, приготовленные Совковым, и, устремившись к противоположному концу стола, разложил их перед Кохановским. Георгий Александрович взял бумаги в руки, перебрал их по листочку, после чего вновь сложил в стопку и кивнул.

Совков понял, что это одобрение, но не знал, как ему вести себя дальше. Однако все опять решил Пилястров. Он подхватил Олега Валерьяновича под локоть и, шепнув на ухо:

— Все просто замечательно! — подтолкнул к двери.





— Большое спасибо, до свидания! — воскликнул Олег Валерьянович проникновенно и получил в ответ очередной кивок. Ему показалось, что на сей раз это было похоже на поклон.

За те несколько минут, которые Совков провел в кабинете Кохановского, тихая безлюдная приемная превратилась в шумную и многолюдную. Все это впечатление создавали четыре человека: маленькая взъерошенная женщина лет сорока, очаровательная девушка с ярко-голубыми глазами и двое парней с телекамерой, осветительными приборами и связкой шнуров. Главной, по всей вероятности, была взъерошенная женщина, по крайней мере именно она больше всех суетилась, громким голосом раздавая указания. При появлении Пилястрова она замахала руками и застрекотала:

— Мы везде все отсняли! Между прочим, времени потратили гораздо больше, чем планировали...

— Это мы учтем, — мягко перебил ее Пилястров.

— Да, учтите, но дело не в этом, — перебила в свою очередь женщина, и отнюдь не мягко, а, наоборот, довольно резко. — Нам нужны кадры с Кохановским. Без этого будет полная чушь! В конце концов, все решат, что Кохановский — это символ, это ваша придумка. А мы не какую-то туфту снимаем! Нам в кадре нужен живой Кохановский. Пусть он даже молчит, если он у вас такой неразговорчивый, но нам нужно его лицо!

— Между прочим, — все с той же мягкостью в голосе заметил Пилястров, — вот перед вами человек, который только что общался с Георгием Александровичем. И он вам подтвердит, что Георгий Александрович — это отнюдь не символ и не придумка.

— Вот как? — Женщина наконец соизволила заметить Совкова. — Это интересно...

Она отступила на шаг, прищурилась и, оглядев Олега Валерьяновича с ног до головы, уточнила:

— Это была деловая встреча?

— Это была очень примечательная встреча, — вместо Совкова ответил Пилястров. — Олег Валерьянович Совков — изобретатель, который много лет не мог найти применения своим разработкам. И вот теперь Георгий Александрович принял решение, что наша компания будет внедрять в производство его изобретения.

— Это интересно, — повторила женщина.

— Ну что ж, ловите удачу, — улыбнулся Пилястров и обратился к Совкову: — Вера Николаевна — режиссер, она снимает передачу о нашей компании для Центрального телевидения. Надеюсь, вы не откажетесь сказать несколько слов по итогам вашей встречи с Георгием Александровичем?

Совков смутился — его никогда не снимали для телевидения. Но одновременно и обрадовался. Конечно же, он готов был рассказать все, он готов был излить свое чувство благодарности к молчаливому человеку, который решил его судьбу одним кивком головы.

— Наташа, микрофон! Мальчики, камеру, свет! — командовала режиссер, и уже через несколько минут Совков сидел на диване рядом с Натасей, которая, лучезарно улыбаясь камере и одновременно Олегу Валерьяновичу, интересовалась, какое впечатление произвело на того общение с президентом компании «Консиб».

Нельзя сказать, что речь Совкова была столь же гладкой и логичной, как в кабинете Кохановского, но по части эмоций он, безусловно, превзошел самого себя. Сердце Олега Валерьяновича ликовало, слова летали с изяществом снежинок, и весь он словно парил в воздухе, исторгая из груди души восторг и признательность.

— Отличный кусок! — одобрила режиссер и тут же переключилась на Пилястрова: — Так мы сделаем кадры с Георгием Александровичем?

— Сделаете, — успокоил ее Сергей Борисович и направился к двери кабинета Кохановского.

— Простите, — окликнул его Совков. — А мне что дальше делать?

— Вам? — Пилястров оглянулся, улыбка скользнула по его лицу. — Вам не стоит беспокоиться. В ближайшие дни мы продолжим наше общение.

Уже дома Олег Валерьянович вдруг сообразил, что он так и не понял, кто же первый начнет обещанное общение — то ли ему, Совкову, следует позвонить Пилястрову, то ли, напротив, Пилястров позвонит ему. Через неделю Олег Валерьянович набрался храбрости и позвонил сам, но услышал, что Сергей Борисович в отъезде. Еще через пару дней ему сообщили, что тот на совещании. В последующие дни все повторялось с неуклонной однозначностью — Совков звонил, но голоса Пилястрова не слышал.

Он услышал его девятнадцатого августа.

— Боже мой, Олег Валерьянович! — Голос звучал мрачно и тревожно. — Вы разве не знаете, что в стране ГКЧП? Мы не понимаем, что будет завтра. У нас сейчас совершенно другие заботы.

Совкову стало жгуче стыдно — не обидно, не горестно, а именно стыдно. В стране госпереворот, а он...

Пилястров, похоже, это почувствовал, потому что голос его смягчился:

— Давайте посмотрим, чем дело кончится. Я надеюсь, все будет хорошо. А вы не тревожьтесь. Я позвоню вам. Я сам с вами свяжусь.

Но он не позвонил — ни тогда, когда закончился путч, ни позже, когда по телевидению стали показывать сюжеты про компанию «Консиб» с кадрами, где Олег Валерьянович делился своими впечатлениями от общения с Георгием Александровичем Кохановским и рассказывал, какие надежды подарило ему это общение. По мнению знакомых Совкова, это были самые запоминающиеся моменты.

Встреча с Пилястровым так и не состоялась.

Зато перед самым Новым годом состоялась другая встреча. И она перевернула все.

Совков узнал эту девушку сразу — уж очень у нее были яркие голубые глаза. И девушка узнала его сразу — уж очень по-детски



восторженным показался ей тот немолодой мужчина. Они столкнулись в автобусе, причем в буквальном смысле слова: переполненный автобус тряхнуло и девушка повалилась на грудь Совкова, уткнувшись мохнатой песцовой шапкой ему в лицо. От неожиданности Совков ахнул, а девушка ойкнула, после чего оба одновременно воскликнули:

— Это вы?!

Возможно, если бы им не надо было выходить на одной остановке, все закончилось бы вежливыми приветствиями и дежурными поздравлениями с Новым годом, но они вышли вместе и, более того, двинулись в одном направлении, так что разговор завязался сам собой.

— Вы знаете, наша режиссер, Вера Николаевна, считает, что кадры с вами — просто класс! — сказала Наташа. — И я тоже так думаю. Особенно на фоне этого Кохановского. Уж Пилястров — ну такой симпатичный мужик! — крутился и так, и сяк, все уговаривал, чтобы этот гений бизнеса соизволил полминуты попозировать, раз пять к нему в кабинет бегал. В конце концов тот соизволил все-таки. Но лучше бы мы его совсем не снимали! Мало того, что не сказал нам ни здрасьте, ни до свидания, так еще уселся с каменной физиономией и даже слова не произнес. Можно подумать, мы к нему не с телекамерой пришли, а с фотоаппаратом. Жутко неприятный тип! Я вообще терпеть не могу этих деловых, они только о своей выгоде думают. Да вы и сами это знаете.

— В каком смысле? — не понял Совков.

— Ну как в каком? — удивилась Наташа. — С вами-то этот Кохановский как обошелся?

— А вы знаете? — удивился в свою очередь Олег Валерьянович, с недоумением подумав, откуда эта милая, но совершенно случайная девушка в курсе, чем все закончилось.

И вдруг он почувствовал, как нехорошо стало у него на душе — тоскливо и морозно.

— Да нет, Георгий Александрович, наверное, хотел как лучше, но обстоятельства... — забормотал Совков отчего-то извиняющимся тоном, который ему самому показался совершенно неуместным. — Сначала путч, потом все так быстро стало меняться... Просто я, наверное, невезучий. Тогда мне показалось, что вот повезло в кои-то веки, а все так повернулось...

— Вы это серьезно?! — Наташа остановилась, ее ярко-синие глаза блеснули изумлением. — Вы так ничего и не поняли?!

Совков тоже остановился, причем ему показалось, что его ноги пристыли к обледеневшему тротуару.

— Да этот Кохановский вас элементарно использовал! Как самого последнего... — Наташа запнулась. — ...простака. Конечно, вы это сразу не сообразили. Мне тоже в голову с ходу не пришло. И даже Сергей Борисович, Пилястров то есть, никак не дотумкал. Но вот Вера Николаевна... Она у нас все влет сечет. Когда вас отсняли и вы ушли, а потом мы отсняли этого Кохановского, Вера Николаевна у Пилястрова прямо спросила: «Тот изобретатель — подстава?» Сергей Борисович, конечно, глаза

вытаращил — с какой, дескать, стати? А Вера Николаевна сказала: «Ваш Кохановский ничего для него делать не будет. Ему вообще на людей наплевать, это же сразу видно». Сергей Борисович принялся уверять, мол, все не так да не сяк, но Вера Николаевна ответила, что это, в сущности, не ее дело, у нее свое дело есть, его она и выполняет. А где-то через месяц я в одной компании встретила Веронику — ту, что была в приемной Кохановского. Оказывается, она вовсе даже и не у Кохановского, а у его заместителя секретаршей работает. А у Кохановского была своя секретарша, но она в тот день то ли зуб удаляла, то ли еще какую хворобу лечила, вот Веронику в приемную и посадили. Так вот, когда мы с Вероникой через пару месяцев встретились, она уже в «Консибе» не работала. После путча Кохановский приказал ее элементарно выпереть. И знаете почему? Оказывается, папаша Вероники кагэбистом при больших погонах служит. До путча, видать, это было выгодно, а после — как раз наоборот. Я бы на месте Вероники сильно разозлилась и всем им вмазала, а она вроде как ничего, помалкивала. Может, боялась, а может, заплатили ей хорошо, но только всего и сказала, что про отца да про вас.

— Да про меня-то, наверное, было совсем неинтересно, — вдруг перебил Наташу Совков, поймав себя на мысли, что слова его дурацкие и произнес он их с единственной целью — отодвинуть куда-нибудь в сторону, по возможности развеять во времени сказанное о нем Вероникой. Он уже предугадывал суть и не хотел убеждаться в правильности своих догадок.

Но Наташа его неловкого порыва не поняла, заявив с истинно юношеским азартом:

— Конечно, если бы я сама в той съемке с вами не участвовала, мне было бы по барабану. Но и Вероника с какой стати тогда мне про вас бы рассказывала? А тут компания собралась большая, мы друг на друга посмотрели, Вероника и вспомнила, что мы как раз познакомились, когда вас снимали в приемной. Вы ей, кстати, понравились. Она сказала: «Славный мужик, сразу видно. Жаль, что таким как раз головы и дурят». Вы ведь Кохановского сколько ждали? Несколько часов? Вот-вот, Вероника говорила, Сергей Борисович аж весь извелся. А все, оказывается, почему? Потому что Кохановский ждал, когда мы с камерой приедем. Ему, оказывается, нужно было, чтобы вы весь из себя счастливый после встречи в приемную вывалились, а там мы бы поджидали. Ну и, понятное дело, по горячим следам все ваши радости и отсняли. И правда, здорово получилось. Мы потом монтировали — это были самые классные кадры.

— Я не могу осуждать Георгия Александровича. В конце концов, он имел право, чтобы его благородные намерения... — Олег Валерьянович осекся, словно со стороны услышав свой голос и ощутив всю ничтожность этого жалкого лепета.

Наташа понимающе вздохнула. Она была девушкой доброй, но слишком молодой, чтобы сознавать глубинный смысл старого изречения «ложь во спасение», а потому и продолжила с решимостью человека, считающего правдивую ясность великой добродетелью.



— Никаких благородных намерений у него и в помине не было! — отрезала она. — Этот затворник, эта голова профессора Доуэля, с самого начала придумал использовать вас в рекламных целях. Вот так. Потому он и соизволил вас принять, чтобы вы от восторга захлебывались прямо в камеру!

«А Сергей Борисович, такой доброжелательный, предусмотрительный, располагающий, он что — всего лишь фантазия? А его объяснения по поводу путча, ГКЧП и непонятных перспектив — это тоже всего лишь придумка?» — хотел было воскликнуть Олег Валерьянович, но промолчал.

Зато не промолчала Наташа. Она, словно снежинки, подхватила невысказанные вопросы Совкова и произнесла с легкой усмешкой, в которой сожаление естественно перемешалось с иронией:

— Бедолага Пилястров. Он, конечно, в этой истории оказался круглым дураком. Но, в конце концов, он помощник Кохановского. Тот его подставил, но нечего было подставляться.

...Всю ночь Олег Валерьянович не спал. Думал, вспоминал, сопоставлял. А утром все для себя решил. И от этого решения ему стало легко и... страшно. Однако это был не тот страх, который он знал все прошедшие годы. Это был не страх маленького человечка, зажатого большими обстоятельствами, — это был страх человека, сознающего, что никому другому, а только ему принадлежит выбор. И от осознания этого душа Олега Валерьяновича наполнилась удивительной легкостью.

3.

Если бы Георгия Александровича Кохановского спросили, что способно убить его в одночасье, он бы ответил: потеря библиотеки.

Это была удивительная библиотека — пожалуй, одна из самых богатых и значительных среди всех частных библиотек. Сбирать ее начал еще прадед Георгия Александровича, профессор словесности Московского университета, а уж потомки его (тоже филологи, профессора и тоже Московского университета) не только сумели сохранить коллекцию, но и приумножили ее с истинно профессиональным знанием дела и наследственной любовью к книгам.

По нынешним временам библиотека оценивалась очень серьезными суммами, но президент компании «Консиб» совершенно не мог понять, какое отношение к книгам имеют деньги. Книги для него были бесценны.

Возможно, Георгий Александрович несколько по-иному смотрел бы на финансовую роль книг, если бы знал, что такое бедность или, по крайней мере, понятная многим его сверстникам забота «дотянуть до зарплаты». Но он ничего такого не знал: внук и сын состоятельных, по советским меркам, профессоров, выросший в большой квартире в центре Москвы, понятия не имел, что значит считать каждый рубль.

По большому счету, он вообще редко держал деньги в руках. В этом просто не возникало нужды. В последние годы, когда Георгий Александрович возглавлял компанию «Консиб», он имел все, что нужно, но денег не платил, ибо платили их другие. А до того, в прежней жизни, тоже всегда имелись люди, которые избавляли его от необходимости шариться в кошельке, и такими людьми были его родные.

Все это могло показаться крайне странным — ну не в башне же из слоновой кости жил человек, который всем был известен как основатель не какого-то монашеского скита, а крупной организации с разветвленными связями! Но в действительности все так и было. Георгий Александрович Кохановский жил в своеобразной башне, правда, не из слоновой кости, а из книг, и тому имелись свои причины.

Он родился тихим, замкнутым мальчиком, глядящим, казалось, вглубь себя. Как единственного, а потому особо любимого внука и сына, его бесконечно лелеяли и нежили, одаривая всевозможными игрушками. Любовь близких он воспринимал с детской естественностью, к игрушкам же относился с недетским равнодушием. Всевозможные машинки, конструкторы, плюшевые медвежата и прочие радости детского досуга привлекали его внимание от силы минут на десять, после чего тут же меркли рядом с очередной книжкой.

В пять лет Георгий читал уже бегло, в шесть был допущен к свободному странствованию по домашней библиотеке, а в семь лет, когда пришла пора идти в школу, недоуменно смотрел в букварь, силясь понять, какой же смысл заложен в этой книжке. Впрочем, тогда уже стало ясно, что в обычную школу Георгий не пойдет, а в необычную... Имело ли смысл?

Родителям Георгия не понадобились особые старания, чтобы добиться разрешения на индивидуальное обучение сына, итоги которого были оценены без предвзятости и поправок, но при этом очень высоко: по всем основным предметам в аттестате стояли пятерки.

Разумеется, Георгий поступил в Московский университет и, разумеется, на филологический факультет, однако никаких особых усилий от отца и деда тут также не потребовалось — знания абитуриента были безупречны. Старания родственников понадобились для другого — чтобы добиться для Георгия индивидуального режима обучения. Впрочем, эту проблему удалось решить относительно спокойно, после чего спустя пять лет Георгий получил отличный диплом и распределение на кафедру отца. Это был год, когда умер дед, и сотрудники кафедры судачили, что у Кохановских — истинная связь поколений. Впрочем, злыми эти пересуды назвать было нельзя — люди имели представление о научном уровне Георгия, при котором вовсе не обязательно надеяться на соответствующих родственников. Имелась, правда, одна нестыковка — младший Кохановский не преподавал студентам, но этот вопрос решили достаточно просто: его приняли в научно-исследовательский сектор младшим научным сотрудником, после чего Георгий окончательно растворился среди книг.



Конечно, его жизнь была странной — без друзей, без женщин, без каких-либо увлечений, без всего того, из чего складывается нормальная человеческая судьба. Он никуда не уезжал из Москвы, за исключением дачи, и вообще редко покидал свою квартиру. Поскольку он не посещал в буквальном смысле слова школу и университет, то и понятие «общество» соотносил исключительно с теми людьми, которые приходили к его родителям. Не имея никакого опыта общения со сверстниками, он и женщин воспринимал в основном через книги, научившись достаточно безболезненно справляться с плотскими порывами и пользоваться редкими ситуациями. О том, чтобы жениться, завести детей, он даже и не задумывался — слишком много прочитал о семейной жизни, чтобы повторять чужие ошибки.

Безусловно, большинство людей никогда бы не выбрали себе такую судьбу, но у Георгия Александровича она сложилась как сложилась, и он не только не роптал, но и был весьма доволен. Так продолжалось до тысячи девятьсот восемьдесят восьмого года, когда буквально друг за другом в течение месяца умерли сначала мать, а потом и отец, оставив сорокалетнего сына совершенно одного.

Первые недели он жил в странном полузабытьи, с трудом осознавая тот вакуум, который образовался вокруг. Самые близкие люди исчезли, сохранившись лишь в воспоминаниях и на фотографиях, а люди, которые считали себя близкими его родителям, хоть и появлялись время от времени в опустевшей квартире, но воспринимались Георгием Александровичем скорее как своего рода призраки — возникали и таяли без какого-либо заметного следа. Вскоре наступило лето, пора отпусков и каникул в университете, все разом разъехались кто куда, и Георгий Александрович погрузился в полное одиночество.

Да, он любил одиночество, но то было одиночество добровольное, а теперь он впервые понял, что такое затворничество, на которое обрекаешь себя не ты сам, а некие непреодолимые внешние обстоятельства. Одновременно навалились прежде неведомые чисто бытовые проблемы, и теперь он их постигал с мучительным испугом. И разом забродили, зацарапали мысли, которые были особо пугающими: что делать дальше, как работать без отца, на какие средства жить?

Георгий Александрович прекрасно понимал: все его знания и умения ограничиваются книгами и все это имело ценность, пока жил отец. Он также понимал, что единственной целью его существования было глубинное познание человеческих мыслей и судеб, запечатленных и сохраненных в книгах. Но это познание, которым он отнюдь не стремился делиться с окружающими, предназначенная исключительно для себя самого, было лишено практического смысла, а его новая жизнь оказалась очень практичной. Все сорок лет он только и делал, что впитывал в себя энергию книг, и теперь настал час, когда пришлось заботиться об обычном пропитании. Он не был готов к этому.

Лето заканчивалось, заканчивалась пора естественного отпускного бездействия, и Георгий Александрович впал в тоску и отчаяние.

...Эти двое появились в последнюю неделю августа, когда Георгий Александрович начал думать, что детям отнюдь не всегда надо переживать своих родителей.

Одного он вспомнил сразу: хорошая зрительная память тут же выцепила худощавое остроносое лицо студента-дипломника, ходившего к отцу шесть лет назад. Отец считал парня очень толковым, но имевшим два недостатка: отсутствие московской прописки, разрешающей остаться в кругу столичной науки, и такого количества денег, которое позволяло бы не заниматься постоянно приработками на стороне. Другого визитера Георгий Александрович никогда не видел, однако сразу понял — именно он главный в этом тандеме.

Их появление удивило, а сделанное ими предложение повергло в изумление. Эти двое предложили Георгию Александровичу стать президентом компании со странным названием «Консиб». «Континентальная Сибирь», — пояснили ему, назвав сибирский город, где должен был обитать штаб компании.

Конечно, Георгий Александрович знал, вернее, читал о недавно появившемся законе о кооперации и вообще о бизнесе, но даже предположить не мог, какое он может иметь к этому отношение.

«Вы просто будете считаться президентом, — сказал тот, кто явно был за главного. — Вам не надо будет ни в чем разбираться и ничего делать. И разбираться, и делать будут другие. Вы же станете жить в полном довольстве, читать свои книги и лишь время от времени появляться в офисе. Конечно, вам придется подписывать различные бумаги, но тут можете совершенно не волноваться. У вас будет надежный помощник, который оградит вас от всех проблем, от ненужных контактов и прочего, что может хоть как-то осложнить вашу жизнь. Иными словами, мы предлагаем вам спокойное, обеспеченное существование, выдвигая лишь два условия: вам предстоит уехать из Москвы в Сибирь и в дальнейшем всецело полагаться на рекомендации, которые вам будет давать ваш помощник. То есть я, Сергей Борисович Пилястров».

Георгий Александрович думал два дня, а на третий согласился, решив, что ему нечего терять, кроме как приобретать. И в этом он не ошибся. Пилястров полностью выполнил свое обещание, устроив ему богатую, не обремененную проблемами жизнь.

Первые годы Георгий Александрович обитал в большой квартире, очень похожей на ту, в которой провел предыдущие четыре десятка лет, обставленной привезенной из Москвы мебелью и, разумеется, стеллажами с книгами. Был ли это намеренный выбор Пилястрова, Георгий Александрович не задумывался — его вполне устраивало, что он чувствовал себя в новом доме так, будто никогда не покидал старый. Заботы о быте его не волновали — этих забот попросту не существовало. Они решались сами собой.

Время от времени Пилястров привозил Георгия Александровича в офис, где тот сидел в большом полутемном кабинете и читал книги. Эти



выезды ему не нравились, но он не сопротивлялся, сознавая, сколь мизерна плата за уединенную благополучную жизнь.

Он не знал и не пытался узнать, что делает возглавляемая им компания. В бумагах, которые давали ему на подпись, он не понимал ровным счетом ничего, да он их и не читал. Несколько раз в его кабинет впускали людей с телекамерами, но буквально на пару минут. Те пытались что-то быстро отснять под бдительным присмотром Пилястрова, который не давал телевизионщикам подходить к Георгию Александровичу ближе, чем на три метра, и не позволял задавать вопросы.

Иногда Пилястров приводил в его кабинет каких-то людей. Они садились на противоположном конце длинного стола и что-то говорили. Это были короткие монологи, изначально не предполагавшие ответа. Правила игры Георгию Александровичу были ясны: он смотрел в лица людей, но почти их не видел. Ему это просто было не нужно, да и не позволено.

Через несколько лет Георгий Александрович переехал за город в большой коттедж вместе с парнем, которого звали Андреем и который, несмотря на внушительные габариты, умудрялся оставаться почти незаметным. Георгий Александрович никогда не стремился на природу, но березы, ели и сиреневые кусты, в избытке росшие вокруг коттеджа, навевали воспоминания о дачном детстве, действуя удивительно умиротворяюще.

На закате он любил посидеть на скамейке возле пушистой ели и подышать чистым, пропитанным хвойным ароматом воздухом. Этих прогулок, длившихся обычно не более часа, ему вполне хватало для ощущения физического простора. Его не смущало, что этот простор умещался на полутора гектарах, обнесенных забором с сигнализацией. Георгия Александровича никогда не манила безграничность пространства.

Он слишком привык к своему изолированному миру. К этому его приучила долгая жизнь глухонемого человека.

4.

Олег Валерьянович Совков не был мстительным. Он умел примириться с мелкими невзгодами и крупными неудачами, находя смысл в том, что судьба витиевата, переменчива, но она ниспослана как данность. Это была вовсе не вера в Бога (воспитанный в атеизме, он так и не научился доверять Всевышнему) — лишь простое житейское разумение, основанное на проверенной практикой истине: жизнь полосатая. Конечно, Олегу Валерьяновичу хотелось побольше светлых полос, а темных полос ему не хотелось вовсе, однако он понимал, что желания и возможности — как два супруга, которые стремятся жить вместе, но при этом всегда находятся в состоянии развода.

И все-таки час настал. Он настал той самой ночью, когда Совков лежал без сна, вновь и вновь вспоминая все, что ему рассказала Наташа, и перекладывая ее рассказ на свою жизнь. Той ночью он понял: чаша

его судьбы наполнилась до краев и последняя капля, о которой столь часто говорят, не удержалась на кромке и упала вниз. Капля была обжигающей, зловонной и ядовитой. Она упала прямо в душу, и миролюбивая, спокойная душа полыхнула огнем мести. В первую секунду Совков ужаснулся, но тут же почувствовал такую легкость, какую не испытывал, кажется, никогда.

Он решил отомстить. Но он не умел мстить. Все, что придумывала его фантазия, очень быстро начинало казаться либо абсолютно нереальным, либо совершенно бессмысленным. Но это Совкова не расстраивало и не останавливало. Напротив, он вдруг ощутил, что в его жизни появился новый смысл — мощный и завораживающий. А еще у него появилась тайна — великая, принадлежащая только ему и оттого особенно чарующая.

Он с усердием архивариуса собирал все о компании «Консиб» и Георгии Александровиче Кохановском. Это напоминало одержимость фаната, который боится пропустить даже мелкую пылинку, упавшую на плечо идола. Но вот что удивительно: о компании «Консиб» он узнал великое множество самых разнообразных сведений, зато о самом президенте — лишь мелкие факты, да и те высказанные чаще всего в виде предположений. Ничего точного, определенного — почти всё на уровне фантазий и догадок, которые никто не опровергал, но и не подтверждал. Впрочем, очень скоро Совков понял: в этой загадочности как раз и нет ничего удивительного — именно на ней и строится имидж Кохановского.

Когда Олег Валерьянович прочитал, что президент «Консиба» переехал в коттеджный поселок «Сибирские просторы», то подумал: это тоже только предположение. Однако вскоре по телевизору показали сюжет с Сергеем Борисовичем Пилястровым, который подтвердил: все именно так, а поселок построила компания «Консиб». Как показалось Совкову, сделал он это без особого желания, добавив, что Георгий Александрович любит уединение и новый дом обеспечит ему это на все сто процентов. Одновременно Пилястров дал понять: любые попытки нарушить это уединение бессмысленны по определению.

В информации о новом жилище Кохановского не было, в принципе, ничего особо интересного: в то время многие «новые русские» активно переселялись в загородные дома, что вряд ли следовало считать чем-то примечательным. Лишь спустя три года все это обрело особый смысл — именно тогда, когда Олег Валерьянович ушел на пенсию и один из не очень близких, но давних знакомых, Николай, позвал его напарником на телефонный узел поселка «Сибирские просторы».

Работа, которую предложил Николай, была истинно пенсионерской: двое суток дежурить на этом самом узле и тут же вызывать мастеров, если возникнут какие-то проблемы со связью, а четверо суток отдыхать. По большому счету, плевая работа, и платили за нее соответственно — только пенсионеры да какие-нибудь совсем никчемные люди могли на такую согласиться. Но никчемных обитатели «Сибирских просторов» нанимать не желали. Они хотели иметь людей только приличных, а где их взять





по дешевке? Платить же приличнее они тоже не желали, трезво оценивая, что просто сидеть в уютном домике и дышать свежим воздухом (за год работы Совкова проблема со связью возникла лишь один раз) — это не то дело, на которое следует раскошелиться.

В действительности «Сибирские просторы» представляли собой два поселка, разделенные дорогой. Один, старый, был обычным дачным кооперативом, обнесенным изрядно пошатнувшимся за несколько десятилетий штакетником. Другой, новый, построили в течение последних лет пяти, и был он огражден от внешнего мира высокой металлической оградой с заостренными прутьями. Вдоль этой ограды с внешней стороны росли деревья и густые, явно искусственно высаженные ели, которые почти полностью скрывали обширные коттеджные участки от любопытствующих взоров.

Домик дежурных стоял за дорогой, на краю дачного кооператива, — служителям телефонного узла словно давали понять: ваше место рядом с нами, но не вместе с нами. И чтобы попасть на территорию поселка, дежурным необходимо было пройти через охрану, которой, судя по всему, платили хорошо, а посему и службу свою она несла исправно, четко ориентируясь, кому позволительно, а кому нет переступить границу новоявленных частных владений. Когда в самом начале Совков попытался, пользуясь своей служебной приобщенностью, пройти внутрь поселка, он был остановлен вопросом: «Есть проблемы со связью?» — и, ответив, что нет, тут же услышал: «Тогда вам сюда незачем».

А ему было зачем. Он хотел увидеть, где живет Георгий Александрович Кохановский. Потому что именно тогда, когда Николай предложил поработать в «Сибирских просторах», Олег Валерьянович понял: последний акт наступил и сама судьба дает ему в руки ружье, которое должно выстрелить.

Нет, Совков не собирался стрелять в Кохановского. Но он собирался сделать то, что медленно, исподволь, пугающе и одновременно завораживающе завладевало его изобретательной головой и обиженным сердцем. У него был лишь замысел, который поначалу вверг его в ужас, потом в смятение, а потом... Нечто надломленное окончательно сломалось в его душе, и мягкое, изрядно потрепанное годами сердце вдруг превратилось в твердый бесчувственный комок. Возможно, если бы в его силах было разорить Кохановского, опозорить или хотя бы плюнуть ему в лицо, Совков принял бы эту меру отмщения, удовлетворился бы ею и успокоился. Но ничего этого он не мог. Он мог лишь одно — убить. Пистолет, нож, яд — все это было совершенно нереальным, поскольку Совков понимал: ему никогда не удастся приблизиться даже на пару метров к человеку, надежно огражденному от всех и вся. А уж тем более ему не удастся спастись самому. Приносить же себя в жертву он не собирался — ни один враг не заслуживал такого подарка.

Совков решил убить Кохановского, подложив ему взрывчатку. Олег Валерьянович неоднократно видел по телевизору, как это делается.

Вернее, он видел итог, у которого никогда не было начала, — ни разу он не слышал, чтобы нашли того, кто совершил взрыв. Киллер с пистолетом был трудноуловим, но все же материален. Киллер же со взрывчаткой на поминал солнечный зайчик, которого никому не удавалось схватить руками: он мог спокойно валяться дома на диване, в то время как бездушный механизм отсчитывал последние минуты чужой жизни. Но для того, чтобы стать неуловимым, надо было очень тщательно подготовиться и прежде всего — детально изучить обстановку, окружающую президента компании «Консиб».

Совкову повезло — место, где жил Кохановский, он выяснил без труда благодаря природному любопытству и болтливости Николая. Совкову повезло вдвойне, потому что Кохановский занимал крайний угловой участок, ближе всех к дороге и, соответственно, к домику дежурных, а следовательно, подойти к нему можно было минуя охрану. Однако эта доступность была лишь кажущейся. От самой дороги участок отделяла полоса деревьев и невысоких густых елок плюс посыпанная щебнем узкая тропинка, которая вилась вдоль ограды. Деревья и кусты могли служить хорошей маскировкой для стороннего наблюдателя, однако благодаря тропинке любой, кто хотел бы вплотную приблизиться к ограде, неминуемо попал бы в поле зрения приборов слежения — опытный по части электроники взгляд Совкова определил это быстро. Вскоре понял Совков и другое: любое прикосновение к ограде тоже не осталось бы незамеченным — по верху металлических прутьев тянулись тонкие проводки, прикрепленные к миниатюрным датчикам.

Иными словами, незащищенность границ владений Кохановского в действительности была только кажущейся.

Совков не имел какого-то конкретного плана действий. Этот план еще предстояло разработать, согласуясь не с желаниями и эмоциями, а с трезвым расчетом и реальными возможностями. И он начал с того, что, прячась за елками, принялся наблюдать за всем, что происходило на участке президента компании «Консиб». Благо вечнозеленые ели служили вполне приличным укрытием даже зимой, а напарник Николай был большим любителем подремать, что и делал по несколько раз на дню, предоставляя Олегу Валерьяновичу полную свободу действий.

По большому счету, обнаружил он немного, но и это его порядком удивило. Совков знал о любви Кохановского к уединению, однако не предполагал, что это означает почти затворничество. Постоянно в коттедже, не считая хозяина, жил лишь один человек — высокий крепкий парень. Он редко выходил за порог дома — исключительно по совершенно конкретной надобности. Например, чтобы перенести продукты, которые привозили три раза в неделю.

Лишь одна машина подъезжала непосредственно к коттеджу. Из нее выходил единственный, кто посещал дом Кохановского, и это был Сергей Борисович Пилястров. Только для него открывались двери





в дом, что сильно удивляло Совкова. Допустим, Кохановский не во-дил компаний. Допустим, этот мозговой центр «Консиба» считал для себя достаточным руководить своим бизнесом посредством доверенного помощника. Но, будучи нормальным мужчиной, Совков не понимал, как Георгий Александрович обходится без общества женщин. Впрочем, примерно раз в неделю Кохановский садился в машину — все того же Пилястрова — и куда-то уезжал, чтобы через некоторое время возвратиться назад, снова в обществе неизменного Сергея Борисовича.

Эти выезды были, по сути, теми редкими случаями, когда Кохановский покидал свою территорию. Но свой дом он покидал чаще.

Совков обнаружил это примерно через пару месяцев после того, как начал свои наблюдения. Обычно Олегу Валерьяновичу удавалось раза два сбегать к наблюдательному посту за елками, но в тот день к Николаю приехал его приятель с очень серьезным, как выразился тот, разговором, и Совков понял, что он лишний. В домике имелась лишь одна комната, и Олегу Валерьяновичу, человеку воспитанному, не оставалось ничего другого, как удалиться во двор.

Нельзя сказать, что это его очень обрадовало. Стоял конец октября, первый снег припозднился и еще не выпал, но воздух был уже промозгло-холодным. Особенно вечером, а время как раз к вечеру и приближалось. Днем, улучив минуту, Совков уже наведался к коттеджу и застал тот самый момент, когда Кохановский вылез из машины Пилястрова и направился в дом. Сам Пилястров из машины не вышел, лишь махнул рукой на прощание и тут же уехал.

Вряд ли этот день мог принести Совкову что-нибудь интересное, но ему все равно некуда было деваться, и он вновь отправился на свой наблюдательный пост.

Минут десять он, прячась за елками (листва на других деревьях давно облетела, лишив Совкова дополнительного укрытия), бесцельно рассматривал словно напрочь вымерший участок. В коттедже горели лишь два окна — на первом и втором этажах, но они, как всегда, были плотно зашторены. Возможно, именно из-за этих тяжелых штор в доме так рано зажигали свет, потому как, по мнению Олега Валерьяновича, в этом в данный момент не было особой нужды: по-осеннему не очень яркое, но все же свободное от туч солнце только-только начало скатываться к горизонту.

И в этот момент Совков увидел, как дверь коттеджа распахнулась и на крыльце показался Кохановский. В проеме мелькнуло лицо прислуживающего ему парня и тут же исчезло. Георгий Александрович был одет в теплое полупальто и ботинки на толстой подошве, его шею обвивал пушистый шарф, и весь вид хозяина дома свидетельствовал о том, что он отправился на долгую прогулку. Такого Совков еще не видел. Но самым удивительным для Олега Валерьяновича было другое — президент-затворник вышел на улицу без провожатых.

С полминуты Кохановский постоял на крыльце, словно привыкая к свежему воздуху, после чего неторопливо направился вглубь участка, где метрах в сорока от укрытия Совкова стояла деревянная скамейка, напоминавшая широкий шезлонг. Георгий Александрович опустил на нее свое могучее тело, откинулся на высокую спинку и замер, полуприкрыв глаза. Так в полном одиночестве и покое он просидел час.

На следующий день, в то же самое время, Совков вновь пришел на свой наблюдательный пост и вновь увидел Кохановского, направляющегося к скамейке. На сей раз Николай, заметив часовое отсутствие своего напарника, поинтересовался, куда тот под вечер подевался, но вдохновленный Совков весьма убедительно поведал о необходимости разминать ноги. Николаю это показалось вполне разумным. Он даже высказался в том духе, что движение тормозит старость, после чего, будучи старше Совкова на три года, предался излюбленному занятию — улегся на тахту перед телевизором.

Четыре дня, свободные от дежурства, Совков провел в нетерпении. На пятый день в отмеченный час он прокрался к ограде коттеджа, ожидая выхода Кохановского, но тот уже сидел на своей скамейке. Недели через две Совков понял эту закономерность: Кохановский выходил на свою прогулку не в один и тот же час, а в одно и то же время — когда начинался закат солнца.

А еще через две недели Олег Валерьянович придумал свой план — жуткий план мести не только Кохановскому, но и, по сути, всем тем подчас лишенным конкретного определения людям, от которых зависела судьба Совкова и которые отнеслись к этой судьбе как к чему-то пустому, не имеющему смысла. В те дни, когда Олег Валерьянович вновь и вновь складывал мозаику своего замысла, тщательно подбирая рисунок и пропорции, он со смесью ужаса и наслаждения думал о том, что вот сегодня, на закате жизни, когда за спиной остались все его прекрасные, но нереализованные планы, настал наконец миг воплощения хотя бы одной идеи. Хотя бы одной! Но и это было много, если учесть, что до того не было ничего.

Уже к декабрю Совков знал, как предстоит умереть Георгию Александровичу Кохановскому. Но он также знал, что волей обстоятельств Кохановский должен дожить до лета — до той славной поры, когда буйной зеленью разрастется трава, которую, как успел заметить Совков, на участке никто не подстригал и которая осенью лежала нетронутыми пегими холмиками. Эта трава была ему крайне необходима как самая надежная маскировка, призванная укрыть взрывчатку, аккуратно положенную под ту самую скамейку, на которой любил сживать в одиночестве Кохановский.

На первый взгляд, затея была невозможной по определению — ни одна живая душа не могла проникнуть на территорию участка, не будучи тут же засеченной датчиками сигнализации. Но Совков и не собирался пересекать надежно охраняемые владения. Он хотел, чтобы его





смертоносный груз — маленькую, но вполне достаточную для гибели одного человека взрывчатку — перенесла птичка, высоко летающая и точно знающая, где ее гнездо.

Такую «птичку» он изобрел несколько лет назад после того, как посмотрел некий зарубежный фильм про скалолазов. В целом фильм, название которого он быстро забыл, ему не понравился, но приглянулась одна деталь, которая разбудила его воображение: главному герою нужно было забросить крюк высоко на край скалы, а он не знал, как это сделать. Вот тогда Совков и придумал прибор, эдакую «птичку», способную с помощью радиоуправления пролетать несколько десятков метров по заданной траектории и, что особенно важно, переносить небольшой груз, освобождаться от него в точно заданном месте и возвращаться обратно.

В принципе, по мнению Совкова, в этом не было ничего особо сложного, но пользу он в этом видел значительную: такой прибор мог пригодиться в самых разных случаях, когда необходимо было что-то укрепить, присоединить или доставить в труднодоступное место. Совков считал, что при дальнейшей доработке у «птички» могли значительно увеличиться грузоподъемность, дальность полета, да и вообще расширяться функции. Но это никому не было нужно. Как и все остальное, что изобрел Совков. И вот теперь это понадобилось. Самому изобретателю.

Он распланировал все четко. Минут за десять до того, как Кохановский придет посидеть на свою излюбленную скамейку, Совков запустит свою «птичку», которая, взметнувшись метров на десять вверх (дабы не засекала сигнализация), аккуратно опустится в густую траву под скамейку, оставит там взрывчатку с часовым механизмом и благополучно вернется назад, после чего сам Совков отправится на свой телефонный узел дожидаться результата. Трава, по замыслу, должна была не только надежно спрятать орудие мести, но и заглушить тиканье часового механизма.

То, что взрывчатки не продаются на каждом углу, Совкова не смущало. Он не сомневался, что решит проблему, причем достаточно аккуратно, и сделал это зимой, проявив удивительные для него чудеса изворотливости и хитрости. Смущало Совкова лишь одно обстоятельство, которое никак не зависело от его расчетов. «А вдруг, — размышлял он, — по закону подлости в нужный день Кохановский раздумает идти на прогулку? Или вдруг куда-нибудь срочно уедет, или заболеет? Тогда взрыв уничтожит долго вынашиваемые планы — и все опять станет бессмысленным». Но Совков отгонял подобные опасения, напоминая себе, что за долгие месяцы Кохановский ни разу, за исключением нескольких особо морозных дней, не нарушил своего предзакатного расписания, а летом морозов нет.

По-хорошему, все можно было сделать уже в конце июня, однако Совков не спешил. Вернее, в душе он подгонял этот миг, но реально оттягивал его, успокаивая себя тем, что у него есть серьезная причина

не торопиться. Второе августа — день смерти его матери, который девять лет назад он пропустил из-за встречи с Кохановским. Знаменательная дата. Она заслуживала того, чтобы стать еще знаменательнее.

Но от второго августа пришлось отказаться. Причина оказалась совершенно житейской: эта дата выпадала на день отдыха Совкова, который никак не должен был стать днем отпущения. Олег Валерьянович прекрасно понимал: только его совершенно обоснованное присутствие на опасной территории способно гарантировать алиби.

Первым порывом было «переступить» обозначенную дату, но он не дал себе послабления. Более того, Совков вдруг понял: все складывается как нельзя лучше. Если он сделает свое дело тридцать первого июля, то, как в основном и случается, хоронить Кохановского будут второго августа, и тогда Олег Валерьянович, с известной всем регулярностью посещающий в этот день кладбище, сможет увидеть — пусть на мгновение, всего лишь проходя мимо, — момент погребения своего заклятого врага.

5.

Ком земли упал на полированную крышку дубового гроба, словно клякса на лист бумаги, разом уничтожив его первозданную чистоту.

«Ну вот и всё, — подумал Сергей Борисович Пилястров, — эту страницу уже можно вырвать из жизни». И ему стало грустно. Он даже не ожидал, что так сожмется его упругое, крепкое сердце, но знал, что совсем скоро, быть может уже через несколько минут, это пройдет, потому как смерть Георгия Александровича Кохановского не была для него трагедией. Просто заговорило то, что преследовало Пилястрова всегда, но с чем он научился успешно справляться, — чувство противоречия.

Его всегда тянуло к масштабным делам и большим деньгам. Но одновременно он был почти маниакально осторожным и предусмотрительным. Иного человека такое сочетание могло бы превратить в изорванную тряпичную куклу, у которой из каждой дырки выпадали бы клочья комплексов, однако Сергей Борисович с ранних лет научился лавировать между собственными противоречиями.

В старших классах он захотел поступить в Институт международных отношений. Ему казалось, именно этот вуз обеспечит по-настоящему грандиозные перспективы. Но семья Пилястровых жила в Сибири, не имела никаких столичных связей, и Сергей понимал: шансов поступить мало, зато шансов попасть в случае неудачи в армию много. И он выбрал оптимальный вариант — поступил в самый большой в родном городе вуз на весьма престижный факультет.

В студенчестве ему захотелось заработать много денег. Именно зарабатывать, потому что других приемлемых вариантов он не видел. Родители, этот стандартный для большинства его товарищей источник денег, в расчет не принимались — обычные инженеры с обычными окладами были не в состоянии дать ничего стоящего. Однако и традиционные для студентов



той поры разгрузка вагонов, дежурства ночными сторожами или даже работа в стройотрядах не казались Сергею верным решением: усилий эти занятия требовали много, а денег приносили не бог весть сколько.

Имелся, впрочем, один способ, на который отваживались самые смелые и предприимчивые ребята. В обиходе он именовался «фарцовкой», а в уголовном кодексе — спекуляцией. Сергей знал парочку парней, которые крутили очень большими по тем временам деньгами, но прекрасно понимал, что эти парни в любой момент могут угодить за решетку, а при самом лучшем исходе — вылететь из института. И придумал промежуточный вариант. Сергей ничего не продавал и не покупал. Он находил тех, кто хотел купить, и тех, кто хотел продать, и сводил их, получая соответствующие проценты. Денег зарабатывал, конечно, меньше, чем фарцовщики, но зато практически ничем не рисковал.

Большими деньгами запахло тогда, когда разрешили кооперативы. В отличие от многих первых кооператоров, которые принялись открывать частные кафе и торговать цветами, Пилястров сразу замахнулся на серьезный бизнес — благо к тому времени он, человек контактный и обротистый, уже обзавелся весьма обширными связями. Однако природная осторожность подсказывала, что не стоит лезть поперед батьки в пекло, а лучше найти соответствующего «батьку». И он его нашел. Им стал Георгий Александрович Кохановский.

Поначалу Пилястров думал, что это ненадолго: либо первые экономические эксперименты свернут вместе с головами первых предпринимателей и на этом закончится карьера главы фирмы Кохановского, либо все войдет в нормальное русло — и тогда сама собой отпадет необходимость прятаться за чужую спину.

Конечно, выбор на роль зиц-председателя* глухонемого книжника был достаточно необычным, но и здесь Сергей Борисович все неплохо просчитал. Он не сомневался, что напрочь оторванный от повседневной реальности Кохановский — как раз тот редкий тип, который никогда не начнет свою независимую игру, вполне удовлетворившись спокойным обеспеченным существованием. Именно ощущение временности делало глухоту и нищету Кохановского, которые надо было тщательно скрывать, не очень серьезной проблемой, поскольку Пилястров полагал, что сохранять тайну ему предстоит недолго. Однако, как известно, в России нет ничего более постоянного, чем временное.

Опять же очень скоро Сергей Борисович понял, что на фоне нарочито показушной жизни большинства «новых русских» имидж недоступного и почти невидимого президента «Консиба» исключительно полезно сказывается на делах компании — серьезные партнеры предпочитали серьезных людей, а Кохановский именно таким и казался. Разумеется, партнеры предпочитали общаться с самим президентом, а не с его первым помощником, однако помощник был настолько толковым человеком,

* Зиц-председатель — подставное лицо, занимающее руководящий пост формально, без права принимать ответственные решения.

«Консиб» — настолько надежной фирмой, что вскоре полную изолированность от контактов Кохановского стали считать просто причудой необыкновенного менеджера, которая никак не мешает успеху дела.

Время от времени Пилястров начинал подумывать, не пора ли все ставить на свои места, но каждый раз что-то удерживало его от этого шага. И это «что-то» в определенной степени упиралось в ответ на вопрос, куда девать Кохановского. Самым простым было бы поселить его где-нибудь подальше, назначить приличное денежное содержание (по правде говоря, Кохановский никогда не обходился слишком дорого) и закрыть вопрос. Но Пилястров сознавал, что образ Кохановского уже давно существует сам по себе и просто вычеркнуть его из памяти и восприятия окружающих никак невозможно. Это с одной стороны. А с другой — ничто не бывает вечным. Рано или поздно многолетняя и пока очень успешная мистификация должна рухнуть, и трудно предположить, что окажется погребено под обломками. И это Сергей Борисович тоже учитывал.

Решение пришло осенью, около года назад. Именно тогда Андрей, верный человек Пилястрова и постоянная тень Кохановского, сообщил: видеокамеры засекли немолодого мужчину, который ежедневно стал появляться неподалеку от ограды коттеджного участка. Мужчина не предпринимал никаких действий, просто наблюдал, прячась за деревьями. Принес Андрей и видеокассету, на которой не очень четко, но все же вполне сносно различалось лицо неизвестного визитера.

У Сергея Борисовича была прекрасная память. Всего лишь пара секунд — столько понадобилось ему, чтобы вспомнить забавного изобретателя, которого несколько лет назад он замечательным образом использовал для съемок рекламного фильма о компании «Консиб». Даже режиссерша, вздорная, но талантливая баба, тогда признала: самыми удачными были именно кадры с этим восторженным мужичком. Пилястров срежиссировал их сам, как всегда точно угадав, что самое убедительное — неподдельная искренность.

Еще несколько минут понадобилось Сергею Борисовичу, чтобы вспомнить фамилию того чудака. Ну да, конечно, Совков. Очень примечательная фамилия для человека ушедшей советской эпохи. «Интересно, зачем он появился?» — подумал Пилястров, и сладкое предчувствие медленно растеклось у него в душе.

Затем он отдал распоряжение Андрею: мужчину не трогать, только наблюдать. После чего вызвал к себе двух доверенных людей и поручил им собрать сведения о Совкове.

Очень быстро он узнал все — по крайней мере, все, что представлялось ему полезным. Но зимой он узнал самое главное: Совков добыл взрывчатку. «Замечательно!» — отдал должное Пилястров не столько Олегу Валерьяновичу, сколько своей интуиции.

Лишь два момента смущали Сергея Борисовича. Он никак не мог понять, когда и каким образом Совков собирается использовать взрывчатку.



В этом следовало разобраться, и уже не на уровне интуиции, а на основе логики. Пилястров не сомневался: если человек столько лет выжидал, прежде чем решиться на убийство, то, даже будь он таким нелепым недоглотом, как Совков, все равно постарается все тщательно спланировать. И еще Пилястров подумал, что люди эмоциональные (а именно к ним Сергей Борисович причислил Олега Валерьяновича) любят связывать свои поступки с некими внутренними символами. Следовательно, эти символы необходимо найти.

Пилястров еще и еще раз складывал, переставлял и перетасовывал всю информацию, которую собрал о Совкове и которая почти сплошь состояла из малозначимых, на первый взгляд, бытовых деталей, пока вдруг не уперся в одну: каждый год второго августа Олег Валерьянович приходит на могилу своей матери. И тут же он вспомнил, что почти девять лет назад, именно в начале августа, состоялась встреча Совкова с Кохановским.

У Сергея Борисовича была замечательная привычка — он никогда не выбрасывал никакие деловые бумаги, к которым относил и ежедневники. Он пролистал ежедневник за девяносто первый год и нашел то, что искал. На странице, помеченной вторым августа, значилось: «Олег Валерьянович Совков. Съемка». В ближайшие же часы Пилястров уточнил, что Совков появляется около коттеджа исключительно в дни своих дежурств, а по графику работников телефонного узла первые четыре дня августа Совкову следовало отдыхать. И тут же сообразил: обычно людей хоронят на третий день после смерти, значит, именно ко второму августа Совков решил приурочить это событие, и, значит, план свой он намерен осуществить тридцать первого июля. Однако каким образом?

Пилястров разгадал и эту загадку. Ответ он нашел в папке с набросками и чертежами, которую Совков оставил в кабинете Кохановского и которую Сергей Борисович также положил в архив. Помнится, в тот день, бегло просмотрев содержимое папки, он отметил, что в ней немало любопытного, но тогда это его не занимало. Его это заинтересовало сейчас. Имея ту же специальность, что и Совков, Пилястров сразу оценил оригинальность идеи.

Разговор с Андреем был короткий.

— Тебе не надоело постоянно торчать при Георгии Александровиче?

Андрей вздохнул. Ему исполнилось тридцать четыре года, из них шесть лет он, по сути, вычеркнул из своей жизни. Однако та цена, которую за это платили, примиряла его с обстоятельствами.

— Ты будешь получать не меньше, а может, и больше. При этом у тебя будет нормальная работа и нормальная жизнь. Тебя это устраивает?

Андрей не задумываясь ответил:

— Да.

6.

Телефон зазвонил, и Пилястров тут же снял трубку.

— Все в порядке, — сообщил Андрей. — Он только что вышел из дома. А тот ждет уже минут пятнадцать. Но... — Андрей сделал паузу, и Пилястров все понял.

— Если что, ты знаешь, как действовать.

— Да, — подтвердил Андрей.

Накануне Совков окончательно выверил все. Взрыв должен был прозвучать минут через двадцать после того, как Кохановский займет привычное место. Десять минут туда, десять минут сюда — для страховки.

Совков стоял в своем укрытии, сжимая в руках «птичку» и чувствуя, как все холоднее становятся его ладони и все горячее — лоб. Он долго ждал этих минут, и вот они настали. Наступила пора действовать, но...

Совков с ужасом сознавал, что минуты капают сквозь его пальцы, которые продолжают стискивать чужую смерть, а он не может даже пошевелить этими пальцами — тяжелыми, словно каменные наросты на каменных руках. Его мысли бешено бились о черепную коробку, глаза сквозь дикую резь наблюдали за приближающимся Кохановским, душа заходила в крике... Однако налившиеся невероятной тяжестью руки оставались недвижимы.

В тот летний вечер Кохановский, как обычно, вышел прогуляться и, как обычно, сел на скамейку, предавшись размышлениям о только что перчитанном «Житии протопопа Аввакума». Он думал, что фанатизм, тесно переплетенный со стоицизмом, способен порождать некую сверхчеловеческую энергию, для которой все земное бессмысленно. И еще он думал о том, что очень интересно познавать истоки чужого самоотречения, но все же человек рожден отнюдь не для страданий, а для удобной жизни, которую не заменит никакая фанатичная вера.

Он смотрел на деревья, на траву, на клумбу с неведомыми ему цветами и вдруг увидел яркую вспышку — нечто безумно-ослепительное, перемешанное с комьями земли и клочками зелени.

Георгий Александрович Кохановский ничего не успел понять и не успел испугаться. Смерть накрыла его мгновенно и бесшумно. Георгий Александрович ее не услышал.

Как не слышал никогда и ничего в своей жизни.



7.

— Олег Валерьянович! Вы ли это?

Пилястрову не было нужды окликать Совкова, но он не смог удержаться. Он давно заприметил, как тот брел по кладбищенской аллее, не спеша «пересекая» с моментом погребения, на минуту приостановился — ни дать ни взять случайный любопытствующий. Пилястров окликнул Совкова, когда тот направился уже к воротам кладбища, и с интересом наблюдал, как Олег Валерьянович слегка вздрогнул, обернулся и принялся морщить лоб, словно пытаясь вытащить из глубин памяти облик человека, назвавшего его имя.

«А актер-то вы так себе! Плохонький, прямо скажем, актеришка, — подумал Пилястров и мысленно добавил: — Как, впрочем, и убийца».

Сергей Борисович достаточно изучил биографию Совкова, чтобы предположить: в последний момент у этого мстителя что-нибудь сорвется, а скорее всего, сорвется он сам, и если не подстраховаться, то сорвется все дело — безнадежно и окончательно.

Пилястров подстраховался. Вернее, это сделал Андрей, заранее подложив под скамейку радиоуправляемое устройство со взрывчаткой. Подстраховался Пилястров и в другом. На случай, если милиция возьмется за дело со всем старанием и труды ее не пройдут даром, Андрей «вспомнит», что он неоднократно видел рядом с участком Кохановского одного и того же человека, а самого Пилястрова «осенит», что он встречался с этим человеком, более того, с ним встречался Кохановский, а затем из архива будут извлечены чертежи Совкова, и...

— А-а... здравствуйте... — Совков продолжал морщить лоб.

Пилястров улыбнулся, постаравшись придать своей улыбке подобающую грусть.

— Вот видите, мы снова встретились, — сказал он. — Но, увы, на сей раз по печальному поводу. Что поделаешь, не всегда мы управляем своей судьбой, порой ею управляет случай. Вот и тогда — вы помните, девять лет назад? — такой хороший случай свел нас с вами. А вот ведь ничего не получилось... Н-да... Георгий Александрович решил, что нам это не нужно. Хотя я внимательно изучил ваши предложения. Там было немало любопытного, я это хорошо помню.

— Да-да... спасибо... — кивнул Совков и обернулся в ту сторону, где кладбищенские работники споро забрасывали могилу свежей землей.

Пилястров проследил за его взглядом и вздохнул:

— И вот вам тоже случай. Совершенно поразительный случай! Дом, где жил Георгий Александрович, был защищен такой надежной сигнализацией, какую уж не знаю, где еще можно найти в нашем городе. А вот ведь умудрился же кто-то подложить взрывчатку! Хотя, казалось бы, не то что человек — птичка незаметно не пролетела бы.

— Да-да... конечно... птичка... — с искренним недоумением пробормотал Олег Валерьянович, и Пилястров, тоже с искренним недоумением



и ничем не объяснимой внутренней тревогой, увидел, как в глазах Совкова тревожно вспыхнули, затрепетали и медленно погасли бледно-голубые огоньки.

8.

На сороковой день после смерти Георгия Александровича Кохановского все новостные передачи местных телеканалов начались с сообщения о том, что утром была взорвана машина нового президента компании «Консиб» Сергея Борисовича Пилястрова. В момент взрыва в машине находился сам Пилястров вместе со своим водителем и помощником Андреем Васильевичем Киселевым, в недавнем прошлом телохранителем Кохановского.

Телевизионщики приводили интервью с работниками правоохранительных органов, которые высказывали предположение, что почти одинаковые убийства двух руководителей известной компании явно являются заказными и, скорее всего, связаны с деятельностью самой компании.

Показывали телевизионщики и беседу с охранником небольшой частой автостоянки, обслуживающей только жильцов одного элитного дома, где у Пилястрова была квартира. Здоровенный парень с лицом профессионального боксера ошарашенно смотрел в камеру и с растерянностью малого ребенка бубнил:

— Сергей Борисович, он завсегда, как часы, в восемь тридцать уезжал. Ни на минуту не опаздывал. Помощник, он же у него и за водителя, тоже всегда минут за пять до того к нему в квартиру поднимался, а потом уж они вместе уезжали... Ну, они, как всегда, в машину сели, за ворота выехали — и только до угла улицы доехали, как тут и шарахнуло! Не так чтобы сильно шарахнуло-то, рядом только столб фонарный покорежило, но им хватило. А уж когда им адскую машинку подложили, и уразуметь нельзя. Андрей, помощник то есть, вечером, когда машину на стоянку ставил, он ее со всех сторон осматривал. Да у нас никто бы ничего подсунуть не мог. У нас здесь круглосуточно два человека дежурят. А стоянка — так себе, пятак, все на глазах. Да еще ограда... Мимо нас не то что человек — мышь не прошмыгнет! Разве что птичка какая пролетит...



Виктория БЕЛЯЕВА

ВСЕ В МИРЕ ОТ ЯБЛОКА

* * *

Вот бабушка с бидоном молока —
ладонь поймала теплая рука,
и я прошу купить гематогена.

Вот дед с балкона машет нам двоим,
а небо мятный выдыхает дым
и под ногами пух лежит, как пена.

Вот память — ненадежный аргумент,
в ней все живет, как квантовый момент, —
устраивайся в день, что ближе к сердцу.

А между тем и между этим «вот»
иное настоящее живет,
чтоб в это настоящее смотреться.

* * *

Неужели все это ты —
белоснежка из девяностых;
ищешь правды, как гвозди, острый,
носишь банты и куришь дым?

Неужели все это ты —
в драных джинсах и с драным сердцем;
ходишь замуж, в кино, на лекции,
разбавляешь 0,5 мечты?

Неужели все это ты —
мама, девочка, дочка, дурочка;
по зиме, но в осенней курточке
мчишься, чтобы сжигать мосты?

Это ты. Это я и ты.
Туфли-гвозди, как правда, острые.
Девяностые. Девяностые,
отпустите до темноты.

Подоконники

Город с вечной, бессмысленной мерзлотой.
Город ночи, где снег, как кисель густой,
Что съедает время, людей и путает воспоминания.

На окне ледяном девятого этажа сижу.
Жду с работы маму, в гостинке тоска и жуть.
Если вниз поглядеть, то тянет лететь в отчаянье.

Мама, мама, мамочка, появись!
А внизу метелью накрыт Норильск.
Я боюсь шевелиться, а вдруг меня нет и не было.

Бьется сердце, и страшно жить.
Распускаю на вязаной кофте нить.
И во всей черноте только ниточка эта белая.

Но в замке раздается шершавый звук,
Обнимаю ледышки знакомых рук.
Пахнет тундрой моя королева тонкая.

Зажигается желтый, как солнце, свет,
И зимы в этом мире на время нет.
И куда бы деть из памяти подоконники?

Папа

Вот альбом, в нем лежит от тебя письмо.
Я читаю прошлое между слов —
мы идем по городу, майский день,
покупаешь у тетки с весной сирень.

Это маме. Я знаю, цветы ты подаришь маме.

Я листаю память. А там зима,
ты поставил елку — сойти с ума!
Где достал ты елку и к ней — звезду?
Собираешь гирлянду, сижу и жду.





А потом игрушки и дождик развесим сами.

А еще, но это важней всего —
в день двенадцатилетия моего
подарил кассетный магнитофон.
Это сон, твердила я, это сон.

Но такие вот сны врезаются прямо в сердце.

И метель в ту зиму мела, мела,
и такую маленькой я была —
умещалась вся на твоих плечах,
ты бежал и имя мое кричал.

Я смеялась, домой не спешила греться.

Я читаю прошлое между строк,
понимаю то, что сказать не смог.
И не нравится больше взрослеть ничуть,
я хочу опять к твоему плечу.

А за окнами дождь по сирени в ответ закапал.

Я читаю: «Согрей молоко и мед,
и ангина и боль из груди уйдет.
Все пройдет, моя милая, выше нос!»
Я теперь очень сильно люблю мороз.

Но в снежинках чужие плечи и детство, папа.

* * *

Укутай меня, укради у стай
и в почву горячим стволом врастай.
И стань бледным снегом, искрись рекой.
Я буду землей. Травяной покой
спасет, как спасает внезапный кров
от долгих дорог и чужих ветров.
Я стану стихами в твоей воде
В вечном пути или в этом дне.

* * *

Говорит: «Все в мире от яблока, милый ты мой воробушек,
сердцевина — есть жизни косточка, из нее прорастает
дощечка-веточка,
да и крест нательный, венчальный, могильный кольшешек.
В колыбели земли хранится горсточкой, теплым светочем».

И глаза у бабушки — камешки, самоцветы синие, а в ладошках
хлебушек.

На ладошках старость в морщинках прячется,
точно лучики-звездочки.

В красный угол с прищуром глядит, на иконы, на фото дедушки:
«Царствие всем Небесное, яблоки всем вам райские,
дайте весточку!»

И берет свой белый, как тело, хлебушек, и бросает его птенцам
в окошечко:
«Вот вам, птахи, еда, зацветает весна, и песни, для сердца добрые,
зачиричите.

Зацветет антоновка, соберу урожай и сварю я варенья на зиму,
хоть немножечко.

Прилетишь ты ко мне, а меня уже нет, но варенье стоит из яблочек,
ждется.

На земле все временно, все от яблока, из сердцевинки-косточки.
Не кончается.
Не кончается».



Владимир МИЛЕВСКИЙ

ПАПКИНЫ РУБЛИ

Р а с с к а з ы

Пальто

В крохотной хате Саньки Левковича уже с вечера было сильно натоплено, поэтому худенького мальчика Ваню сморило сразу после скучного ужина. Семья у Саньки большая, с хозяйкой Настей — аж шесть душ. Дети малы да еще меньше. Набегалась, налазилась пацанва. Отрывается на всю катушку, потому как в школу скоро. А так не хочется...

Вся деревня в курсе: школьная реформа в стране произошла, сломав былой учебный уклад. Ваниным братьям, сестрам — в начальную, местную школу-избу, теперь она до трех классов только. А Ване, самому старшему, — в четвертый! А это уже в соседнее незнакомое село, в среднюю, большую школу ехать.

Теперь, хорошо не жуя, быстро ужина нахватавшись, развалились где попало, сморенные цветными и черно-белыми снами. Загорелые до черноты, с дыпками, со сбитыми коленками, ссадинами, синяками — валяются, сопят.

Измученная мать, вернувшись с тяжелой колхозной работы и накормив худобоковую скотину, сама тощая, полуголодная, пытается нагулявшуюся свою ораву по местам разложить, как всегда, сначала сердечно упрямая: «Сыночек, родненький! Иди на свою кроватку ложись». Легонько тормозит. Ребенок что-то мычит, головой болтает, как не своей, во сне знакомому голосу радуется, не находя сил открыть глаза, подчиниться мамочкиной воле.

Санька во дворе по хозяйству еще лазит, что-то делает, недовольно бухтит, ругает какую-то нерадивую тупую скотину. Ему «поддакивает» старый кобель, ограниченно шляясь на цепи у разошедшей будки. Настя глубоко вздыхает, нежно, с любовью подсовывает худенькие свои ручки под ребенка. Поднимает и тихонько несет, попридержав свое дыхание. Мягонько укладывает на место. Тепленько целует в щечку, умиленно любит, устало опускает плечи: «Спи, родненький... так набегался!»

Потом к другому плавно движется. «Петенька, сынок! Может, на свое место, золотко, ляжешь?» И так ко всем, кто не вынес насыщенного событиями дня.

Хатка старенькая, первобытная — без излишеств. В земельку давно вросла, ее еще первые переселенцы строили. Такой досталась Саньке с Настей, молодой тогда, бедной паре, от местной власти. Спят все в одной комнатенке. Кто на кроватях, кто на полу, кто на печи, по-всякому: кто валетом, кто головка к головке, носик к носику. Нет здесь ни ширм, ни перегородок, ни личного тайного пространства.

Давно потушена лампа-керосинка, жиденько светившая сквозь жирную сажу на стекле. Лежит на кровати Санька, дымит вонючей цигаркой, не может уснуть, потому как змеями заели многие приставучие мысли. Как дальше жить? Что делать? Как при таком «доходе» детей в школу собрать, не оборванцами отправить, перед людьми не опозориться...

В левый глаз ему светит желтый кривой месяц, улыбочиво проглядывая через худенькие веточки пахучей герани на подоконнике. Санька длинно вздыхает, тушит окурочек и отворачивается к старшему сыну. Тот периодически вздрагивает, сонно брыкается, неразборчиво возмущается — видно, спорит... а может, удивляется... а может, на дерево лезет... возможно, на большую глубину ныряет...

Санька вздыхает, укрывая, утепляя сына, подтягивает выше самодельное лоскутное одеяло. Тот вроде успокаивается, с лица окончательно исчезает напряжение. Вновь болючие мысли камнем давят Санькину душу, его взгляд упирается в близкие старинные стены. Давно пора новый дом рубить. Да когда?.. Из колхозных лап не вырваться, где Санька без выходных годами спину гнет, с ранья до самой темени полезные нормы делает. Но все равно надо что-то творить... Ведь детки всё выше и выше к солнцу тянутся, по одному хотят спать, свежим воздухом дышать. Да еще этот желудок измучил... Давно пора в больницу ехать... А когда?.. Как времечко выкроить?..

На улице, слышно, носится ветер, колошматя густую спелую черемуху в палисаднике. Вечно недовольная соседская собака на кого-то тьякает. По полу мягко протопала молодая кошка к мисочке с вечерним молоком.

Деревенское утро. Ваня давно проснулся, сильно хочет в туалет, но в хате прохладно, холоден и скрипучий пол. Слышно, как во дворе еще кричит последний петух, воробьи на ветках в палисаднике устроили звонкие «разборки», волнуя кровь у охотницы кошки, застывшей на подоконнике перед отсыревшим стеклом.

Мальчик терпит, прислушивается к звукам, изредка поглядывая на ленивого старого кота в ногах младшего брата на печной лежанке. Переводит взгляд правее. В печной сушилке, на краю, покоятся изношенные вязаные теплые носки с уже протертыми пятками. Это мамыны... Нет, это папины.

«Настя-а! Насть!» — с улицы в окна хаты летит, четко доносится. Это бригадир на коне верхом подъехал, мамку зовет, чтобы до бессильной





усталости загрузить ее план-заданиями на день. Мама распахивает створки на улицу, в чистый воздух, местному начальнику-царьку откликается. А когда он уезжает, уходит с ведром корову доить. Мальчик на дыпочках выбегает следом за ней.

Отец с печкой возится, вот-вот ее жарко растопит, раздухарит. А пока он кашляет, желто-бурыми кончиками пальцев притушивая крохотный окурок. Что-то бухтит себе под нос, поглядывая на большой огород, на подгнивший столб забора, который надо на днях выкопать, а новый вкопать. Прибежав со двора, мальчик снова сигает под теплое одеяло, боясь разбудить брата.

Согревшись, начинает опять думать о чужой большой школе, о скорых холодах, о купленных новых тупоносых осенних ботинках, в которых он будет ходить и злой длинной зимой. Вспоминает и новенькую кроличью шапку, не забывает представить на себе и пальто, которого еще нет.

Ваня знает: мама уже ездила за пальто, но не смогла его купить, так как в очереди долго стояла; а когда дошла, то его размера уже не оказалось. Вдобавок на последний автобус опоздала, как и на обязательную дойку коров. За это ее при всех обидно ругал пузатый бригадир, отчего мама потом в красном уголке тихо плакала.

Дней-то до школы осталось... А у него есть только большеватый синий костюмчик, шапка да ботинки, правда, еще какая-то несуразная рубашка с большим воротником. Ваня, уткнувшись носом в подушку, еле слышно шмыгает соплями, сбивая о подушку крохотные капельки воды из глаз, вспоминая свой убогий вид перед размазанным, «плешивым» трельяжным зеркалом.

Там, в чужой школе, говорят, большие классы, там девочек много, а он будет в этом... Горько ноет тоненькое тельце. Не знает уже мальчик, как попросить мамку, чтобы обязательно купила пальто по размеру, а для этого — его, Ваню, с собой взяла для примерки.

Ваня не выдерживает терзаний, босиком плетется на кухню, к родителям. А там, оказывается, уже состоялся важный для него разговор.

— Сынок, слышь! Мы тут с мамкой твоей подумали... решили... Тебе же обязательно надо на холода пальто куплять.

Мальчик шмыгает носом, ближе жметесь к поддувалу, к играющим в щелках огням. Вытирает мокрые глаза, чуть веселеет мордашкой, взглядом:

— Ну-у!

— Ты ж знаешь, завтра подходит очередь нашего двора пасти коров.

Санька вновь закуривает, пуская дым в дымоход, кряхтит, никак не решаясь объявить окончательный вердикт родителей.

— Мне, сынок, надо в больницу! От, Вань... хотим завтра с мамкой съездить в раён. Постараемся найти заодно для тебя добротное пальтишко.

— Опять не меривши! — Мальчик сует нос ближе к печке, к жару, печальными глазами выглядывая пылающие угольки.

Разговор перебивает страдающая мать:

— Ну, Вань... я ж размерчик твой-то знаю. Надо до морозов куплять... потом вообще не найдем.

— Ага! Знашь!.. Костюм уже купила... — совсем сникает мальчик, уже представляя, какое пальто купят без примерки.

Ваня воровато тянет со сковороды поджаренный, с корочкой (как умеет только его мама) большой блин, сразу пихая его в рот.

— Да подожди ж ты, сыночек, сейчас все встанут, и позавтракаете, — говорит мать, а сама подает ему кружку со свежим молоком, накручивая на вилку второй блин — душистый, теплый, с запахом маминых сухих, мозолистых ладоней.

— Ну, што ты молчишь, говори! — сурово обращается Настя к задумчивому мужу, впихивая ухватом в открытые конфорки большие чугушки с варевом на день.

Тот кричит, мнетя, хмуро поглядывая в пасть чумазой печи. Стрянув пепел в ладошку, решает, говорит:

— Ты пацан уже большой, от... Коня хорошо знашь, от... лес увесь излазил. — Противная пауза. — Сможешь завтра за меня отпастить?

Хата замирает в легком недоумении, как и Ваня, моргающий испуганными глазенками.

— Я-а... пастить... по-взрослому... в тайге? — В глазах клубится туман неуверенности.

— А што, разве не сможешь? Ты жа ужа взрослый — одиннадцать скоро.

Ваня хорошо видит худенькое лицо матери. Она явно переживает, прячет от сына глаза, в них совсем нет ни капелчки уверенности, что правильно поступают с сыном. Настя, чтобы спастись от большой для нее минуты, вздыхая, исчезает из кухни, идет остальных поднимать на завтрак. Ваня, дожевывая очередной блин, смотрит в окно, на черную стену дремучей тайги, оживляя в памяти ее особые приметы, овраги, поля, дороги, где обычно гоняют скот деревенские. Где он, бывало, из любопытства хаживал, что-то из дикоросов подъядал.

— Ну-у... я... я не знаю... а удруг я много коров подрастеряю... в лесу заблужусь... што тоды люди скажут?

А сам тотчас красочно представляет новое, пахнущее нафталином черное пальто с цигейковым воротником. Которое так сильно хочется занять. Как уже обрыдло ходить в фуфайке, от которой всегда стынет шея и в которой стыдно появляться перед незнакомыми красивыми девочками.

Ваня хорошо помнит, как с пацанами когда-то лазили на кузнице. Там случайно и услышал пьяный разговор «ссылного», который, сёрбая черный чифирь, матерно рассказывал колхознику, что эти телогрейки на зонах шьют, пачками строчат, какой-то дикий план стра- не дают.





— Не переживай, Вань! В «угол» загонишь, за горелым оврагом будешь держаться правее и правее... два поля перемахнешь... и мелкий сосонник будешь держать всегда справа... А там... часа через три упруешься в сосновый угол, в ручей, в самое болото. Там ще толстые сосны высокие и лохматые стоят... Там костер разведешь... Коровы привычно полежат, отдохнут, и ты перекусишь, красотой дремучей полюбишься. А потом — обратно... уже кругом, не переваливая через сухие болота. И, сынок, ще: всегда смотри за солнцем! Туды будешь гнать, оно должно будет плавать по небу по левую руку. Смотри... а назад уже — светить должно в шею и левое плечо...

Мальчик стоит, слушает и, конечно, переживает — растерянный, жалкий, — нисколечко не запоминая советов отца.

— А мазь от слепней и оводов ешь?

— Всё! И мазь ешь, и часы мама свои маленькие даст без ремешка. Смотри не урони! У траву полетят с коня, тады, считай, пропали!

В доме телевизора нет, и радиоточка не работает — на линии порыв. Семья не знает, что за погода будет завтра. Живут, читая природные приметы, доверяя своему опыту, естественно — часто ошибаясь.

Солнце только-только ярким колом из-за дремучего леса выка- тилось, напуская долгожданного света и тепла на небольшую деревеньку, а по полусонной еще улице уже полетели крики-команды, зазывающие в общее стадо деревенских коров.

Удивляются селяне необычному голосовому звуку. «А нешто малец один будет такое стадо по тайге водить?» — высовывает нос очередная хозяйка двора, изучая тельце на бабкином коне. Скептически, а больше жалостливо поглядывает на пастуха, уже понимая, что порастеряет тот кормилиц.

Спрашивают, недоумевают, почему такое случилось? А Ваня, пону- кая смиренного коника, рогатых животных удерживая «в рамках», с горди- кой в голосе перекрикивает просыпающуюся улицу:

— Мне мамка с папкой за пальтом поехали у раён!

— Ну, ты уж, сынок, смотри повнимательней! Знай: Машкина коро- ва больно дурная — любит хитренько отстать, и телка Самохи с придурью. Может повести на черные болота. Што яё, заразу, усё туды тянеть! — очередная сердобольная хозяйка делится своевременной информацией, прикрывая рот платочком; мысленно несколько раз крестит ребенка, жа- лея, как своего.

Только на самом выезде из деревни крикнула вслед полная баба Зося, взмахом руки отгоняя чужих наглых свиней от своей калитки:

— А штой-то тебе батька с маткой плащ не дали, вроде обещають дошь!

Да Ваньке уже не было слышно — за своими криками, за гырканьем первого проснувшегося гусеничного трактора рядом.

Чувствуют коровы грядущие перемены, быстро идут, распозаваясь по сторонам, стараются больше ухватить травы. Мечется Ванька, бесконечно

дергая поводья, мучая коня, с одной целью — лишь бы стадо удержать в поле зрения. Как папка учил, поглядывает ввысь, выдерживая золотистое тепленькое солнце в нужной стороне.

Только к брошенным полям поднялись, на посохшие уже травы прибыли, как кругом похмурилось, все больше и больше напускает на крышу неба мрачности и густых туч. Быстро заволкло, натянуло. Крутит головой пацан, а солнце уже хитренько исчезло. Он на мамины часики без ремешка, со сломанной дужкой посматривает, боясь их выронить из рук в траву. Пытается понять, вспомнить, где находится.

Высосал дух лесной весь воздух из леса, в верха нагнал уже тяжелые свинцовые тучи, где воды скопилось — оё-ёй! А оводы и слепни, чувствуя, что сейчас «вжарит-ливанет», просто озверели! Перед лицом носятся, нервы портят, за шиворот лезут, кусают, кусками кожу выедавая. И до одного места им мазь, отцовы успокоительные заверенья.

Безжалостно разошлась похолодевшая погода, будто проверяя Ваньку и его покорного коня на нервы! А коровы точно сдурели: на ходу хватая траву, несутся куда-то! А куда — Ваня и не знает! В этих местах он точно никогда не был! И солнце, как назло, окончательно черным замазилось, где-то далеко-далеко чужим людям светит, путь указывает.

Кричит малец, то вправо, то влево по перепутанной тайге мечется, кнутом пытаюсь с лошастью, с ситуацией, с дойными буренками справиться.

Для приличия отгромыхало небо, указывая землянам — сибирякам, колхозникам, что точен был прогноз Гидрометцентра, что это надолго! Отбурчало поднебесье, следом пустив более сильный, игривый ветер. Пронесся он по верхам, по макушкам, как бы все живое предупреждая: «Ну, держитесь!»

Брызнуло-ливануло — без разведки, сразу стеной да крупными каплями! Шумит, стучит, глумится радостная небесная вода, встретившись с землей. Листва трясется, конь сник, приуныл, потухшим идет, чувствуя на себе потяжелевшего седока. У мальчика и фуфайка ватная намочла, и всё под ней.

За шиворот потекло, поплыло, прогнав окончательно летучих кровопийц. Сырое молчаливое стадо, не отвлекаясь на траву, упорно держит свой курс! А куда?.. Промокший Ваня и не знает, чувствуя, как противно стынет тело, исчезают последние кусочки радости жизни.

Конь, явно расстроенный, отрешенным шагом бредет по густому лесу, подставляя Ванькину голову под ветви, секущие по глазам, по лицу. Пастушок интуитивно понимает: надо взять правее! Но как?.. Коровы совсем от рук, от бича отбились! Куда-то неуправляемой массой ломятся, а мальчику хоть плачь, хоть реви: как сладить с такой живой стихией в неполные одиннадцать лет?

— Куды, сучка, пошла, куды назад полезла?! — орет, будто стонет, Ваня, не зная, как сладить с телкой тети Маши. «Ох, какая противная, все нервы уже истрепаала!» — негодует про себя совсем потерявшийся в темной тайге пацан, то и дело поглядывая на мамины часики, так медленно идущие вперед.



А дождь, косой, холодный, густой, все глумится и глумится над живыми существами. Сжавшимся комочком прилип к седлу Ваня-пастушок, следуя за упорным стадом, полностью отдавшись его воле, боясь шевельнуться, только успевая сглатывать холодную воду.

Чуть просветлело в душе. От внезапного вида, от вроде знакомых редких сосенок у низины, на краю коварно-топкой болотины; от величественных исполинских деревьев, расступающихся перед ним, перед его молчаливым стадом. «Ах! Ну и умницы буренки! Вывели прямо в “угол”».

Только не хочет скотинка лежать. Под густые кроны стала, застыла, жвачку жует, о своей жизни, не моргая, думает... а может, и о пастушке — его, возможно, жалея.

Но как перекусить?.. В желудке давно возмущения, просьбы, мольба. Ваня привязал коня, железные ненавистные удила из его рта вынул, попросил травы «поскубсти», покушать! Но тот как будто его не слышит, от воды темным, холодным, безучастным стоит. Опустив голову, смотрит в одну точку захлебывающейся земли. Пастушок надирает травы, сует коню, просит:

— Ну, на, пожуй, поешь, пожалуйста, а?

Лошадка, подумав, скучно глянула на мальчика, начала медленно двигать мокрыми губами. Жует.

В толстой сосне, в стволе, выжженное черное местечко — от пожара, — этакое спасительное дупло! В него вмещается Ваня-пастушок вместе со своим нехитрым «пайком». Достает бутылку молока, вырывает зубами бумажную пробку. Пальцы замерзли, стынют, силы не имеют. Достает желтое прошлогоднее сало, яйца, огурцы, лук, хлеб — начинает жевать. Так хочется костер развести, до косточек согреться, да разве разведешь?! Тяжелая фуфайка пропитана холодом, водой, как и все остальное.

Кое-как насытился, в комок сжался, дождавшись первой дрожи, трясушки. И конь с понурой головой застыл под сосной, в печали о чем-то смиренно думает, никуда не идет, травку не ест, на все в этой тягловой жизни согласный.

А небо без прояснения, вот уже пять часов льет дождь, все на свете вымочив, в округе все живое спрятав и успокоив. Не успел Ваня остатки молока из горлышка допить, как коровки, словно по чьей-то команде с неба, быстро снялись с места и потянулись по знакомому им пути вдоль болота.

Трудно, с надрывом тянутся минутки на крохотных часиках. Скорей бы домой, к горячей печке, к маминому вкусно пахнущему ужину, к чаю с душицей! А главное — к новенькому, с этикеточкой, пальто, которое обязательно должны привезти! И конечно, по размеру — рукав по ручке, плечо в плечо, и желательно с толстым воротником, мягоньким и теплым, как кошка, чтобы шейка никогда не стыла.

А вот и знакомые поля, а вот и знакомый мосток! Но еще рано на путь конечный становиться, еще часок надо покружить, времечко

выждать, раньше установленного срока в деревню не заводить. Так его папа учил, так все в деревне делают, когда их очередь подходит.

Вывалились, вышли на чистое травяное поле добросовестные верные буренки, кроме тех двух, о которых хозяйюшки предупреждали. Об этом узнал Ваня, когда, в какой уже раз по головам считая стадо, заметил отсутствие вредных животных.

«Точно — это беда!.. Двух нет!.. Потерял — какой позор!.. Как папке скажу, что хозяйюкам отвечу?» — запереживал Ваня, не зная, как дальше быть. Слава Господу Богу — хоть успокоил к вечеру небо, окончательно обезводив похудевшие тучи.

«Что делать?.. Рыжая пропала!..» Никто не любит эту корову, как и ее вредную хозяйюку. Начнет та по деревне языком молотъ, всякое на пастуха наговаривать. Ну и противная, вечно спешащая худая телка, ищущая приключений на свой обдристанный зад. «Хоть бы ее волки задрали!»

Ваня плетется в хвосте стада, видя, как цепочкой потянулись коровы в деревню, и понимая, что они никуда уже не свернут. Их хозяйюки с подоюниками уже ждут у своих калиток. Проводив последнюю взглядом, мальчик резко развернул коня и с рыси сразу вошел в галоп, посиневшими ручонками крепко уцепившись за батькино седло.

Несся в уже темнеющую тайгу, на лету у боженьки выпрашивая: чтобы на обманчиво липкой грязи не завалить на бок коня, через голову с ним не полететь, насмерть не разбиться, на ходу глазами на суки и ветки не налететь. «Где жа их искать, паскудин этих?» — думал ребенок, чувствуя, как от встречного ветра холодело тело, стыла голова. Конь вынес пастушка, переживающего за свои нечаянные потери, к знакомым полям.

Вдруг в редком осиннике рыжий огонь боков мелькнул, мгновенно вернув мальчику капельку настроения. Подлетев, Ваня с ходу секанул бичом по спине вредной и глупой телки, выводя божью тварь на дорогу. По запаху, по памяти, по интуиции побежало домой глупое животное. «А где же вторая скотина?.. Как дальше быть?.. Где она, подлюка, лазит?..» Пастушок понимал: в самую таежную темь не было смысла соваться. И Ваня повернул домой. Его уже знобило.

Давно родители из районного центра приехали, ждут возвращения сына. Их корова давно пришла, как и соседские буренки. Переживает Настя, стоит на улице, в какой раз Саньку упрекая в поступке. «Пропал сын!» А самое страшное — целый день под холодным дождем мок в худой телогрейке.

Тихо плачет мать, прижавшись к углу палисадника. Высматривает уже темные дали, Бога просит сжалиться, в положение войти. Отец сидит под навесом, одну за одной сигарки дымно цедит, молча, — с болью, с упреком в душе борется.

Наконец не выдерживает Настя, кричит, вбегая во двор:

— Шо ж ты истуканом сидишь?! Хватай уздечку, на конюшню беги, седлай быстрого коня, несись галопом в тайгу. Ищи сына! Слышишь...



ищи сыночка! Он же весь мокрый! Зачем же ты плащ с седла отвязал, что ж ты натворил?

Встал, выпрямился измученный Санька, соглашаясь с заплаканной женой, еще не зная, как в таком уже густом мраке искать Ваню. Ни фонаря, ни ружья! Для сына взял сухую телогрейку, для себя папирос. Оглядевшись, молча потянулся со двора. За ним вышла Настя.

Вдруг из размытого, неясного ночного воздуха послышался топот копыт. Впереди замаячила темная точка, приближающаяся галопом.

Увидев сына, Настя, не поворачиваясь, крикнула мужу:

— Беги! Срочно топи баню!

Но еще до бани, до ужина жар набросился на мальчишку, ртутным столбиком потянувшись все выше и выше, окончательно свалил Ваню в теплую постель, испугав мать, тут же начавшую поить сына лекарствами. А он, уже с горящими легкими, старался по поведению, по глазам отца и матери понять, угадать, увидеть: повезло ли его родителям? Повезло ли ему?

— Ма-ам! Мам, — промокая языком сухие, потресканные губы, спросил мальчик, — а вы пальто мне купили?

И на его лице повисла зыбкая, такая хрупкая-хрупкая улыбка.

— Конечно! Конечно, сыночек! Счас принесу! Ладное такое... тепленькое.

Подавая пальто сыну в жаркие руки, дополнила:

— Последнее забрали! Очередь пока тую отстояли!.. Вот... примерь!

Он встал, — полный жара, воды, успокоения и счастья, — начал с любопытством примерять дорогую обновку, еще пахнущую городом, фабрикой, рукастыми добрыми мастерицами. Шею охватисто и приятно гладил цигейковый теплый воротник, правда, трудно застегивались большие пуговицы.

Пока мама помогала ему, мальчик рассказывал родителям, как он боролся с непогодой, с холодом, с деревенскими рогатыми животными. Поведал и о том, как потерял две головы, как потом их искал. Как одну нашел, а вторую уже не стал искать. А когда въехал в темную деревню, баба Зося успокоила пастушка, сообщив, что вторая, вредина, сама пришла сразу после стада.

Черной ночью на печи, стораая от запредельной температуры, прячась под старым перьевым одеялом, обливаясь горячим потом, бредил, метался; вспоминая мокрый холодный лес, мамины маленькие часики, и еще обещающее теплое солнце, которое предало его.

Прыгало и скакало в бреду, в огненном мальчишеском сознании, просторное выгоревшее дупло, почему-то так приятно пахнущее новым его пальто с широким хлястиком, с таким ласковым воротником, благодаря которому никогда уже не будет стынуть шейка. Последним мелькнет тот черный прогар, где Ваня для маленьких лесных братьев подарком оставил остатки сала и большой ломоть серого хлеба.

Бессознательного Ваню уже под утро срочно отвезут на грузовой машине в соседнее село, в больницу, с двусторонним воспалением легких.

Не все врачи поверят, что он выкарабкается. А когда Господь Бог сжа-
лится над ним, не отпуская от борющегося тельца его ангела-хранителя,
Ваня откроет глаза, глянет на казенное окно и хрипловато спросит жен-
щину в белом халате:

— Теть!.. А с-снег уже выпал?..

Сестра мгновенно преобразится, обрадуется, вскочив, кого-то позо-
вет. Улыбнувшись, погладит его сухой лобик, ответит:

— Нет, Ванечка! Еще рано, детка! На Покров должен. А тебе что?

А он сразу вспомнит свою новенькую, такую ладную, размер в раз-
мер, теплую обновку, которую уже так сильно хотелось надеть. Но не от-
кроется, а только улыбочиво вздохнет и совсем даже не соврет, ответив:

— Да так... Просто люблю снежную зиму!

Папкины рубли

Крохотное здание автостанции опустело. Уже в темноту, в похоло-
дание, последней сползла с покосившегося крыльца маленькая, сгорб-
ленная старушка. В костлявой руке болтается грушевидного вида авось-
ка. Там продуктов маленькая жменька. В другой руке — палка-клюка.
Она через шаг упирается в землю для подпорки кривобокой, дряхлой
хозяйки.

Кружит, колдует резкий осенний ветерок, гоня мертвую, замерзшую
пыль по битой, ухабистой земле. Асфальту не один десяток лет. Здесь че-
рез раз — яма, через два — уродливая выбоина, неровность. Завсегда
пассажиры, водитель — все их знают наперечет.

Все автобусы разъехались по маршрутам. Последний «кавзик» остал-
ся: стоит, попыхивает выхлопным дымком, а рядом водила — папирской.
Народ в ожидании тепла мнется, хочет плюхнуться на свои законно ку-
пленные места. Всем хочется скорее из чужого села уехать, домой, в род-
ную деревню побыстрее попасть, успокоиться.

Свинцово-черная небесная высь над районом, над кучкой людей, над
выцветшим кумачом большого плаката на стене. С него на простой, бед-
ный люд белые буквы смотрят, просят, приказывают: семилетку досроч-
но выполнить! Это XXI съезда единственно верное, далекое решение.

Вот-вот небо снегом первым разродится. Он пока любопытный, роб-
ко падает: слегка ватный, крохотный, волшебный, неумолимо зиму и лег-
кую грусть к земле приближая.

«Внимание! Автобус по маршруту Абан — Долгий Мост отправля-
ется в 18 часов 30 минут...» — уставшим голосом пролаял динамик, спря-
танный под фронтоном крыши.

— Папка! Пап! Наш автобус уже уезжает, пап! — плаксиво стонал
мальчик рядом с сидящим на бревне мужиком.

Тот, сопя, изогнув свои сухие, посиневшие губы, весь расхлыбстан-
ный, в новой фуфайке, в таких же кирзовых сапогах, в кепке набекрень,
без перерыва уже какую минуту шарил по всем карманам.



Ладонь была широкая, с кривыми сухими пальцами, в шрамах и ссадинах. Она хваткая, юркая! Ну не могли последние деньги от нее в угол спрятаться, за короткий прорыв в кармане, за прокладку провалиться! Ну никак не могли!

— Папочка, ну вспомни?! Куда ты мог их положить? — умоляющим голосом спрашивал мальчонка, пытаясь то залезть отцу во все карманы пиджака и фуфайки, то под старую кепку худую ручку запустить.

— Не-е, сынок! Я там уже смотрел, я там всё уже вывернул, — сплевывая пьяную слюну, покачиваясь, отвечал ему жилистый отец.

— Сбегай, сынок! Еще раз посмотри, может, кто из нашей деревни появился? Наш-то обязательно займет, обязательно поможет...

Метнулся худенький малолетка в сторону, придерживая за спиной красивый новенький портфель-ранец, за которым и ездили в центральное село. Старый на днях совсем прохудился, дно порвалось, ручка вот-вот лопнет. Стыдно уже с таким в школу ходить.

Сбегал, постоял, покрутился, в темноте всматриваясь в человеческие чужие лица, в надежде увидеть хоть бабу Марусю, хоть дядю Колю. А вдруг говорливый толстый Пашка-бульдозер выскочит? Он часто сюда ездит по разным делам, и всегда торопится, и всегда почему-то опаздывает. Вся деревня об этом знает. Знает это и мальчуган, до последнего надеясь на его появление из незнакомого темного проулка.

— Нет там наших, пап, — печально сообщил сын. — Пойдем, папка, попросим дяденьку за рулем, с толстой тетенькой... с кошельком на боку. Они нас возьмут за так. Стоя доедем! Тетенька, она улыбается... она добрая. — Судорожно тормозит за плечо отца, в надежде сдернуть его с неподвижной точки, с нагретого места.

Крестьянин сидит, за левую сторону груди держится. Ему плохо. С того часу, как в районе случайно встретил земляка — боевого товарища, по японской еще. Он когда-то в ночном бою жизнь его спас от тесака обоядоострого. По молодости виделись чаще. С годами засосал приставучий колхоз, да и каждодневная бытовуха слабину не дает; вот и десять лет уже минуло, как последний раз друг другу руки жали, грудью бились, сердечно обнимаясь. Там же, в орсовской шумной столовой, под котлетки с макаронками, под компот с сухофруктами и уговорили чекушечку, помянули товарищей, о лихой молодости потолковали, о нынешней несправедливой нищенской жизни поспорили.

После выпитого и волнительных воспоминаний так не в срок, подлуже больно, снова прихватило. Хорошо помнил мужик, как рядом крутились малолетние проныры, на воровские делишки уже мастерски наученные. Они приезжих из глухих деревень быстро срисовывают своим хитрым глазом.

Помнил, что, несмотря на хмель, бултыхавшийся в голове, сообразил положить, от греха подальше, последние рубли туда, куда и не догадаться воругам залезть ни при каком ушлом раскладе в уже порченном их мозгу. Да контузия сволочная артачится, не дает припомнить, куда именно.

— Что, пап, опять прихватило? — В тревожном испуге смотрит мальчик на своего родителя, у которого периодически схватывает в груди. Мамка постоянно в больницу слезно просит его съездить — врачам сердце свое огромное показать! Помнит папан все слова мамы: ведь за столом шестеро ртов сидят, о них он должен думать, кто поднимать будет, если что?

Суров отец. Некогда ему по больничкам хаживать, каблуки сбивать, нервы всем портить. Работа нудная, колхозная и дворовая, продыху совсем не дает. На нее, эту жизнь вертявую, вся надежда у отца. Ведь движение — это жизнь! Может, к старости-то и без лекарей — рассосется, притерпится. Так любит отшучиваться отец — перед мамкой, перед потомками, перед судьбой.

— Как не в жилу придавила! Как не в жилу, стерва! Прямо в дороге, надо же, а?.. — сипели посиневшие губы мужика, требующие поскорее влаги, чистенькой воды. Он встал и, шатаясь, пошел к станции. Он знает: там, на входе, бачок с водой стоит, с кружкой на крепкой цепке. Она гремичая, кольцеобразная, необходимая — так сказать, для полной гарантии, чтобы черпак не слындили, не сперли, не уволокли. Да дверь уже закрыта. Диспетчер у автобуса важно, со значением крутится, на последнюю от правку автобус настраивая.

Скрипуче открылся старенький автобус. По одному деревенских людишек заглаживает. Билетики диспетчерша накрашенными пальцами лихо половинит, под строгий окрик, указание.

Одиноко светит лампочка на кривом столбе, вытянутые тени еле заметно землю качают. Ветер успокоился, притих. Снег валит вовсю, уже большими лохмотьями, густо, хозяином.

— Пап! Папочка! Сходи!.. Попроси, пожалуйста!.. Они добрые — довезут!..

Мужик трудно встает, кряхтит, на все пуговицы застегивается. И, пьяно шатаясь, идет прямо к добрым людям. С мягким сердцем заговорил. Хоть и давило в груди больно, но улыбку не снимал с лица, излагая свою стыдную просьбу.

Первой облаяла «добрая тетенька».

— Стыдность всю потеряли! Совесть всю пропивши!.. Сына хоть бы за собой не таскали в такую даль! На билет рубликов нема, а на горькую всегда находится. Пьяница! — при народе, незаслуженно, оскорбительно прогундосила толстая, поглядывая на простолоудина через форточку.

Народ по-разному зароптал. Водитель вроде мужик добрый оказался, хотел в защиту рот открыть, да этого не видно было безденежному человеку.

Тот на все был согласен, что эта женщина «при исполнении» говорила. Только зря трудягу, колхозного пахаря, беспробудным пьяницей обозвала. Не был он им никогда! Ему некогда им быть при шестерых невинных душах. Они с надеждой на него смотрят каждое утро и вечером, усталого, с работы встречают, радуясь полному сбору, уютному семейному гнезду.



«Зря ты, бесстыжая, бессердечная морда, меня за живое задела... Ох, как зря!..» Что-то горячее запекло в груди трудяги. Подхлынула горькая обида к горлу — поперек стала! По привычке кулаки на оскорбление зачесались.

А потом, изнутри, искрометно рвануло: отборной, фигуристой речью плеснуло!.. При всех! Та, толстая, краснела и багровела! Сначала глазами — на полный выкат. Потом — заплывшими щеками и мясистой, увешанной гирляндами крохотных папиллом-бородавок шеей.

Умчался обиженный «кавзик». Тишь и немота вокруг автостанции. Только где-то на соседней улице собаки глухим лаем дразнят друг дружку, без умолку брешут, переговариваются. На краю селения чья-то корова промышчала — видно, просит к себе хозяйку с подойником, или сена хочет, или от жуткой тоски.

Слегка покосившаяся дверь станции уже закрыта на поперечную металлическую перекладину и замок навесной, старинный — как знак неизбежного распорядка дня, расписания.

От первого снежного привета с неба благолепно светло стало вокруг. Он словно в мир сказки окунул этот убогий уголок земли и страдающего мальчишку. Снег еще робкий: он знает, что земля пока теплая, два-три дня пройдет — обратит его в талую воду и выпьет.

Снежинок воздушные лохмотья, их мириады, — это первые посланцы зимы, всем долгожданный подарок с неба, успокоение, радость. Смотрит на снег пацаненок и маленькими ладошками трепетно берет, к губам подносит, нюхает, лижет. От обиды в глазах плавают тихие слезы, стекают по щекам. Подальше от забора, подальше от отца, чтобы тот их не видел.

Прижавшись спиной к доскам, сидит колхозник. Лицо его застыло камнем, глаза закрыты, рот страдальчески искривлен, зубы сжаты.

— Сынок! Наб-бери... пожалуйста, мне чистого-чистого снега... подай... больно уж пить сильно хоч... — еле слышно сипит отец. — Только не с земли... с верхних бревен, легонько сними.

Мальчик сопливо шмыгает носом, взбивает худенькой рукой лохматую свою шапчонку, идет к горке толстых сосновых бревен, останавливается. Смотрит на белое чудо, вытирает ладошкой мокрые глаза и аккуратно снимает ватный снег — боясь, чтобы не попала соринка, пожухший листочек, грязь в папкин рот.

Чужая большая грузовая машина скрипит тормозами, резко останавливаясь рядом с автостанцией. Бежит к дверям водитель — беловолосый ладный парень, в свитере под самое горло, в сапогах под самое колено. Подбегает, смотрит на крепкий замок, на потухшие окна, в печали раздувает покрасневшиеся ноздри, мрачнеет его доброе лицо.

— Блин, опоздал! — ругается расстроенный шофер, возвращаясь за руль старенького «зилка». Бредет мимо пацаненка назад. Останавливается, заметив его странную одинокость. Видит мокрые глаза, боль, обиду, застывшую в глубине их, белый снег в руках, спрашивает. Мальчик все ему рассказывает.

Парень делает три шага к машине, вдруг тормозит себя; что-то думает, крутит по сторонам головой, смотрит на свои наручные часы и громко вздыхает:

— Эх, была не была!

Что-то бубнит свое, словно перед кем-то оправдываясь, спорит. Решительно машет рукой, словно саблей разрубая густой, темный воздух, чьи-то ожидания, надежды. Разворачивается и быстро идет к человеку у забора.

Из ворот больницы выехали уже в ночь. Машина набирает скорость на дороге в далекую, глухую деревню. «Зилку» и его водителю вообще-то совсем в другую сторону надо. Но техника все равно весело крутит свои колеса в чужой край.

В кабине сидят трое. Повеселевший, порозовевший лицом мужик что-то интересное рассказывает водителю. Тот смеется. Сам шутит, свое рассказывая. Сынишка, прижавшись к отцу, уже в дремоте слышит, как тот обещает молодому главе семьи, только счастливо женившемуся, по весне поросят задаром.

Шофер только начинает жить, своим домом и скотиной обзаведясь. Он недавно из армии пришел, в землю с корнями глубоко хочет врасти, по-хозяйски, надежно, с любовью устроиться, детей народить, быть полезным стране. Ему любая помощь со стороны сейчас за счастье будет.

Засыпает ребяенок. По размытой интонации голоса, под гул работающего двигателя, чувствует сердечное отцово желание, чтобы в доме его спасителя всегда процветало взаимопонимание, доверие и любовь.

Мчится, мелькает среди темной спящей тайги одинокая машина. На ямах подпрыгивает, гремит бортами, длинными лучами желто-золотого света по щербатым макушкам деревьев ослепительно постреливает. В кабине тепло и спокойно троим, а больше всех хорошо спящему школьнику. Он маленькими пальчиками цепко держит свой новенький портфель, внутри которого лежат утерянные папкины рубли.



Макс НЕВОЛОШИН

АМЕРИКАНСКАЯ КОМЕДИЯ

Р а с с к а з

В начале девяностых мой товарищ Антон Ивашов работал вожатым в элитном пионерском лагере «Орленок». Пионеров тогда уже отменили, но лагерь функционировал как обычно, не простаивал даже зимой, и Антоша был там на хорошем счету. Многие звали его Антошей: взрослые — приватно, дети — за глаза. «Антон» к лицу мужчине крупному, солидно-му, тем более с добавкой «Николаевич». А друг мой — повзрослевший Чебурашка или юный Винни-Пух: невысокий, толстенький, весь какой-то плюшевый. И характер спокойный на первый взгляд.

Дважды ему поручали сопровождать детишек в заграничные поездки. Страны были так себе: Индия, Болгария. Затем судьба улыбнулась Антоше, как фотомодель на рекламе дантиста. Ему предложили лететь по обмену вожатыми в американский лагерь бойскаутов. Естественно, он согласился — кто б упустил такой шанс? Провожая его в Шереметьеве, я чуть не плакал от зависти.

На месте работы Антошу ждал неприятный сюрприз: бойскауты оказались черными из трудных семей. Разговаривали с ним через губу, прикалывались над его акцентом, обзывали всяко, но как — неясно. Антоша окончил английскую школу, и язык там учили совсем другой. Короче, «мама, забери меня отсюда». Вдобавок расслабиться было нельзя: алкоголь, курение, флирт запрещались в лагере на уровне мысли. Доносительство — наоборот. Раз глубокой ночью Антоша покурил в укромном месте. Утром его кто-то заложил, и пришлось объясняться с директором. Стучали в лагере тотально, с огоньком, под лозунгом «Мы все одна семья». Впоследствии, рассказывая мне об этом, интеллигентный Антоша выразился так: «Одна сучья семья».

Незадолго до окончания ада у него сорвало тормоза. Напомнил дежурному вымыть полы, а тот борзанул: «Отвали, факинг рашен». Швабра в руке оказалась некстати, размахнулась будто сама. Р-раз! Еще! Как бил? Как остановился? Только зайцы черные прыгали в глазах. Час спустя Антошу уволили с одновременным звонком в российское консульство.

Там сухо обещали разобраться, велели явиться за билетом домой. Заплатили ему пятьсот сорок баксов. До рейса в Москву оставалось шесть дней.

Антоша сел в автобус и за полдень прибыл в Нью-Йорк. В первом же баре закинулся дабл «Смирновым» без льда, потеплел, размяк — воздержание сказалось. Затем бесцельно шатался по сити — «небоскребы, небоскребы, а я маленький такой». Мысли были грустные — например, о том, что загранпоездкам, да и вожатской карьере пришел трюндец (здесь мой друг ошибался). Ехать в консульство не хотелось: выпивши — раз, обломно — два и три. Подождут грызуны канцелярские. Он приметил новый бар, усугубил, воспарил. И наконец родился план.

План этот был как минимум странным. Дойти к вечеру до Таймс-сквер и арендовать там барышню почище, желательно с квартирой. Где желательно остаться ночевать. Ну и... совместить необходимое с приятным. А утром двигаться к чинушам на поклон. До того он не общался с проститутками, но знал, что есть в Нью-Йорке такое место, где... это происходит. Возник кураж, соблазн полета в моральную бездну. Он верил, что сегодня все получится.

Завязка вышла идеальной. На «перекрестке мира» у стрип-клуба договорились с одной рыжей — веселая, сама подошла. Стольник за ночь у нее, просила двести, но Антоша включил шарм. «Могу ведь! — изумлялся он себе. — Вот так надо: быстро, смело!» По дороге сюда Антоша еще пару раз накатил для отваги и чувствовал себя крутым самцом. Трясла немного мысль, что он впервые купил женщину. Сейчас будут исполнены все его капризы... Но тут начались косяки. Пока ловил такси, веселая исчезла. И возникли двое черных, прилепились — шибануло кислотой немытых тел. Антоша с натугой примерил улыбку. Полез в карман за мелочью. Миг спустя заметил нож, услышал слово «кошелек».

Взяли только деньги, паспорт на месте, главное — сам невредим. Шок, отчаяние, ужас достигли мозга не сразу. Он в Америке — без денег, знакомых, ночлега, еды... Такой самосвал дерьма не может быть реальным. Антоша дважды потрогал себя в области кошелька, еще хранившей фантомную тяжесть, тепло. Немедленно в полицию? Может, найдут, вернут... Нет, сперва протрезветь. Антоша долго бродил по центру, выбирая улицы посветлее. Репетировал, что скажет копам. Как будет завтра, уже сегодня, объясняться в российском консульстве. Там — свои, они помогут, обязательно помогут... Сел на лавку, задремал. Разбудили его два полисмена, клоны вчерашних гопников, только в форме. Светало, было трезво и холодно. Вялое солнце искало прорехи в дебрях каменной тайги.

— Эй, друг, поднимайся, здесь спать нельзя.

— Простите, господа, — вежливо начал Антоша, — вы-то мне и нужны. Понимаете, меня вчера ограбили на Таймс-сквер два... эм-м... афроамериканца, взяли кошелек...

— Неужели? — перебил коп. — Выпивал недавно? Или на веществах сидишь?



— Едут из долбаной Польши, будто нам своего говна мало, — добавил его напарник. — Ты по-английски понимаешь? Исчезни отсюда, а то заберем.

Антоша опять сорвался. Как-то навалилось все: стресс, усталость, похмелье, негры...

— Забирайте, — сказал он твердо. — Арестуйте меня, вот руки, нате!

В полицейском участке его наконец-то выслушали. Но больше интересовались не ограблением, а работой почему-то. Тут же позвонили в лагерь.

— Интересная новость, — подмигнул один коп другому, — этот кусок дерьма еще и педофил.

— Ну?!

— Ага. Ребенка насилует шваброй. Может, бросим его в обезьянник на пару часов да шепнем ребятам, чтоб... сменили ему ориентацию.

— Не надо в обезьянник! — взмолился Антоша. — У меня в российском консульстве аудиенция. Они про меня знают, будут искать.

— Ишь ты, аудиенция... Ладно, маньяк, свободен.

Напомнить про бумажник мой друг не решился.

Вышел из участка, закурил. Тело чесалось и ныло. Шорт-лист желаний выстроился так: душ (нереально), смена белья, чистка зубов, еда. Сумку он вчера оставил в камере хранения. При себе имел карту Нью-Йорка, паспорт, часы, зажигалку, восемь сигарет. Потопал на автовокзал. Камера хранения была обычная, не автоматическая. На выдаче — лоснящиеся парни цвета баклажана. Антоша мысленно зажмурился. Протянул квитанцию.

— Шесть баксов, — сказали ему.

— Но я заплатил вчера, — возразил мой друг, — еще суток не прошло.

— Ты в школе учился, приятель? Сутки кончаются в полночь. Вчера шесть баксов, сегодня еще шесть. Оставишь до завтра — будет двенадцать. Ясно?

— У меня нет денег, — промямлил Антоша. — Может, часы возьмете? Мне только пару вещей достать...

Приемщики отвернулись и сделали музыку громче.

— Где ваш начальник?! — крикнул бедняга им в спины.

— Я начальник, — был ответ, — а это — мой зам.

В туалете Антоша умылся, напился воды из крана. Передел наизнанку трусы и отправился в консульство. Кварталов сорок шагал по жаре, искупался в поту. Ноги стали чужими протезами. Зашел — как «совка» полной грудью вдохнул: казематные стены, унылая очередь. Клерки с большими понтами. Заготовленную речь произнести не удалось. Юноша в окошке сунул ему авиабилет.

— ...остальное — ваши проблемы. Мы их вам не создавали.

— Нельзя ли матпомощь? — взмолился мой друг. — В размере шести долларов?

— Чего?

— Долларов... шести. Пожалуйста. Сумку из камеры хранения забрать.

Клерк протянул что-то вроде монеты.

— Держи вот... жетон на метро.

Следующие пять дней в Нью-Йорке Антоша хотел бы забыть. Говорил о них с лаконизмом спартанца. Да, бомжевал, побирался, шакалил объедки в Макдональдсе. На автовокзале пытался выклянчить сумку. Кто-то направил его в Армию спасения. Там Антошу напоили ядовитым кофе, сообщили, в каких магазинах раздают просроченную еду: умеренно вздутые йогурты, бананы с гнильцой, черствый хлеб. Указали на карте места, где бездомных кормят горячим. Поселили на трое суток в общежитии для беженцев. Рядом жили дикие люди из Сомали. Они мазали руки по локоть красным, ходили мимо унитаза, общались звуками саванны, развели на полу костер... Мой друг зарос щетиной и неприлично пахнул. На борту «Аэрофлота» соседи громко возмущались, пока их не отсадили. Антоша давно был за гранью стыда: несколько раз с удовольствием выпил, поел и заснул на трех креслах один.

Из Шереметьева Антоша зайцем поехал ко мне — в общежитие на проспекте Вернадского. В мечтах он уже обнимался со мной, рассказывал о своих мытарствах, занимал денег. Но прежде всего — душ. И переодеться в чистое и новое. Тут нужна ремарка. Еще до Америки он купил в столице презентов — джинсы, футболки брату, спортивный костюм отцу. Маме — гжельский кофейный сервиз. Все это хранилось в чемодане под моей кроватью. Антоша уже прикидывал, что бы оттуда надеть. Только меня в Москве не было, уехал по срочным делам. Я не забыл об Антоше, просто явился тот слишком рано. Предполагалось, что он задержится в Штатах на две смены минимум, лучше на три и так далее. Где есть желание, там варианты.

В общежитии, в комнате, куда Антоша стремился, летел душой, находились тем временем мой сосед Слава и его девушка Люда, аспирантка худграфа, живописец-миниатюрист, известная тем, что рисовала друзьям проездные на метро. Слава, в юности боец ОМОНа, затем торговец картинками на Арбате, обитал в аспирантском общежитии противозаконно и небезвозмездно. Расспросы о научных изысканиях подавлял бетонным взглядом. Когда ночью по его щеке проползал таракан, сосед, не открывая глаз, ловил его и бросал в мою сторону. Такой у него был юмор. Явившись с торговой вахты, Слава, охая, сдирал кроссовки и развешивал токсичные носки на батарее. А затем, приняв себя, говорил: «Слышь, Макс, ты опять курил в форточку? Я тебя побью когда-нибудь, дышать же нечем, блин!» Спорить мне не хотелось. Габаритами сосед напоминал холодильный шкаф.

Итак, романтический ужин: шансон, амаретто, беседа на тему денег. И раздастся стук в дверь. Далее — в пересказе Славы, язык облагорожен.



«Открываю — стоит бомж. Зачуханный, мятый, воняет помойкой. И спрашивает тебя. Уехал, говорю, ты сам-то кто? “Я его друг”. Тут я подумал: Макс, конечно, не ангел, более чем, но такие друзья — перебор. А этот шныряет глазами по комнате. Здесь мой чемодан, типа, вон, под кроватью. Нельзя ли забрать? Прикинь, забрать, ни хрена себе, да? А поспать тебе здесь неохота или денег взаймы? Хорошо бы, отвечает, только ведь не дашь? Ясен перец, не дам. Он: давай так — сломаем замки у чемодана, и я тебе не глядя скажу, что внутри. Прямо щас, говорю, разбежался, чужую вещь ломать. Да моя она, кричит, моя это вещь! “И где же твои ключи, хозяин?” Он посмотрел как-то странно: вот не поверишь, в Нью-Йорке ключи. В камере хранения, чтоб ей сгореть... там баксов тридцать уже набежало. Короче, говорю, чувак, иди с богом, не зли меня. Макс приедет — разбирайся с ним. Он вздохнул и пошел».

Стоило ли ждать поезда на Туапсе? Броситься можно под любой. Всюду облом, тотальный мрак, но ведь это должно когда-то закончиться. Должна начаться светлая полоса. Каждый пустой стул увеличивает шансы на удачу. Ага, спросите Остапа Бендера... Так размышлял мой друг, обходя вагон за вагоном, стараясь разжалобить проводников. Миновал ресторан и услышал: «Антон Николаевич! Вы?» Обернулся — тетка в униформе, знакомое лицо. Повариха из «Орленка». Аня? Алла? Какая разница... Последний стул оказался с начинкой.

Через пару суток он был дома. Через неделю вышел на работу. «Орленок» встречал его как героя: там уже знали, что детки в Америке были «особенные».

Вскоре Антошу повысили в должности, отправили на конференцию в Москву. Наконец-то мы встретились.

Несколько дней мы отмечали, что положено, несколько раз слушали американский нон-фикшен. Антон подружился с Людой и Славой. Полюбил взаимно двух Ларис с шестнадцатого этажа. В паузах между застольями таскал меня по столичным храмам. Зажигал свечи, шептал что-то, даже разок всплакнул. Я видел, что мой друг еще не исцелился от недавнего кошмара. Чемодан мы открывать не стали, Антон его просто увез. Расставаясь, он подарил мне карту Нью-Йорка, ту самую. Я проклеил ее скотчем по сгибам, закрепил над столом вроде постера. Иногда ловил себя на долгом, гипнотическом общении с ней. Так, вероятно, Билли Бонс смотрел на карту острова сокровищ. Затем подарок куда-то исчез. Потерялся вскоре и сам Антоша, пропал незаметно и тихо в числе иных доказательств реальности того сумасшедшего времени. Оно флиртвало слишком навязчиво, обещало нам слишком много, чтобы исполнить хотя бы часть. Чтобы оставить улики, свидетелей. Мы все им, по сути, удалены, одни — от прежней жизни, другие — из жизни вообще.

Антон, если ты прочтешь это, не обижайся. И выйди на связь. Надеюсь, у тебя все хорошо.

Елена АНТИПОВА

ЧЕТВЕРТЫЙ

Р а с с к а з

Болит, собака. Господи, прости.

Так это токает пол-ладони, даже ночью: ток-ток. Просыпаюсь, вроде как до ветру. Маринка тут же подрывается: «Отец, ты куда?» «Отец-отец», и ни разу за всю жизнь «папа». Спи, говорю. А сам на крыльце подышу морозом, палец в сугроб воткну, оно и отпускает маленько.

А позавчера углядела. Я же дома кофту таскаю, китайскую. У ней рукава чуть не до колен, и не видно ладони-то. Но в храм же в этом не пойдешь. Вот я рубаху и надел — воскресенье, — а манжеты не могу застегнуть. Маринка, коза, подошла вроде помочь и увидела мой палец. Забегала-забегала, суетная мышь. Не надо, кричу, мне твоего йоду, само пройдет! Будто в первый раз. Иди, говорю, в зад. А она мне тычет ватки свои. Тьфу, смотреть тяжело. С возрастом уж больно на мать стала похожа, дурында.

Ни черта, конечно, не помогли ее перевязки, Господи, прости. Вот она и выдумала везти меня в Чкаловск, в больницу. Танечке пожаловалась еще. Та взялась звонить, упрашивать: «Папочка, съезди взад-назад». Полдня меня в два голоса обрабатывали: съезди да съезди. Вот как бывает, а, что от двух разных мамок девки дружнее, чем иной раз от одной. Шут с ними. Хотя, конечно, ненужное это дело, больницы эти... Клава там лежала, и ты тоже. Помогли они вам, что ли?

Получается, две недели назад я ее поймал, эту занозу. Или три? Нет, тогда уже пост начался. Значит, две. У четвертого с изнанки рассохлась доска, прямо в углу. Полез сработать и как укололся. Пробовал сам достать, а глаза-то не видят, вот и плюнул. Все одно помирать. Тут и четвертый пригодится.

По осени, когда ходил запасать дрова для прихода, наш отец Александр сказал: «Нету слов никаких, чтобы отблагодарить тебя, Игорь. Такой ты славный алтарник, такой труженик. Обещаю, как помрешь, похороним мы тебя, аки диакона». Да, так и сказал. Ну я ему и доложил про все свои смертные приготовления.

А чего? Девкам разве доверишь? Танечка еще кое-как успевает подать обед к часу, но вечно покупает не тот кефир. А Маринка то картошку мелко крошит в суп, то в стирку бахнет эту дрянь свою вонючую. Как оно? Освежитель, не освежитель? Сто раз говорил, что руки отрублю, если она еще раз. У себя пусть что хочет творит, а в моем доме — мой порядок. Тяжко без тебя, конечно. Ты-то знала, что каждой вещи — свое место.

Они так по две недели и дежурят у меня, как на вахту ездят, курицы. Когда им надоест? Я-то не больно их баловал своей опекой. «Мы же помочь хотим». А мне от них дел только прибывает: тряпки свои разложат по всему дому, понавезут хлама всякого, тапки-шапки, бардак один. А сами путем ни прополоть, ни полить, ни снег зимой почистить. Толку мотаться, если все через одно место. Сидели бы в городе с детьми, чего со мной нянькаться? Привыкнул еще, реветь потом будут, дуры. Мне-то уже ждать нечего, я давно готов.

Ты и не знала, но свой первый гроб я состряпал, как мне сорок стукнуло. В сарайке при ангарах. Отец мой в сорок два помер, вот и я, мало ли чего. Такая кривая домовина вышла, и вспомнить стыдно. Я ж только по мальству плотничал и еще немного, когда строились с Клавой здесь, позабыл все дела. Десяти лет не прошло, как гроб выгнулся, щелястый стал, я его порубил и на баню снес.

Второй вышел получше немного, но я его по недосмотру оставил стоймя на год или два, прямо на голой земле, и он плесенью порос почти наполовину. Это мне уже было пятьдесят шесть.

Третий гроб вышел просто замечательный. Хохма с ним была, я чуть на месте не помер. Жара стояла, работу свою в ангарах я еще не закончил, да и есть не хотел. Решил не мотаться туда-сюда домой на обед. Хоть и на велосипеде, но шесть километров по солнышку — не хрен собачий, прости, Господи. Зашел в сарай дух перевести, достал с полатей этот гроб, лег в него, так, чисто прикинуть, да и уснул. Маринка разбудила. Стоит, орет, на полу суп и стекла: банку раскокала, дурища. Я ее неслабо за космы оттаскал, никому, коза, так и не рассказала, как папку видала в гробу.

А с шестидесяти лет я что-то вширь пошел, побоялся, что в нужный момент не помещусь, куда надо. Так и пришлось делать четвертый, на вырост. Времени как раз прибавилось, и прятаться больше не от кого: ты слегла уже, девки разъехались. Сделал в гараже козлы специальные для него, поставил. Время есть — выглаживаю шкуркой, чтобы ни сучка. Ду-мал даже резьбу добавить, но тебя не стало, теперь уж боязно не успеть все к сроку закончить.

Остальное тоже готово. Все, как говорится, схвачено. Сряду, саван, крупу на кутью и второе горячее, водку хорошую и кое-какие деньги я отцу Александру передал. Теперь только молиться об отпущении грехов и Царствии Небесном.

Все должно быть не так!

Погубили. Сволочи.

Если бы я... Ни за что бы.

Палец этот. Из-за такой хреновины.

А я говорил. Это рассадник заразы. Это ад. Привезла меня: «Придется полежать пару деньков, отец». Я только потому не сбежал, что врач этот, очкастый. Он один приходил, зыркал, как сыч, злобный. Сказал, отпустит хоть щас. Только надо палец отрезать. Но, говорит, вы, дедушка, наркоз не переживете. А я здесь помирать не собираюсь! Лечите, говорю. Вылечили, суки.

Одно вылечили, другое...

Чахоточный мужичок, скотина. Заразил. Дрянь эта, из новостей, етить ее в душу, Господи, прости.

Неделю лежу, а их все увозят и увозят. Куда, вашу Машу? Вперемешку уже и мужики, и бабы. Тетка в халате. Как садится на судно, титки наружу. Какая дрянь. Так орала, что не хочет в закрытом казенном гробу. И заочное отпевание. Орала-орала, пока задыхаться не начала. Вчера ее переодели наконец-то, увезли.

Как так — в казенном гробу? Что за дела? Заочное. Меня мертвого во храм не пустят, что ли?

Суки, суки, твари поганые.

Я же почти дошел! По стене, по стене. А на посту мальчишка. Схватил меня, как поросенка, под кадык. Сзади кто-то прямо через гамаши засадил мне в мышцу — и темнота. Скоты.

Звонил отцу Александру. Соборовать меня. Да за любые деньги. С пенсии отложено. А он? В соседней области. У них там иерей почил, его послали. До весны, говорит. До весны.

А сряда моя? Саван вышитый... Крупа.

Сбрили бороду, твари. Какой дьякон без бороды? Вертелся, хотел этому мальчишке — санитар, что ли? — садануть в ухо. Маску сорвал. Он вышел, но вернулся, с подмогой.

Телефон забрали. Сказали, переводят. Куда, черти? Последний раз дайте. Дайте последний звонок. Сестричка, кругленькая. Как ты до болезни. Пожалела: «Пять минут, не больше». Мне и одной довольно.

Забери ты меня, сука поганая. Какая ты мне дочь? Все не так. Я давно все решил. Четвертый. Четвертый! Ты слышишь меня? Я же приготовился ко всему. Я готов, но не так, понимаешь? Ни хрена ты не понимаешь. Таню дай! Дай Таню!

Таня, Танечка, нельзя так. Дома, должен дома. Дома, аки дьякона. Меня. Я.



Нет здесь меня больше. Закопали, слава Господу, и расходитесь, чего паяльться на кучу земли?

Скажи, а, Гришка на колокольне постарался? Звонил и правда как по диакону. Все одно жаль четвертого. Они ж его выкинут, дурехи, или приспособят под свой хлам. Хотя да, правда твоя, какая уж теперь разнища. Банки с компотом сложат в него и пусть себе радуются, козы, лишь бы в дело.

Когда тебя хоронили, тоже все собрались. И Маринкины девчонки. Лет двадцать не видел. Обе уже мужние женщины, да. Старшая-то вообще вылитая Клава, вторая — тоже Танечка. Сели мы, как сейчас с тобой. Я и думаю: старый, пока внучки слушают, скажи что-нибудь путное, а то чего им вспоминать о тебе останется?

«Ну», — говорю. И ничего дальше на ум не идет.

А они молчат, неловко им со стариком на поминках.

Зацепился глазом за твой портрет под иконами и вспомнил, что ты мне сказала тогда. Когда я покаялся на Страстной, что никак полюбить тебя не могу. Так полюбить, как первую жену свою.

Ты ответила, что любовь — не главное. В первую голову между близкими идут уважение и честность. И что, если не любишь, но не лжешь притом, нет за тобой греха.

Вспомнил это тогда и повторил девочкам слово в слово.

Да знаю я, что дурак.



Ли́дия МАМАЕВА

А ЛЕТА ПОЧТИ НЕ ОСТАЛОСЬ

* * *

Бабушке

И не помнят иссохшие руки
Тонкий стержень стального крючка,
И не теплятся в памяти звуки:
Шепот спиц и ночного сверчка.

Полустолбик и столбик с накидом,
Косы, петельки и кружева...
Ты лежишь на диване расшитом.
Не жива.

Ты за ниточку жизни хваталась —
Шила, пела, вязала, плела.
Но и эта последняя малость
Истончилась сегодня дотла.

Баба, бабушка, бабочка Лида...
В тихий плач я вплетаю слова:
Полустолбик и столбик с накидом,
Кружева, кружева, кружева...

* * *

Кручу педали, солнце смотрит вслед.
И жжет затылок взгляд его горячий.
Я в сердце — в потайном кармане — прячу
Всего три слова — мой тебе ответ.



Их позабыть, их растерять боюсь
 И все твержу без умолку, смешная.
 А солнце в спину будто бы толкает,
 И я от счастья, кажется, свечусь.



* * *

Запомни меня такой: бегущей из дома в сад,
 Взволнованный на ветру волос моих водопад.

Улыбки тоскливой тень, руки торопливой взмах.
 И старенький сарафан, что мною насквозь пропах.

В немислимом ходе дней мгновения догорят,
 Но помни мои слова, что птицами рвутся в сад.

* * *

Подвязываю помидоры,
 Рыхлю капусту.
 Поливаю викторию.
 Под каждый кустик —

Удобрения и лекарства.
 Подрастай, мое царство!

Лилейник, хосты, календулы,
 Розы, гвоздики —

Цветочные грядки загадочны
И многолики.

Вечер. Любуюсь... Усталость...
А лета почти не осталось.



Прямая речь

С этого номера на страницах «Сибирских огней» будет появляться новая рубрика — «Прямая речь». Героями ее станут неравнодушные, увлеченные люди, преданные своему делу, своей профессии и своим собственным убеждениям. Иными словами — это прямой разговор о жизни, о судьбе, о нынешнем и прошедшем времени.

Открывает нашу новую рубрику беседа известного новосибирского журналиста Андрея Челнокова с Владимиром Николаевичем Алексеевым, человеком, который верой и правдой служит Книге. В нынешнем августе ему исполняется 80 лет, и мы от всей души поздравляем нашего автора с юбилеем и ждем новых встреч с его работами в нашем журнале.

Будь здоров, дорогой Владимир Николаевич!

Михаил ЦУКИН

Владимир Алексеев: «ВСЕ МЫ НЕМНОЖКО СТАРООБРЯДЦЫ!..»

— Если бы не Великая Отечественная война, я бы, наверное, не родился. Причина очень простая: отец и мама познакомились на фронте. Мама воевала с осени 1941 года. В числе многих других москвичей и москвичек она добровольцем пошла защищать Москву от подступавших к ней немцев.

Мои родители оказались в одной воинской части, познакомились и полюбили друг друга. В результате на свет появился я! Случилось это под гром первого салюта, который был устроен над столицей в ночь с 5 на 6 августа 1943 года в честь победы советского оружия на Курской дуге.

— **Ваш отец тоже был добровольцем?**

— Нет, он служил срочную службу в Красной армии. Его призвали в 1938 году с третьего курса Саратовской консерватории. Срочная служба в те времена длилась три года. Весной 1941 года отец надеялся уйти в запас и продолжить обучение музыке. Но страна ощущала близость войны, и потому отслуживших срочную службу в то время в запас не увольняли...

Когда на страну напали фашисты, его как старослужащего отправили на двухнедельные курсы командиров стрелковых взводов. После чего, как он любил говорить: «кубаря в петлицу» и на фронт. В звании младшего лейтенанта на должность командира пехотного взвода...

Командир пехотного взвода в начале войны был фактически смертником, но моему отцу повезло — он прошел всю войну и остался жив. Вернулся с семью ранениями — четырьмя тяжелыми и тремя легкими. У него на кителе были нашивки за ранения: четыре красные, три желтые... Детская память очень цепкая, и впечатления детства западают в душу на всю жизнь. Например, я никогда не забуду, как он приехал домой после Победы...

Мама после того, как я появился на свет, в армию не вернулась и занималась моим воспитанием. Жили мы в Москве у бабушки в комнате площадью не то 12, не то 14 квадратных метров. На этой крохотной территории размещались шесть человек — бабушка, мама, я и мамины сестры: тетя Люся, тетя Надя и тетя Оля! Среди соседей по коммунальной квартире мне больше всех запомнился Михаил Иванович Крыштан, который служил в оркестре Большого театра. По утрам он репетировал, играл на тубе, издававшей низкие рычащие звуки. Огромная изогнутая медная труба звучала на весь дом, но никто и не думал возмущаться.

В те времена люди, жившие в коммунальных квартирах, относились друг к другу как к членам одной семьи. Знали о друг друге практически все, сочувствовали, сопереживали... Переругивались беззлобно, по-свойски. Каждая коммунальная квартира была одним общественным организмом. Как, наверное, и вся страна!

Отец закончил войну в Праге. Его дивизию в мае 1945 года развернули на столицу Чехословакии, как только там началось антифашистское восстание. Оно было бы подавлено гитлеровцами, не подоспей к Праге Красная армия. Пражская операция продолжалась с 6 по 11 мая. За эти пять дней там погибло около 12 тысяч советских солдат, 38 тысяч были ранены. Войну отец завершил командиром батальона в звании капитана.

После окончания войны папа привез домой несколько черно-белых, плохонько отпечатанных открыток с видами Праги. Маленького меня эти немудрящие картинки зачаровывали невиданной мной ранее архитектурой. Я часами мог разглядывать Вацлавскую площадь, Карлов мост, Староместскую площадь, Пражские куранты... Я представлял себе, как путешествую по Чехословакии. Детская фантазия разыгрывалась настолько ярко, что никакие нынешние виртуальные путешествия с моими мальчишескими грезами сравниться не могут!

Поездка в Прагу с целью вживую увидеть эти красоты была мечтой всей моей жизни! Не так давно мы с женой съездили в Чехию на неделю, прошли по пражским достопримечательностям, где я мысленно беседовал с отцом...

Война унесла немыслимое число жизней. Но еще большее число жизней и судеб она коренным образом изменила. Кому-то со знаком плюс, а кому-то сломала судьбу. Ко второй категории людей относился мой отец. Я уже говорил, что в армию его призвали студентом консерватории. Семь лет перерыва и семь ранений для человека, стремившегося посвятить себя музыке, — это полная профессиональная дисквалификация! Поэтому о продолжении обучения музыкальному искусству и о карьере музыканта уже не было никакой речи. К маю 1945 года мой отец на высоком профессиональном уровне умел только воевать. Поскольку ему было нужно кормить семью, предложение стать военным педагогом было воспринято с энтузиазмом.

Его направили учиться в Ленинград в Высший военно-педагогический институт имени М. В. Калинина. Размещался этот вуз на Лермонтовском проспекте, в бывшем здании Николаевского кавалерийского училища. В его стенах в свое время учились такие выдающиеся сыны Отечества, как Михаил Юрьевич Лермонтов, Модест Петрович Мусоргский, Петр Петрович Семенов-Тянь-Шанский...

Пока папа учился в военном институте, мы с мамой, можно сказать, жили в поезде Москва — Ленинград — Москва. В Северной столице ему дали скромное жилье. Помещение в шестнадцать квадратных метров было разделено пополам фанерной перегородкой, и одна из половин досталась во временное пользование отцу. Хорошо запомнилась голландская печь, которая отапливала разделенные фанерой комнатухи. Мы с соседями топили ее по очереди...





У Высоцкого в песне «Баллада о детстве» есть слова: «...на тридцать восемь комнаток всего одна уборная». В коридоре здания, где жил отец, комнат было больше пятидесяти. А уборная, как и кухня, — тоже одна... Жить там всей семьей, включая недавно родившуюся сестру Лоду, было трудновато. Потому значительную часть времени мы жили в Москве, а в Ленинград приезжали «на побывку».

Свой первый учебный год я отучился в московской школе. После окончания института папа получил звание майора и назначение в Уральский военный округ. Никто из нашей семьи не подозревал, что это надолго...

После окончания мной первого класса мы с мамой отправились к отцу в Молотов (так тогда назывался город Пермь). Но там задержались всего на год. Через год отца перевели в Свердловск (ныне Екатеринбург), где он преподавал на Высших офицерских курсах «Выстрел» и в Свердловском суворовском военном училище.

В конце 1950-х, когда генеральный секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев принялся сокращать армию, отца «вычистили» из вооруженных сил в звании подполковника. К моменту увольнения ему было около сорока лет. А умер всего на 52-м году жизни.

— **Ранения, очевидно, сказались?**

— Конечно! У него в ноге остались осколки, которые хирурги не смогли вынуть в полевом госпитале. Время от времени они причиняли беспокойство и отцу приходилось ходить с палкой. Сегодня представить себе российского офицера, хромающего и ходящего на службу с тростью, просто невозможно! В те годы это было неувидительно... В память о родителях я со своим внуком Матвеем стараюсь каждый год 9 мая ходить на акцию «Бессмертный полк».

В одном из старых советских фильмов героиня, вспоминая кого-то из ушедших близких, говорит: «Жаль, что мы не умеем быть вовремя благодарны!» Как это верно сказано! Я бы еще добавил: «Как жаль, что не умеем быть вовремя внимательны!» Все, что с нами происходило, мы воспринимали как должное... Только когда уже ничего и никого не вернешь, задним умом начинаем давать оценку людям, их поступкам и событиям...

— **К сожалению, вы правы... А как ваша мама? Не работала?**

— Отчего же?! Тогда все работали! Моя мама всю жизнь была бухгалтером-экономистом. Расстаться с этой профессией не могла очень долго — завершила свой трудовой стаж в возрасте далеко за семьдесят. Когда она ушла от нас, ей шел девяносто девятый год. До конца жизни она была бодра и находилась в твердой памяти. Участковые врачи, присматривавшие за мамой на склоне ее лет, называли ее «бабушкой, которая работает на компьютере». Мама удивительно хорошо освоила эту непростую для стариков премудрость. Могла найти последние новости, посмотреть фильм, сыграть в какую-нибудь игру. Однако «стратегий», в отличие от правнуков, не любила.

ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ КНИГИ!

— **Ваш отец — военный, мама — бухгалтер-экономист, а вы — ярко выраженный гуманитарий... Что формировало ваши наклонности?**

— Во всем повинны книги! Одно из самых первых и ярких впечатлений дошкольного возраста — московский книжный магазин, в котором работала



София Ивановна, моя мама, перед уходом на фронт. Москва, октябрь 1941 г.



Николай Михайлович, мой отец, на действительной службе в Красной армии. Львов, 1938 г.



Первый день по возвращении отца с фронта в Москву. Он приехал вместе со старшиной своего батальона. Москва, лето 1945 г.



Мама и отец (справа от нее) с сослуживцами. Калининский фронт, начало 1943 г.



Моя бабушка Агриппина Антоновна, мама и я. Москва, 1944 г.



Отец в последние месяцы войны. Весна 1945 г.



Семейство Алексеевых — мама, папа, сестренка Люда и я. Двор бывшего Николаевского училища. Ленинград, конец 1940-х гг.



Мама перед уходом на фронт с сестрой Надеждой. Москва, октябрь 1941 г.



Мама с фотографией более чем 60-летней давности. Новосибирск, 2014 г. Фото Юлии Бернуховой.



мамина сестра тетя Надя. Тетя порой брала меня с собой на работу. В этом магазине я еще дошкольником стоял за прилавком! Я не продавал книги в буквальном смысле слова, но охотно давал советы, какую «взрослую» книгу стоит приобрести... Читать я выучился задолго до школьного возраста. Читал все подряд и имел представление о новинках, лежавших на прилавках. С одной стороны, это забавно. С другой... только со временем начинаешь понимать, насколько показателен этот пример для советской эпохи! Мальчик из простой семьи еще до школьной парты знал не только Самуила Маршака, Сергея Михалкова и Агнию Барто, но и таких «взрослых» писателей, как Горбатов и Панферов!..

Тогда очень многие запоем с младых ногтей читали все подряд! Не поверите, но любую купленную в магазине книгу тогда заворачивали в бумагу и перевязывали шпагатом как ценную покупку!

— **Неужели заворачивали?!**

— Было!.. (Смеется.) Я в детстве довольно лихо заворачивал людям приобретенные ими книги.

Со чтением было сложнее. При шестерых жильцах на 12 квадратных метрах мы не могли себе позволить сколь-нибудь значительную библиотеку. Из мебели были только две кровати, диван и небольшой платяной шкаф. В шкафу хранился тюфячок, который я расстилал в ночь на полу. Диван тети Нади был также хранилищем ценных вещей для всей семьи. В его чреве среди прочего лежала небольшая коллекция книг. Тетя Надя с большим трепетом к ним относилась. Для меня всегда был праздник, когда она открывала диван и доставала оттуда какую-нибудь чудесную книгу. Например, «Малахитовую шкатулку» Бажова!.. К каждому сказу было по несколько картинок. Полноцветные иллюстрации были вырезаны, наклеены на паспарту и проложены... *(Задумывается, пытается подобрать слово.)*

— **...Папиросной бумагой?**

— Что вы! Это была какая-то удивительная полупрозрачная бумага с тисненым, сродни водяному знаку, рисунком или орнаментом... Такое величие!

Я эту книгу много раз прочитал от первой до последней строчки. Врезались в память даже выходные данные: «Государственное издательство художественной литературы. Типография Т-237». Помню, я думал: «Что же это за типография такая — “Т-237”»? Эту загадку мне удалось разрешить только в зрелом возрасте. Так обозначалась типография в Германии, которая была отдана Советскому Союзу в счет репараций по итогам Великой Отечественной войны и работала на нужды нашего Отечества.

В силу специфики службы отца учиться мне довелось в нескольких школах. Первым делом в каждом новом учебном заведении я записывался в библиотеку. Но очень скоро мне стало не хватать того, что могла предложить школьная библиотека. Уже в Свердловске я упросил отца записать меня в библиотеку окружного Дома офицеров. Его здание внушало трепет своими масштабами и красотой — башенка со шпилем, колонны, скульптура на фронтоне, — из двухэтажного деревянного барака все это представлялось реальным воплощением книжных представлений о старинных рыцарских замках. А в библиотеке свободно стояли все литературные журналы той поры, книги Ремарка и Хемингуэя, тома Фейхтвангера, Томаса и Генриха Маннов, Фенимора Купера, Джека Лондона и Вальтера Скотта. Кроме того, я был записан и в районную библиотеку...

Отец тоже любил читать. Как-то в двух вещмешках он принес гору книг, списанных из библиотеки некоей расформированной воинской части. То была литература специфического характера, но я и это читал с увлечением! Помню, как изучал труды генерал-фельдмаршала германской армии Мольтке-старшего, изданные в СССР в 1930-е годы... (Смеется.) Слава богу, мне удалось пережить период бессистемного чтения.

— **Вы были заядлым книгоглотателем!**

— Практически все мои товарищи были тоже увлечены чтением. Чтение в то время зримо, даже осязаемо, открывало нам мир, в котором мы живем. Так складывалось мировоззрение школьника в послевоенные годы, когда не было ни телевидения, ни интернета...

Тогда книги были великим счастьем! Читая, мы становились взрослее, опытнее, пусть даже теоретически... Но и на практике самостоятельности нам было не занимать. Меня уже с пятого класса одного отправляли на поезде из Свердловска на летние каникулы к бабушке в Москву. На свердловском вокзале меня сажали в вагон. В Москве — встречали... Поезд в то время шел двое суток. Нынешние дети намного инфантильнее школьников 50-х годов прошлого века!..

— **Быть может, потому, что мало читают?..**

— Вполне возможно. Когда читаешь, развиваешь мышление, фантазию, узнаешь мир с точки зрения автора, принимаешь или отвергаешь его позицию. Сначала в процессе чтения, а затем в процессе собственного бытия формируется личная позиция человека. Читая про Робинзона Крузо, маленький человек вместе с героем проживает его жизнь и получает не только навыки выживания в экстремальной ситуации, но и опыт познания, осмысления и освоения окружающего мира. Вычитанная, воспринятая из книги коллизия, проецируясь на текущие события, дает нам алгоритм наших действий!

— **Согласен. Но расскажите о ваших летних поездках в Москву в детстве.**

— На самом деле за лето я часто успевал побывать в пионерском лагере и в военном лагере, куда мы ежегодно выезжали к отцу. Там был весь набор детских летних развлечений и игр: городки, лапта, прятки, казаки-разбойники, купание в речке, сбор ягод и грибов на зиму.

А поездка в Москву — совершенно особое событие. Я ехал не просто в мегаполис, а к любимой родной бабушке (так случилось, что я не застал в живых ни одного своего деда)! Ехал в дом, где рос до второго класса. На малую родину, как бы это забавно ни звучало по отношению к Москве.

Там, в 3-м Самотечном переулке, мне все было дорого. Соседи, дворовые друзья, каждое дерево, каждый закоулок... Через два переулка от нашего дома находился театр знаменитого дрессировщика Владимира Леонидовича Дурова. В «Уголок дедушки Дурова», как его называли, детей пускали бесплатно. Моя мама тоже выросла здесь. Получалось, что бабушкина комнатка в коммунальной квартире — это не просто малая родина, а родовое гнездо, вотчина!..

Кроме того, в Москве можно было ходить по музеям, театрам, выставкам и фестивалям, смотреть и слушать знаменитостей, чьи имена со временем превратились в культурное достояние человечества. Сегодня в это трудно поверить, но даже я, мальчишка, мог за небольшие деньги попасть в Большой театр или послушать вживую выступление Святослава Рихтера. Однажды он даже выступал на летней эстраде парка имени Горького!

— **Великий Рихтер — на открытой эстраде в парке?! Вы ничего не путаете?**

— Я сидел в первых рядах и видел его так, как сейчас вас. В то время в той стране это было возможно. Я даже помню, что он исполнял Второй фортепианный концерт Брамса. Благодаря Святославу Теофиловичу во мне зародилась любовь к классической музыке... Вживую классика воспринимается вовсе не так, как в записи. Но гораздо больше меня потрясли овадии, которые благодарная публика устроила Рихтеру! Я сидел или стоял (не помню уже) совершенно оглушенный музыкой и тем, как окружающие люди реагировали на нее... Совершенно не ожидал, что существуют люди, способные воспринимать классическую музыку и мастерство исполнения так глубоко! Они понимали Рихтера и Брамса глубже и тоньше, чем я. Меня ожидала напряженная кропотливая работа над постижением пока недоступного мне мира музыки...

После аплодисментов Рихтер сыграл коду концерта. Овадия грохнула еще сильнее. Он встал на поклон, и я увидел, как с лица его капает пот — столько физических и душевных сил он вложил в этот концерт... Но зал не хотел отпустить великого музыканта. Казалось, он еще пару часов будет стоять на эстраде и кланяться, а люди продолжают аплодировать... Это тоже производило огромное впечатление.

Чтобы выйти из этого положения, администрация парка включила запись финала только что прозвучавшего концерта Брамса. Только тогда публика отпустила обессиленного музыканта со сцены. Я еще долго осмысливал увиденное и услышанное. С тех пор к классической музыке отношусь более чем серьезно...

❖ Не так давно, в год столетия отца, мне удалось побывать в Праге. Из Праги я решил съездить в Дрезден, чтобы посмотреть шедевры Дрезденской картинной галереи. Как оказалось, из всей нашей небольшой группы я был единственным, кто был знаком со всеми ее картинами!.. Собрание Дрезденской галереи я имел счастье видеть в Москве в 1956 году, когда гостил у бабушки на каникулах. В Музее изобразительных искусств имени Пушкина была выставка этих живописных сокровищ. Это было что-то невероятное! Мне пришлось выстоять многочасовую очередь, чтобы попасть на эту выставку! Для тех времен такое явление, как очередь в музей длиной почти до Боровицкой площади, — большая редкость!

Когда Красная армия в мае 1945 года вошла в Дрезден, все картины Дрезденской галереи, упакованные в ящики, были приготовлены фашистами к эвакуации и спрятаны в сыром подzemелье. В плачевном состоянии картины были вывезены в Советский Союз, 16 лет они находились в Москве. Все это время лучшие реставраторы страны кропотливо трудились над восстановлением пострадавших мировых шедевров. Когда был организован Совет экономической взаимопомощи и подписан Варшавский договор, картины было решено вернуть в ГДР.

Когда в Дрездене я сказал молодому экскурсоводу, что видел эту выставку в Москве в 1956 году, он посмотрел на меня, словно на Мафусаила... (Смеется.)

...Еще я помню, что, когда мне было пять-шесть лет, мы с бабушкой ходили на выставку подарков Сталину, сделанных народами мира к его 70-летию. Лев Толстой говорил, что помнил себя с самого рождения. А я помню себя со времен окончания войны, возвращения отца с фронта и с выставки подарков Сталину! (Смеется.)



— Получается, вы были рафинированным ребенком?! В общественном сознании укоренилось, что дети войны были в определенной степени шпаной...

— Мы тоже хулиганили. Помню, как после Нового года, когда ставшие ненужными елки уже валялись на помойках, мы взяли одну такую, привязали к ее комлю две веревки и, спрятавшись за сугробами с двух сторон дороги, издевались над подвыпившим прохожим. Он шел, качиваясь, а мы эту ель перетягивали, и она оказывалась у него на дороге. Он давай ее снова обходить, а мы опять елку сдвигаем в его сторону! Смешно было...

— Если бы все малолетние хулиганы послевоенного Советского Союза «хулиганили» подобным образом!

— Тем не менее мне за тот поступок до сих пор стыдно... Что касается моего дальнейшего соприкосновения с миром музыки, то оно вскоре получило свое продолжение. В нашей семье появилась ламповая радиолка «Ригонда». Для того времени она была «писком моды»: полированная, на фигурных «паучьих» ножках, с двумя динамиками и проигрывателем для виниловых пластинок на 33 оборота.

Я еще не был самостоятельным человеком, но кое-какие деньги иногда зарабатывал. Например, после седьмого класса мы работали в колхозе, пропальвали овощи в поле и получили там за труды — страшно подумать! — по триста рублей дореформенными сталинскими дензнаками. Редкие заработки и небольшие карманные деньги от родителей я стремился консолидировать, чтобы иметь возможность покупать книги и пластинки с записями музыкальных произведений.

Мой интерес к музыке подогревался примером отца, который, окончив консерваторию, наверняка бы стал талантливым музыкантом. Сужу это по тому, что для него не существовало музыкального инструмента, на котором он не сумел бы что-нибудь исполнить. Папа мог сыграть даже на инструменте, к которому прежде не прикасался! Этот талант меня поражал и приводил в почти священный трепет... Однажды в отпуск родителей мы всей семьей поехали на пароходе в путешествие по Каме и Волге, от Молотова (Перми) до Астрахани и обратно. У нас была отдельная каюта, а обедали мы в кают-компании на корме парохода. Там стоял небольшой кабинетный рояль. Перед каждым обедом отец садился за него и импровизировал, преображая всем известные мелодии, украшая их, соединяя друг с другом собственными пассажами, меняя темпоритм так, что они звучали совсем по-иному, чем в классической подаче. Не было никаких нот, все рождалось сию минуту, и слушатели ощущали себя причастными к чуду явления музыки...

УЧИТЕЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ ЖИТЬ В УЧЕНИКАХ

— Огромную роль в становлении моего мировоззрения также сыграли школа и учителя. Школу я оканчивал в Свердловске и по сей день благодарен судьбе за то, что мне так повезло. Средняя школа № 37 для мальчиков была уникальна! Достаточно сказать, что большинство учителей там были мужчинами. Школьное образование в СССР с 1943 по 1955 год было раздельным. До сих пор считаю, что раздельный метод обучения более органичен для человеческой природы.

Почти все наши учителя прошли фронт. Математику вел завуч Георгий Петрович Иванов. Строгий на вид, но справедливый и, как я теперь понимаю, душевно отзывчивый и добрый, с пронзительным взглядом из-под колючих бровей. Однажды в какой-то праздник мы с удивлением увидели на его потертом, но идеально отутюженном пиджаке орден Ленина. Это произвело на нас глубокое

впечатление. Орден Ленина при советской власти был высшей наградой государства. Когда кому-то присваивали звание Героя Советского Союза, всегда говорилось: «Наградить орденом Ленина и медалью “Золотая Звезда”». Заметьте, в первую очередь упоминался орден Ленина!

Воевал и учитель физкультуры Виктор Петрович Лысков — небольшого роста, но необычайно ладный и ловко сбитый. Он с подчеркнутым изяществом и легкостью показывал нам прыжки через коня, технику лыжного бега, упражнения на брусьях или стрельбу из пневматической винтовки. Был на фронте и учитель физики.

Я попал в класс, руководителем которого назначили учителя литературы Николая Владимировича Шаталова. Сказать, что он в значительной степени сформировал мои интересы, означает ничего не сказать. Удивительный был человек.

Он отличался спокойными, немного барственными манерами, неторопливой походкой. «Всякий мало-мальски уважающий себя человек никогда не торопится!» — любил повторять Шаталов. Его уроки и поныне вспоминаются как труднодостижимый образец глубины и блеска знаний, мыслей и эмоций, рожденных от общения с любимой литературой и явленных в непринужденной и доходчивой для подростков форме школьного урока. Особенно любил Николай Владимирович французскую литературу. Учитель знал о всех важнейших событиях культурной жизни Франции — он еженедельно покупал воскресный цветной выпуск газеты французских коммунистов «Юманите».

В восьмом классе у нас родилась искусно направляемая учителем идея о совместной поездке в Ленинград, пушкинский Петербург. Чтобы заработать деньги на поездку, мы, все мальчишки класса, после уроков ходили на разгрузку товарных вагонов. Поездка получилась удивительной. Северная Пальмира, одухотворенная рассказами Николая Владимировича о пушкинском, достоевском, блоковском, гоголевском, чайковском Петербурге, перемежавшимися цитированием любимых текстов, открылась нам с совершенно новой стороны.

Сегодня я гораздо глубже, чем в школьные годы, понимаю роль литературы в жизни России. Но на идею, которая освещала русскую духовную жизнь прошлых веков, впервые обратил внимание многих своих учеников именно учитель словесности Николай Владимирович Шаталов. В истории России литература служит обществу фундаментом, на основе которого русский народ создает свое Бытие.

В нашей школе преподавание русской литературы непринужденно соединялось с опытом русской национальной жизни, отраженным отечественной словесностью... Благодаря прививаемому учителем личному восприятию нам стали открываться сокровенные смыслы, за которыми таились неожиданные открытия и озарения. За время своего учительства Николай Владимирович выпустил в жизнь многих достойных людей, включая артиста Александра Демьяненко, музыканта, композитора Вадима Бибергана...

Таким образом, учитель продолжает существовать в учениках, как и родители продолжают в детях!

А МОГ СТАТЬ ХОРОШИМ СТРОПАЛЬЩИКОМ

— После получения аттестата зрелости перед вами не было сложного выбора, с какой сферой деятельности связать свою судьбу?

— С восьмого класса меня вместе с моим задушевым другом-одноклассником Володей Тороповым тянуло к занятиям «святым искусством». Мы ходили на

концерты в филармонии, театральные спектакли, несколько лет посещали занятия в бесплатном Народном университете культуры. Нас вдохновляли талантливые рассказы лекторов об искусстве, художниках, великих картинах. Мы мечтали о занятиях искусством, не строя планов типа «поступить в театральный» или «учиться в Академии художеств».

В год нашего окончания школы было объявлено о первом наборе на искусствоведческое отделение филологического факультета Уральского университета. Конечно, мы отправились подавать документы туда.

Первый набор абитуриентов на эту интереснейшую дисциплину собрал несметное количество желающих поступить. Я сдал все экзамены и был зачислен в число студентов на вечернее обучение. Дневного в то время не было.

Вечерники и заочники должны были где-то трудиться. Мы с Володей взяли пример с героев повести Анатолия Кузнецова «Продолжение легенды» о строительстве гидроэлектростанции на Ангаре и устроились разнорабочими в 33-й строительный трест. Атмосфера того времени была исполнена духом созидания, литература активно поддерживала этот настрой. Поэтому со стороны родителей, знакомых и близких мы встретили понимание нашего выбора.

Мы попали в бригаду, которая начинала возведение четырехэтажного кирпичного здания НИИ огнеупоров. На новом поприще мы сделали «маленькую карьеру»: получили квалификации каменщика-монтажника и стропальщика. В свете начавшегося в стране бума крупнопанельного домостроения эти специальности были очень востребованными. Я проработал на стройке целый год, пока не встретил на улице нашего бывшего учителя рисования.

— Ты с ума сошел?! — возмутился он, узнав, что я подался в строители. — Я в школе задыхаюсь от нагрузки! Мне давно требуется помощник! Немедленно увольняйся и переходи работать в школу!

Так я перешел в школу. В пятых классах вел уроки рисования, а в седьмых — черчение...

— У вас есть еще способности к живописи?

— Я всегда увлекался всем, что связано с творчеством. В школе я проработал полный учебный год и работал бы еще, но в один прекрасный момент мне по знакомству предложили место экскурсовода в Свердловской картинной галерее. Нужно ли говорить, что я с радостью дал согласие?! Я был не женат, жил с родителями, и зарплата в сто рублей казалась вполне достаточной.

Через полгода, в 1963 году, меня «произвели» в научные сотрудники, и я взялся за работу, которая простаивала с конца сороковых годов. Требовалось создать каталог живописи собрания Свердловской картинной галереи. Тогда она помещалась в двухэтажном купеческом доме начала XX века.

Надо сказать, что все сотрудники галереи были обязаны водить экскурсии. Некоторые не любили сей процесс и относились к нему формально. Мне же нравилось, когда безликая поначалу толпа экскурсантов вдруг начинает задавать осмысленные вопросы, оживать заинтересованными взглядами... Такой отклик на результаты твоего труда приносит глубокое моральное удовлетворение.

Между тем учеба шла своим чередом; она была выстроена настолько мудро и гармонично, что новые знания мы постигали без особых усилий.

К защите дипломной работы в вузе я завершил работу над каталогом в галерее. Он был издан в Ленинграде в издательстве «Художник РСФСР» объемом 24 печатных листа...



Выпускной, 10 «А» класс 37-й средней школы г. Свердловска. Я крайний справа в первом ряду. Третий справа — Н. В. Шаталов, учитель литературы и наш классный руководитель. Второй слева — Г. П. Иванов.



Володя Торопов, задушевный друг, будущий архитектор. Свердловск, 1960 г.



В Свердловской картинной галерее у чудесного этюда Константина Коровина. 1963 г.



Елена Ивановна Дергачева-Скоп в начале сибирского периода своей научной и педагогической деятельности. Она является одним из инициаторов археографических исследований в Сибири, в будущем профессор, доктор филологических наук, основатель научной школы и уникальной, не имеющей аналогов в мире, кафедры древних литератур и литературного источниковедения Новосибирского государственного университета.



Владимир Владимирович Кусков, профессор, ученик Н. К. Гудзия, автор вузовских учебников по древнерусской литературе.



Новосибирск, во многом благодаря многолетней археографической работе, становится городом, обладающим богатейшими коллекциями и материалами книжной культуры прошлого. Здесь найденный Апостол первопечатника Ивана Федорова, выпущенный в Львове в 1574 г.

«НЕ МОГУ УЧАСТВОВАТЬ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ ЦИРКА ШАПИТО!»

— Некоторые утверждают, что российскую высшую школу благополучно зарезали...

— Возможно. При нынешней системе обучения — галопом по Европам — будущие специалисты выносят из вуза не глубокие знания, а бумажку, именуемую дипломом! Одни делают вид, что получают высшее образование, а другие — что дают его! В итоге в проигрыше и те, и другие!

— А не драматизируете ли вы ситуацию?!

— Мне нет нужды драматизировать! У нас в стране сейчас абсолютно все делается с точки зрения личных корыстных интересов. Общественные интересы искоренены полностью. Почему сегодня выпускники школы не имеют элементарных навыков самостоятельного мышления? Они не могут решить простейшую задачу, описать в нескольких словах какой-то предмет... То, что раньше ребенок осваивал в детском саду, сегодня он делать не умеет, даже сдав ЕГЭ! Сами критерии, по которым сегодня выявляются знания, вызывают сомнения в своей объективности и адекватности.

Моя бывшая студентка, а ныне коллега по преподавательской работе, рассказала один случай. Ее сынишка пошел в первый класс. Между первым «А» и первым «Б» устроили состязание по творчеству детского писателя Николая Носова. Предметом конкурса были вовсе не затрагиваемые писателем моральные проблемы. Выиграл класс, в котором вспомнили, как звали собаку в одном из рассказов Носова... Сколько матросов было на корабле Робинзона Крузо? Какой породы была собачка Герасима из рассказа «Му-му»? Вот на какие вопросы отвечают на экзаменах современные дети!..

Таковы плоды отечественного просвещения, имеющего целью формирование — цитирую: «...не человека-творца, а грамотного потребителя» (А. А. Фурсенко, в 2004—2012 гг. министр образования и науки Российской Федерации, поныне советник президента России).

В основной своей массе современные школьники не в курсе, что зачастую литераторы влияли на ход истории. Так, Даниель Дефо «Робинзоном Крузо» в определенной степени подготовил почву для идей Великой французской революции!

В XVIII веке очень популярной в умах мыслителей и литераторов была идея так называемого естественного человека и прав, принадлежащих ему по праву рождения. Написав историю Робинзона Крузо, брошенного судьбой в первозданную природу, Дефо лишь облек эту идею в литературную форму. Далее эту идею подхватили столпы философской мысли Европы, включая Жан-Жака Руссо... Ему принадлежат слова «Человек рожден свободным». Он был убежден в том, что все люди равны, а общество подавляет это равенство, делая человека рабом своих устоев. А первый законодательный акт, принятый в эпоху Великой французской революции, назывался Декларация прав и свобод человека и гражданина! Уже в двадцатом веке была подписана Всеобщая декларация прав человека. Ее первая статья гласит: «Все люди рождаются свободными и равными в своих правах...»

Даже в России в начале XVIII века по велению Петра Великого была издана книга Самуэля фон Пуфендорфа «О должности человека и гражданина по закону естественному». Получается, что русским людям эта идея не была



безразлична! Если бы Господь отпустил Петру больше лет жизни, то мы могли бы сегодня говорить о попытке модернизации России в начале XVIII века.

— **Общепризнана не просто попытка со стороны Петра I, но сам свершившийся факт модернизации!**

— У меня на этот счет иное мнение. Система власти, управление государством, характер экономики, социальные отношения в обществе в результате петровских преобразований не менялись. Абсолютная монархия и крепостное право как были до него, так и остались. Новая, более совершенная форма экономических и общественных отношений тоже не появилась. То, что делал Петр, это была «революция сверху». До модернизации так и не дошло.

Для чего нам с вами нужна история? Для того чтобы лучше разбираться в том, что происходит сегодня. Когда в наше время только ленивый не толкует о модернизации, мне делается смешно. Ведь этот процесс должен охватывать все сферы существования общества — государственное управление, экономику, социальную сферу, политику, общественный строй... А наши современные модернизаторы имеют в виду лишь обновление машинного и компьютерного парка.

Петровские реформы служат своеобразным камертоном для определения сути происходящего сегодня. Поскольку живем тоже в особенное, драматичное время, когда одни общественные цели ушли, а другие так и не появились. Трагедия не в том, что мы отказались от построения общества всеобщего благоденствия, светлого коммунистического завтра. А в отсутствии основ, цементирующих общество. Пока их нет, ни о каких реформах и модернизации не может быть и речи.

❖ — **Выходит, в России за всю ее историю была лишь модернизация 1917 года?**

— Нет, две! Первая была начата в 988 году князем Владимиром при Крещении Руси... Тогда из практически первобытно-общинного состояния славянские племена посредством «революции сверху» были ввергнуты в феодализм. Что удивительно, все началось не с экономики, а с идеологии! И процесс не заглох с уходом из жизни его инициатора!

— **В контексте этой беседы я не могу не задать вопрос: то, что случилось с нами в 1991 году, — модернизация наоборот? И сейчас происходит углубление этой демодернизации?**

— На самом деле да. Хотя появилось больше возможностей нивелировать последствия этого процесса. Сделать его не таким катастрофичным...

— **Помнится, в перестройку деятели культуры не переставали бомбардировать разрушающуюся КПСС требованиями: «Уберите цензуру!», «Снимите идеологические шоры!», «Дайте проявиться плюрализму в творчестве!». Казалось, лишь это случится, отечественная культура «наваяет» нам столько шедевров, что представители эпохи Возрождения умрут второй раз от зависти... Цензура рухнула более тридцати лет назад! Где шедевры? Или мы «не в тренде»?**

— Чтобы ответить на этот вопрос, поразмыслим над тем, что мы называем русской классикой. Что объединяет столь разные творения, как «Капитанская дочка» Пушкина и «Герой нашего времени» Лермонтова, «Война и мир» Толстого и «Братья Карамазовы» Достоевского, «Очарованный странник» Лескова

и «Отцы и дети» Тургенева. Почему эти произведения до сих пор способны определять духовное состояние русских людей; ближние и дальние перспективы нашего общественного и личностного развития. Только с этим пониманием можно попробовать сформулировать то, что называется национальной идеей и определить историческую миссию нашего народа.

Спросите себя: «Есть ли в современной России хотя бы один писатель, ставящий своим творчеством цель стимулировать читателя к совершенствованию собственного духовного состояния?» Ответили ли мы сами себе на вопросы, которые задают не испорченные цивилизацией персонажи таитянского полотна Поля Гогена: «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем?». В действительности речь здесь идет о доказательстве принадлежности живых существ к виду *Homo sapiens*: если мы в состоянии ставить перед собой такие вопросы и искать ответы на них — значит, годны состоять в этом виде. А на нет — и суда нет, «патитесь, мирные народы...».

— Когда мы говорили об образовании, упоминались стимулы для развития любой сферы деятельности общества. Что вы можете сказать о культуре?

— Современное российское государство сумело увидеть системную ошибку советских времен в отношениях власти с творческой интеллигенцией. С позиции собственных ценностей оно сделало вывод, что усилия деятелей культуры не оплачивались (!) соразмерно их личным представлениям о своем таланте. В этом причина фрондерских настроений в культуре. Когда последний генеральный секретарь ЦК КПСС Горбачев расшатывал все, что мог расшатать, его первой поддержала именно фронда!

Вспомнить разрушительные для общественного сознания фильмы «Так жить нельзя» Говорухина, «Пирсы Валтасара» Юрия Кары или «Покаяние» Тенгиза Абуладзе... В эту же корзину ложится Юрий Поляков с ныне забытой книжкой «ЧП районного масштаба» и одноименный фильм, в котором изначальный сюжет перекроили до неузнаваемости из соображений политической конъюнктуры...

Памятуя роль творческих элит в уничтожении советского государства, нынешняя власть закармливает российских деятелей культуры вседозволенностью и финансовыми поощрениями. На них обрушивается непрекращающийся денежный ливень. Им позволено писать, ваять, снимать, говорить и показывать практически все, чего их «мятущиеся души» пожелают... Печально известный факт — активисты арт-группы «Война» стали лауреатами премии «Инновация» за 2010 год в номинации «Произведение визуального искусства». Они реально получили от государства премию 400 000 руб. за псевдотворческую акцию, название которой на бумаге воспроизвести нельзя. Кстати, кроме нецензурицины там было еще «... в плену у ФСБ».

К чему стремиться закармливаемой творческой интеллигенции, если у нее и без того все хорошо? Советские культурные шедевры рождались в условиях жестокого, а зачастую жестокого контроля со стороны государства и скупого финансирования. Фактически сила бюрократического действия рождала силу творческого противодействия...

— Однако многие выдающиеся произведения советского искусства не диссонировали с официальной идеологией!

— Согласен! Множество авторов искренне вдохновлялись коммунистической идеологией. Им была присуща вера в светлое будущее человечества, идеи



свободы, равенства, братства... Уважение к человеческой чести и достоинству. Стремление к постижению истины, четкому представлению о границах добра и зла. Советский патриотизм, наконец.

Если говорить упрощенно, то одни художники советской эпохи творили из протеста, а другие — из согласия. При этом и первые и вторые искренне вдохновлялись тем, во что верили. А откуда черпают вдохновение художники нынешние? Во что они верят? Вдохновенность художника определенными идеями должна читаться или угадываться в его работах! Вы ее видите в современных российских произведениях культуры?

Невозможно творить шедевры, веря лишь в гонорары! А творить что попало на потребу сегодняшнего дня можно!

— Получается, что коммунистическую идеологию и веру общества в нее вернуть уже нельзя... С государственной идеологией, способной овладеть умами, у нас проблемы... Откуда взяться новому Ренессансу? Вернуть цензуру?

— Возврат официальной цензуры в России станет первым шагом к самоубийству власти. И власть это понимает. Ответственному художнику вполне достаточно осмысления своих задач, возможностей и места в культурном пространстве в общем потоке движения своего народа в векторе общеизвестных, ясно сформулированных общественных целей... Когда творческий человек это осмыслит, у него появятся внутренние рамки, за которые он сам себе не позволит выйти.

Например, Герцен, издававший свой «Колокол» в Англии без всякой цензуры, вряд ли был абсолютно свободным человеком. Творческая свобода Герцена ограничивалась его же собственными идеями, вдохновлявшими Александра Ивановича на издание революционного журнала «Полярная звезда» и газеты «Колокол»...

— Если учесть, что Герцен «...развернул революционную агитацию» (цитата из В. И. Ленина) на доходы от оставшихся в России собственных имений, где трудились крепостные крестьяне, то вся его свобода и вовсе становится иллюзией! Как написал Иван Ефремов в романе «Таис Афинская», «Рабовладелец сам раб»!

— Человеческая история полна курьезов и парадоксов. Как отмечали современники, у императора Александра II на рабочем столе всегда лежал свежий номер герценовского «Колокола», который император прочитывал от доски до доски...

ТУДА, ГДЕ УПАЛ ТУНГУССКИЙ МЕТЕОРИТ...

— Вернемся к вашей биографии. Как случилось, что вас затащила тема поиска и изучения редких книг и рукописей?

— Еще в первые годы обучения в университете я благодаря блестящим лекциям Владимира Владимировича Кускова увлекся средневековым искусством. В. В. Кусков — человек очень интересной судьбы. Внук священника. К началу войны он успел окончить Московский институт филологии, литературы и искусства. Прекрасно знал немецкий язык. Воевал с 1941 по 1945 годы. Войну завершил командиром разведроты.

Я очень прикипел к нему как к преподавателю, и мы легко нашли общий язык. После окончания третьего курса Владимир Владимирович предложил мне принять участие в организуемой им археографической экспедиции в Пермскую область. Наш небольшой отряд отправился в глубинку на поиски новых памятников древнерусской книжности с целью их введения в научный и культурный оборот.

Владимир Владимирович вместе со своей аспиранткой Еленой Ивановной Дергачевой-Скоп познакомили меня с необычайным новым миром. Поиск старинных книг и рукописей начинался с розыска старообрядческих поселений, где могли сохраниться раритеты. Старообрядцы не приняли церковные реформы середины XVII века и, чтобы сохранить свою веру и свое восприятие окружающего мира, предпочли самоизоляцию. Они читали исключительно те книги, которые были переписаны или напечатаны в России до раскола. Переписывать дореформенные книги старообрядцы не прекращали никогда. С течением времени они стали находить способы издавать книги, игнорирующие «никонову справку». Старообрядческие книги, датируемые XVIII или XIX веками, как правило, издавали за рубежами Российской империи.

Особенно широко издательская деятельность старообрядцев развернулась после подписания Николаем II Манифеста 1905 года о даровании народу России демократических прав и свобод.

Многие представители старообрядчества входили в культурную и экономическую элиту России. Старообрядцы Рябушинские, братья Третьяковы, Мамонтовы, Морозовы, Солдатенковы были богатыми купцами и промышленниками! Рябушинский на собственные деньги организовал в Москве первую официальную старообрядческую типографию...

Вообще, роль старообрядцев, многие из которых к концу XIX — началу XX века стали ведущими русскими промышленниками и капиталистами, в экономическом рывке в царствование Николая II очень велика!

— Но перечисленные вами купцы жили в городах и неплохо в них себя чувствовали! А как же те, кто живут вдали от нас, грешных?

— У старообрядцев отношение к власти со времени раскола было однозначно отрицательное. Императора Петра I и всех его потомков, занимавших российский престол, они чествуют как антихристов. Такая позиция старообрядцев по отношению к светской и официальной церковной власти исторически объяснима. Один из краеугольных камней раскола — отношение верующих к своему прошлому. Мы и сегодня находимся на таком этапе истории, когда проблема отношения к прошлому определяет не только сегодняшнее бытие, но и формирует модель будущего.

Чем озаменовано наше прошлое, хотя бы ближайший нам XX век? «Только лишь африканцам нужные галоши делали» или вновь «Россию подняли на дыбы»? Совершили индустриализацию аграрной страны, побороли неграмотность, создали собственную техническую интеллигенцию, одержали победу над врагом, пред коим склонилась вся Европа, первыми вырвались в космос... Проецируя принцип старообрядческого отношения к истории на современную обстановку, сам становишься немного старообрядцем...

В Сибири нам доводилось бывать в селениях, которые уже не числились у районных властей как существующие! Когда мы спрашивали селян, которые «держались старой веры», как они умудряются выживать, те без тени сомнения отвечали, что власть им не нужна, поскольку паспортов у них нет и пенсий они





Иван Тарасович Огнев — не только страстный книголюб, но и великолепный мастер-переплетчик.



Старообрядцы из американского штата Орегон приехали в Новосибирск познакомиться с уникальным книжным собранием древнерусских рукописных и старопечатных книг.



Для старообрядца книга — надежный помощник, учитель и друг на все времена.



Новые находки археографов изучают Н. Н. Покровский, А. П. Окладников и В. Н. Алексеев.



Филимон Ермолаевич Вершинин, авторитетный знаток «книжной премудрости». Красноярский край, 1980-е гг.



Дед Иван Чашкин неразлучен с книгой. Томская обл., 1960-е гг.



Елена Ивановна Дергачева-Скоп в женском праздничном наряде «семейских» демонстрирует книжные находки. Начало 70-х гг. XX в.



Василий Ларионович Мальцев, замечательный охотник и рыбак, начитанный и азартный полемист, блистающий остроумием собеседник. Передал археографам уникальные книги и рукописи, сохраненные его отцом из библиотеки разоренного на заре советской власти старообрядческого монастыря.



Родион Мартемьянович Мальцев, старообрядческий наставник с непревзойденным авторитетом и прославленный охотник, со своим семейством. Красноярский край, 1980-е гг.



не получают... Так называемые непишущиеся старообрядцы считают, что любая запись о них в каких-то государственных документах — это уже подпадание под власть антихриста, которая, по их разумению, отсчитывается от времен Петра... Денег они тоже не признают и даже не прикасаются к ним. По их мнению, на них начертаны знаки все того же антихриста.

— Неужели подобный уклад возможен в России XXI века? Сугубо натуральным хозяйством ныне не проживешь...

— Мы спрашивали старообрядцев об этом. Однажды услышали в ответ такое: «От нас в миру живут два человека, страдают за нас, а мы молимся за спасение их душ!» Как выяснилось, эти двое, поступившись, по воле «мира», принципами «отречения от власти», состояли в некоем промысловом хозяйстве, чтобы община через них сдавала государству то, что добывалось в тайге, в основном пушнину. Взамен община, молясь за грехи своих «страдальцев», получала патроны, припасы, муку, все, что не найдешь в сибирской глуши...

Живут эти люди охотой, рыболовством, сбором дикоросов. Старообрядцы — люди работающие и все, за что берутся, делают добросовестно, надежно и в достаточном объеме.

Один из секретов выживания старообрядцев в том, что они изначально селились в глухих труднодоступных местах — таежных, предгорных и горных районах. С семидесятых годов прошлого века и до наступления нового столетия мы регулярно ездили в одно село на севере Красноярского края, от которого до ближайшего районного центра было более шестисот километров — и никаких дорог! Добраться туда можно было только по реке или по воздуху. Причем по реке навигация была возможна лишь во время весеннего паводка в мае — начале июня. Вертолетчики нас высаживали на окраине старообрядческого села, всего в 60 километрах от места падения знаменитого Тунгусского метеорита...

— Как получить у этих глубоко верующих людей их религиозные книги, если денег они не берут и все необходимое у них свое?

— Самая сложная задача — установить с этими людьми близкий доверительный контакт. В 60—70-е годы прошлого века в отечественной археографии появилось такое понятие, как «сибирская методика работы со старообрядцами».

В других регионах страны археографам приносили книги, которые давно вышли из обращения. Они были свалены в сараях и на чердаках и могли пропасть в любой момент. Их хранили лишь как память о предках или потому, что жалко выбрасывать... А тут ученые просят это принести и еще деньги платят!..

У сибирских старообрядцев книги читают, по ним поют, молятся и учат детей!.. Взять такую книгу за деньги просто невозможно.

В 1965 году во время первой сибирской экспедиции нам повезло добыть совершенно уникальные экземпляры, принадлежавшие тому самому пласту не выведенных из обращения книг. Важным оказалось осмысление результатов первой сибирской поездки, понимание необходимости накопления опыта работы в специфических условиях, чтобы все это начало давать свои плоды. Дмитрий Сергеевич Лихачев и Александр Михайлович Панченко, ознакомившись с результатами нашей работы, написали статью об «археографическом открытии» Сибири.

— И все же в чем заключается особая «сибирская методика»?

— В общении со старообрядцами мы не ставим себе задачей непременно получить книгу. Мы стремимся стать им максимально близкими людьми. Это



достигается исключительно разговорами... О чем? О собеседнике, его вере, пути его семьи в старообрядчестве, истории его рода. Главное, чтобы все перечисленное вы знали лучше и глубже его самого. Важно все: факты, уважение к этим фактам, их осмысление на более высоком уровне, нежели он себе это представляет... Тогда люди этой культуры проникаются к тебе отношением, в корне отличающимся от того, какое могло возникнуть, если бы ты заявился с кавалерийским наскоком: «Есть у вас старые книги?! Давайте их сюда!»

Мы должны проявить свое понимание того, как важна заинтересовавшая нас книга семейству, в котором она хранилась, быть может, веками. Причем с нашей стороны все должно быть совершенно откровенно, искренне и убедительно. Любую фальшь эти люди чувствуют мгновенно! Для любого старообрядческого семейства ценность и значимость «дониконовой книги» — в первую очередь духовная... Мы никогда не пытались скрывать, насколько эта книга важна для нас, науки и истории страны. Сама Россия — уникальное явление на земном шаре...

Мы на собственном опыте усвоили, что старообрядцы необычайно высоко чтят авторитет Книги. Они не только бережно хранят «древние книги», передавая их и заключенные в них мысли, чувства и знания из поколения в поколение. Но они единственные, кто продолжает от руки переписывать книги, переплетать их в надежные кожанно-деревянные переплеты, поддерживая существование своеобразных средневековых скрипториев — мануфактур по изготовлению книг. Старообрядцы сумели сохранить типично средневековые отношения человека и Книги, которые в эпоху упадка интереса к Книге оказываются очень важными.

Много лет имея дело со старообрядцами и их книгами, удивляешься, как трудно в их среде прослыть книголюбом. Крайне редко можно встретить старообрядца, у которого личных книг много. Обычно они держат у себя в доме и постоянно читают две-три, максимум — пять книг.

Всю жизнь читает пять книг — и книголюб? После беседы с таким начинаешь понимать — действительно, пожилой многомудрый собеседник с живыми глазами и такой богатой речью, которая все реже встречается в обыденной жизни: «Да какие книги? Мы малограмотные, почитываем вот Псалтирь да Евангелие, по праздникам — сборничок письменной. В нем поучения и слова из Пролога — еще от тятиного отца остался, сам его и переписывал...»

Если две-три книги могут всю жизнь духовно окормлять, то какого немислимого уровня духовности должны были достичь сегодня мы, имеющие дома сотни и сотни книг? Присматриваясь к чтению старообрядцев, начинаешь понимать, что дело не в количестве книг, а в способе чтения.

Обычно сегодня мы берем новую книгу и, «проработав» ее, ставим на полку — всю нужную информацию (в том числе и духовно-эмоциональную) мы из нее вычерпали. Неизвестно, когда и для чего снимем ее с полки снова. Возможно, лишь чтобы освободить место для другой книги, которую ждет такая же судьба.

Кто-то может возразить и привести в пример любимые книги, к которым обращается многократно. Мне кажется, такое обращение таит в себе чудом сохранившийся реликт именно средневекового отношения к Книге.

Такое отношение к Книге и чтению подразумевает не получение «новой информации», эта Книга содержит вечные, неизменяемые божественные истины, дающие истинный смысл земному человеческому существованию и приготовляющие его к вечной жизни. Это содержание твердо усваивается с первых прочтений.



Тогда в чем же *смысл чтения*, что притягивает человека к Книге и заставляет жаждать встречи с ней? Вспоминается трогательнейшая в своей наивности и потрясающая своей человечностью и твердостью сделанного выбора надпись на одной из сибирских рукописных книг: «*Доживу ли я до будущего года, буду ли читать эту книгу?*».

В данном контексте новая информация не в книге. Она — в жизни человека, в каждом прожитом им дне. Книгой с ее вечными незыблемыми истинами он измеряет каждый прожитый день, всю свою земную жизнь. Книжная «информация» становится мерилom Добра и Зла, пробным камнем Истины, индикатором духовной свободы, нравственным ориентиром человека, мерилom его личности, его действий... Все наши предки до раскола были старообрядцами. Соответственно, и мы тоже немножко старообрядцы!

Таким образом человек из священного сосуда под названием Книга извлекает Слово — ту божественную субстанцию, при помощи которой сотворен мир и все сущее. «Искони бѣ Слово, и Слово бѣ къ Богу, и Богъ бѣ — Слово...» (Евангелие от Иоанна).

Тот же порыв к самопознанию объясняет феномен обращения к давно читанным книгам. С течением времени мы меняемся, и нам подсознательно хочется определить уровень своего изменения с момента последнего прочтения той или иной книги. Тот же архетип связи человека с книгой, что так трепетно сохраняется в старообрядчестве.

— **Кстати, о каких старообрядцах мы говорим? Беспоповцах?..**

— Трепетное отношение к Книге свойственно старообрядцам всех толков и согласий. Книги для них — «суть реки, напаяюще вселеную, се суть исходища мудрости; книгам бо есть неизщетная глубина; сими бо в печали утешаеми есмы; си суть узда воздержанью...» («Повесть временных лет»).

Книга является старообрядцам в разных ипостасях: «очи духовные», «разумное видение», «податель добродетели», «услуга знания», «кормчий в путешествии по морю житейскому», «мудрый наставник». Чтение служит главным средством их духовно-нравственного совершенствования и становится непреложной частью исполнения главных христианских правил.

Книга в беспоповских, но всегда мыслящих себя в лоне Русской православной церкви старообрядческих согласиях при отсутствии священства выполняет роль духовного окормителя. В связи с этим старообрядцы уделяют особое внимание описанию самого акта чтения. Здесь они следуют традициям древнерусских книжников, известным по многочисленным «учительным» сборникам.

Например, поморский старообрядец в начале XVIII века, переписывая огромный фолиант под названием «Цветник», так излагал свой вариант известной в древнерусской книжной традиции аллегории: «Сладостен убо цветник и рай — много же сладостнее книжное почитание и разум... Рай работает временным нуждам — писания же и в зиму и в жатву растят листовие, тяжуще плоды — внимаем убо книжному прочтанию».

— **Меня всегда интересовала причина почти социалистического равенства старообрядцев...**

— После раскола лишь один иерарх открыто не поддержал реформу патриарха Никона — епископ Павел Коломенский. Он был сослан из Москвы и предан мучительной смерти... Сегодня, ориентируясь на гениальную картину нашего земляка-сибиряка Василия Сурикова «Боярыня Морозова», мы судим

об этом времени поверхностно... В действительности Феодосия Морозова и ее сестра Евдокия Урусова были заточены вначале в Чудов монастырь, а затем — в земляную тюрьму в Боровске, где их обоих уморили голодом. Протопопа Аввакума прогнали по самым немислимым ссылкам и сожгли живьем в Пустозерске...

В итоге не осталось ни единого церковного иерарха, исповедующего старую веру и могущего рукополагать в священный сан. Тем самым старообрядчество было на века лишено священства. «Равенство — братство» старообрядцев и их согласий — это иллюзия. Объединение, созданное не внутренними убеждениями, а внешними обстоятельствами, не может жить долго. Поэтому позже раскол продолжился уже в старообрядческой среде.

— Но ведь встречаются старообрядцы, у которых есть священники?

— Вы говорите о согласии беглопоповцев. Его представители скрепя сердце отправляли своих адептов в официальное православие. Те поступали в духовную семинарию и получали священнический чин. За вынужденное вероотступничество на них общиной накладывалась епитимья (наказание). По истечении ее срока они отрекались от никонианского православия и становились уже старообрядческими священниками...

— Вы упоминали фамилии известных купцов и промышленников. Но владение мануфактурами и пароходами как-то не вяжется с традиционными представлениями о старообрядчестве...

— Многие современные исследователи делают акцент на сходстве старообрядчества с протестантизмом. Можно бесконечно долго дискутировать и не соглашаться с этой точкой зрения... Могу согласиться лишь с одним: эти два религиозных течения способствовали появлению в западном и в русском мире нового типа человека. Самодостаточный предприниматель, способный собственными усилиями достичь успеха, во многих странах оказался опорой капиталистических отношений. Старообрядцы в силу жизненных обстоятельств и по сей день самодостаточны, предприимчивы и стойки в сложных жизненных ситуациях.

Начиная с XVII века российское государство преследовало их по всем возможным направлениям. Чтобы выжить и сохранить свою веру, общину, семью и самих себя, они должны были быть сильными. Это воспитывает не только индивидуальный, а массовый, национальный характер... Недаром Пушкин писал: «Самостоянье человека — залог величия его!»

Поэтому старообрядцы — люди цельной природы, умные, предприимчивые, не надеющиеся на «дядю», к тому же — отличные воины! К примеру, почти все стрельцы XVII века были старообрядцами...

Близкий и дорогой моему сердцу Родион Мартемьянович Мальцев известен в Сибири не только как авторитетный старообрядческий наставник, но и как успешный и удачливый охотник — он убил более 60 медведей! «Про меня два раза “Правда” писала, — рассказывал Родион. — Один раз наша, районная, другой раз — главная, центральная».

Родион Мартемьянович — талантливый рассказчик с яркой живой речью, слушать которого огромное удовольствие.

— Больше шестидесяти медведей я положил... Последнего своего медведя я еще не положил, ходит еще, но я его разыщу! Прошлым летом построил я в лесу новую охотничью избушку, завез припасы, а в бочку с крупой спрятал две бутылки водки. Осенью миша проломил крышу, забрался в избушку и ладно все

порушил. Бочонок с двумя бутылками укатил так, что я не смог его найти! Я с ним поквитаюсь, разыщу ворюгу — две бутылки, вишь, украл!

— Да-а... столькох медведей я положил... А знаешь, почему я это смог сделать? Каждый раз, как я целюсь в мишу, я не спускаю курок сразу, а говорю тихонько или про себя: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий! Спаси и помилуй мя!» А потом стрелю...

В свою 84-ю зиму Родион на лыжах, в добром овчинном тулупчике отправился из своей охотничьей избушки проверять поставленные на соболя капканы. Одного капкана не обнаружил — зверь сбежал вместе с капканом. Родион погнался за зверем спасать железный капкан. На первом же километре бега по целине взопрел и, чтобы быстрее и ловчее настигнуть зверя, сбросил тулупчик — «мешает, на обратном пути заберу». Настиг зверя, выручил капкан и соболя добыл.

На обратном пути на землю обрушился буран, и до тулупчика Родион добрался изрядно промерзший. Почувствовав себя худо, он вернулся в поселок, «к своим». На третий день Родион Мартемьянович скончался от воспаления легких...

Жизнь — это цепь причин и следствий. Причиной старообрядческого самостояния стала изоляция от остального российского общества, а следствием — способность находить единственно правильные решения в любых ситуациях: будь то борьба за выживание в суровой сибирской природе либо борьба за первенство в не менее суровой предпринимательской среде. Все объяснимо!

— **В восьмидесятых годах прошлого века я работал в газете «Комсомолец Киргизии». Меня всегда удивляло, что по берегам Иссык-Куля были разбросаны села с русскими названиями: Григорьевка, Покровка, Теплоключенка, Михайловка, Семеновка... Как мне объяснили позже, в свое время сюда бежали русские старообрядцы....**

— А чего вы хотите? Преследования со стороны государства старообрядцы испытывали огромные! Еще Петр I обложил их двойной подушной податью. Поэтому они бежали в края, труднодоступные для российской власти!

В бывших прибалтийских республиках СССР по сей день живут общины русских старообрядцев. На территории Королевства Польского они тоже обосновались примерно в то же время.

Как-то раз в конце 1960-х годов мы отправились в археографическую экспедицию в Бурятию, где познакомились с общиной старообрядцев, утверждавших, что они не такие, как остальные единоверцы, а «семейские»! Когда мы спрашивали: «Отчего вы называетесь “семейскими”?» — они отвечали: «Мы всегда держимся семьями, потому и “семейские”! Еще при Екатерине II, когда Польша, в которой мы жили, отошла к России, царица отправила нас жить в Забайкалье. И мы поехали сюда семьями!»

С нашей точки зрения, это утверждение не выдерживало никакой критики. В Сибирь все переселенцы ехали семьями, но «семейскими» их никто не называл. В 1772 году императрица Екатерина II, к моменту правления которой Забайкалье было присоединено к Российской империи, озаботилась освоением этих территорий русскими людьми и предложила старообрядцам переселиться сюда на правах свободных пашенных крестьян не с двойным, а с одинарным подушным налогом.

За Байкалом им выделили не самые плодородные земли. Но трудолюбие и приверженность строгим правилам сделали свое дело — скоро они добились успехов в сельском хозяйстве и стали самой зажиточной этнической группой региона.



Я с иронией относился к их утверждению, что они «семейские» от слова «семья»! В конце концов нашел одного деда, который мне сказал: «А ты знаешь, парень, мы ведь до того, как прийти сюда, жили на Сейме!» Это был момент истины...

— **На Сейме?..**

— Это левый приток Десны, впадающей в Днепр. Древнее ее название «Семь»! После переезда старообрядческой общины в Забайкалье привязка к топониму Сейм в названии «семейские» потеряла актуальность и забылась. Проще всего было привязать его к переселению семьями...

У этой группы русских старообрядцев совершенно необыкновенная культура. Их уникальная самобытность занесена ЮНЕСКО в список шедевров всемирного нематериального наследия человечества. Традиционные праздничные наряды семейских женщин напомнили мне картины Филиппа Малявина!

Повседневно они носили яркие цветастые до земли сарафаны и запоны (передник такой). Обязательной была кичка на голове, на которую наматывался огромный платок, а на груди низка янтарных бус!

Первый директор Института истории, филологии и философии Сибирского отделения Академии наук СССР Алексей Павлович Окладников радел за создание при институте как можно более разнопланового музея. Когда мы ему рассказали, что у забайкальских старообрядцев сохранились образцы одежды еще с XVII века, он загорелся идеей получить такие экспонаты в музей. Даже нашел денег на приобретение костюмов и попросил нас привезти из Забайкалья что-нибудь из старинной одежды.

Мы за бешеные по тем временам деньги (100 рублей!) купили роскошные летний и зимний женский наряды. Там была даже шуба, как ее в старину называли, «спустя рукава» — с длинейшими рукавами, которые завязывали за спиной. Знаете, зачем? (*Смеется.*) Таковую шубу надевал человек, желающий показать, что ему глубоко чужда работа руками... Еще мы купили замечательную низку янтарных «семейских» бус. В этих бусах янтарь был обработан примитивным кустарным способом, а центральный, самый большой по размеру, камень окантовывался узкой серебряной пластинкой с узором.

— **Откуда в Бурятии взяться янтарю?**

— Именно этот вопрос заставлял меня искать исторически достоверное объяснение самоназвания забайкальских старообрядцев и неперменной детали праздничного наряда их женщин. Лишь только подрастали молодые девушки, у них появлялись янтарные бусы! В общине янтари передавались в семье «из рода в род». Все связалось воедино, когда сложилась логическая связь «река Сейм — «семейские» старообрядцы — Забайкалье». Сейм близок к Балтике. Следует предположить, что предки «семейских» имели возможность запастись янтарем для украшений своих женщин.

— **Давайте вернемся к старинным книгам и рукописям. Насколько важен «книжный аспект» русской культуры востока страны?**

— «Книжное прилежание» — важнейший элемент христианства и одна из самых ярких черт русских старообрядцев. Например, в Забайкалье, наряду с интереснейшими находками русских старопечатных книг XVI—XVII веков, нам попадались маленькие (одна тридцать вторая листа) старообрядческие книги, изданные кустарным способом после 1917 года с выходными данными: «Отпечатано в типографии Забайкальца Спиридона».

— Тема старообрядчества всегда интересовала публику. Особенно в советские времена. Достаточно вспомнить ажиотаж, когда В. М. Песков в 1982 году начал публиковать в «Комсомольской правде» цикл очерков «Тажный тупик» о житье-бытье семьи отшельников Лыковых...

— Это была сенсация! Ранее в советской прессе этот пласт нашей действительности вообще не освещался. Впрочем, о Лыковых мы узнали раньше Василия Михайловича! Мы были в очередной экспедиции на севере Красноярского края и сидели в ожидании самолета в аэропорту поселка Бор. В те времена подобное ожидание могло растянуться на много дней. (Смеется.)

Там и познакомились с такими же скитальцами-ожидальцами, членами экспедиции из Сибирского НИИ геологии, геофизики и минерального сырья. Они изучали окрестности Енисея на предмет залегания полезных ископаемых. Начальник их археологической партии рассказал, что одна из экспедиций его НИИ на юге Красноярского края столкнулась с семьей старообрядцев Лыковых, в 1930-е годы скрывшихся от цивилизации в хакасской тайге.

Я эту информацию зафиксировал и по прибытии в Новосибирск стал искать сведения о старообрядцах на юге Красноярского края. Снаряжать целую экспедицию в Хакасию ради одной семьи было для нас слишком расточительно. Лимиты на подобного рода поездки на тот год были исчерпаны. Поэтому отправили на разведку к Лыковым лишь одного молодого сотрудника.

В силу понятных причин нас интересовал не их образ жизни, описанный Песковым, а их книги и книжные интересы. Отправленный сотрудник до Лыковых добраться не сумел. Попасть к ним можно было лишь с оказией, на вертолете. Зато он подробно расспросил всех, кто уже побывал в этой семье. Каких-то особо «приметных» книг в семье Карпа Осиповича Лыкова очевидцы припомнить не смогли. Поэтому мы исключили это направление из сферы нашего внимания.

— **Может быть, в силу частых встреч со старообрядческим бытом вам и вашим коллегам вся эта экзотика казалась обыденностью... Но что вас больше всего поразило в этой среде?**

— Неприятие всего, что связано с государством. Как-то в одном из районов Томской области мы пешком, практически наугад, добирались до села, которого не было на картах. По непроверенным данным, там было поселение старообрядцев.

Мы его нашли, разговорились с жителями. Они оказались «непишущими» беспаспортными старообрядцами. И я их спрашиваю:

— Как же вы так живете? Двадцатый век на дворе, вертолеты над вами летают! А в сельсовете о вашем поселке ни сном ни духом!

— Это хорошо! — отвечают. — Нам так и надо, чтоб о нас не знал никто! А вертолеты пусть себе летают!

— А если узнают? — спрашиваю. — Узнают да придут?

— Ну, если придут да начнут что-нибудь богопротивное с нами делать, так мы снимемся на другой день и уйдем! Пусть потом ищут!

Нам с вами трудно представить, что можно так «сняться» с насиженного места и уйти! Для них это в порядке вещей...

Поражает и то, что на вопрос представителя власти «Как твое имя?» они отвечали: «Раб Божий». По их убеждению, если власть от антихриста, а имя дает Бог, то зачем его выдавать антихристу?

Именно в той экспедиции мы нашли роскошную рукопись, которая произвела сенсацию в научной среде. Она сыграла важную роль в полемике между апологетами подлинности «Слова о полку Игореве» и скептиками...

— **Нельзя ли подробнее?!**

— Все учившиеся в средней школе слышали о таком шедевре древнерусской словесности, как «Слово о полку Игореве»... Это произведение впервые было опубликовано в 1800 году в Петербурге очень малым тиражом. Издал книгу на свои средства бывший обер-прокурор Святейшего синода граф Алексей Иванович Мусин-Пушкин. Как говорил сам граф, рукопись «Слова» он купил у настоятеля Спасо-Преображенского монастыря в Ярославле архимандрита Иоиля Быковского.

При московском пожаре 1812 года дом Мусина-Пушкина вместе с собранием редких книг и рукописей сгорел. Оригинал «Слова», по которому был издан текст в 1800 году, погиб в огне. Это дало повод в дальнейшем сомневаться в подлинности «Слова о полку Игореве», вернее, в датировке его написания. Скептики утверждали, что произведение написано не сразу после неудачного похода Игоря на половцев в XII веке, а в середине или конце XVIII века.

Основная масса скептиков жила и работала в Москве. Те же, кто признавал подлинность «Слова», представляли собой Петербургскую (в дальнейшем — Ленинградскую) научную школу. Москвичи полагали, что истинным автором текста является архимандрит Иоиль Быковский... «Ломание копий» по этому поводу продолжалось до конца XX века и не утихло до сих пор.

Однако вернемся к экспедиции на север Томской области. Как вы помните, в случае давления со стороны представителей власти старообрядцы были готовы уйти. На этот случай у них в лесу были предусмотрены особые схроны. Чтобы спрятанное не портилось от сырости, его паковали в деревянные бочки, которые наглухо забивались и просмаливались. Однако со временем герметичность все же нарушалась. Именно из такой отсыревшей бочки нам посчастливилось получить уникальнейшую книгу!

Это был сборник, составленный из рукописей самой различной датировки. Там были части, относящиеся к XV—XVII векам. Когда удалось раскрыть отсыревший том, перед нами предстал текст XV века, в котором прослеживалось стилистическое сходство со «Словом о полку Игореве»:

Треснуша копия харалужные,
звонят доспехи злаченя,
стучат щиты червленя,
и многа напрасно биющихся,
не токмо оружием биющихся,
но и сами о собя избивахуся
и под конскими копытами умираху.

В те времена в Новосибирске не было реставраторов, которые могли бы спасти этот сборник. Поэтому рукопись несколько лет провела в реставрационной мастерской Библиотеки имени Ленина в Москве...

Беседовал Андрей Челноков

Руслан СЕМЯШКИН

ПЕРЕЧИТЫВАЯ ЗАНОВО. АНАТОЛИЙ ИВАНОВ И ЕГО КНИГИ

Журналистом будущий большой писатель мечтал стать еще в юности, после окончания средней школы поступив на факультет журналистики Казахского государственного университета имени С. М. Кирова в Алма-Ате. Получив журналистское образование, еще до призыва в ряды Советской армии он успел поработать сотрудником сельскохозяйственного отдела, а позже — и заместителем ответственного секретаря газеты «Прииртышская правда» в Семипалатинске, пройдя профессиональную обкатку и закалку.

Презилось ли отслужившему срочную службу после окончания университета и случайно задержавшемуся в Новосибирске младшему лейтенанту запаса Анатолию Иванову, что здесь начнется его большой литературный путь, увенчанный впоследствии всесоюзной славой и признанием?

В Новосибирске Анатолию Иванову предложили работу в качестве редактора мошковской районной газеты. «...Благодарю тот день и час, — признаётся он участникам совещания по обсуждению романа “Повитель”, состоявшегося в феврале 1959 года в комиссии по русской литературе Союза писателей РСФСР, — когда дал согласие, потому что это мне, в частности для романа, дало очень и очень много. Работал в районной газете и разъезжал по колхозам. Вот тут у меня и зарождались первые замыслы, которые я попытался передать в своих рассказах».

Благодарил «тот день и час» Анатолий Степанович потому, что именно здесь, в Новосибирской области, он начал писать прозу. Большую роль в становлении литератора сыграл журнал «Сибирские огни», ставший для молодого прозаика первой журнальной редакцией, в которой его не только принимали, выслушивали, вежливо поправляли и направляли, но и разглядели в нем недоюжный талант писателя-эпика, способного на создание крупных, содержательных, глубоких и остроконфликтных полотен.

«...Любой писатель всю жизнь, которая, как правило, бывает не очень-то усыпана розами, — напишет Иванов многие годы спустя, — с нежностью вспоминает тот журнал, который опубликовал первое его произведение и тем самым благословил в тернистый, но желанный путь... Таким журналом для меня являются “Сибирские огни”».

В очерке «Родная гавань», опубликованном в мартовском номере журнала «Октябрь» за 1972 год, Анатолий Степанович писал:

Я вспоминаю сейчас, с какой бережностью и заинтересованностью в благополучном исходе дела читали тогда, в 1958 году, например, рукопись «Повители» члены редколлегии Сергей Зальгин, Виктор Лаврентьев, Афанасий Коптелов, Анатолий Никульков, главный редактор журнала



Анатолий Васильевич Высоцкий. Рукопись была несовершенна, а материал острый и, как мы говорим иногда, трудный. Шутка ли — главным персонажем произведения была фигура резко отрицательная, был образ человека мерзкого и враждебного делу нашего общества. Над таким романом редакции работать не просто, освободиться же от этого произведения было довольно легко... И все-таки поверили работники журнала в правомерность моего замысла, помогли доработать роман...

И тем помогли мне стать писателем.

Литература стала для Анатолия Степановича больше призванием, чем профессией, в которой он добился больших высот, удостоившись звания Героя Социалистического Труда, а также став лауреатом Государственных премий СССР и РСФСР имени М. Горького, премии Ленинского комсомола и Международной премии имени М. А. Шолохова в области литературы и искусства.

Первый рассказ

Сначала в 1956 году «Сибирские огни» во второй книжке журнала опубликовали небольшой рассказ Иванова «Алкины песни», позже неоднократно включавшийся во многие сборники произведений писателя. В 1964 году по этому рассказу Ивановым была написана одноименная пьеса, премьера которой состоялась в том же году в Новосибирском театре юного зрителя. Затем сюжетом этого рассказа заинтересовались в Новосибирском академическом театре оперы и балета, по предложению которого автор написал оперное либретто. Премьера оперы известного новосибирского композитора Георгия Иванова под названием «Алкина песня» состоялась в 1967 году. А уже в 1973 году Новосибирской студией телевидения по оперному спектаклю был снят телевизионный фильм...

Почему этот небольшой рассказ сразу привлек внимание режиссеров театра и телевидения? На первый взгляд, представленная в нем история обыденна и ничем особым не выделяется. Разве лишь тем, что главная героиня Алка Уралова на удивление певуча и постоянно поет грустные песни...

Если взглянуть на историю любви Алки Ураловой и Сергея Хопрова более внимательно, перед нами открывается удивительно проникновенное повествование о красивой, доброй, талантливой и работающей русской девушке. Она всем сердцем полюбила женатого парня, который старше ее на несколько лет. Несмотря на сильное ответное чувство, она не решается разбить семью, оставив малых ребятишек без отца.

«Ты будешь счастлив, Сережа, — говорит Хопрову Алка на их первой и последней встрече-свидании, состоявшейся на лесной полянке. — У тебя жена, дети... А я уеду куда-нибудь. Поздно родилась я... Опередила меня Люба...»

Рассказав Сергею о своей любви, зародившейся у нее давно, еще до женитьбы Сергея на Любе, расцеловав его «в щеки, в лоб, в губы», Алка, как бы тяжело ей ни было, убегает от него, прекрасно понимая, что рушить чужую семью она не вправе.

Так они и расстанутся, решив чувствам своим не давать волю. В конечном итоге все у героев наладится и заживут они по-прежнему, как будто и не было никакой любви между этими простыми русскими людьми, предельно искренними в своих чувствах, намерениях и делах.

«...Любовь не курево, от любви и отвыкнуть можно», — говорит в рассказе старый колхозник Максим Теремцев, дед Любы Хопровой. Только вот правда



житейская, как пишет Иванов, иная и отвыкнуть от любви практически невозможно. Лишь заглушить ее, притупить, наглухо спрятать... Пойти на этот шаг необходимо во имя человеческого долга, порядочности, ради счастья чужой семьи, ради детей, в семье этой рожденных. Разве этого мало? Писатель убежден, что аргументы, сдержавшие Алку, убедительны и поступает она верно, по-людски, как подобает человеку совестливому, живущему по писанным и неписанным законам нравственности и морали.

Перечитывая сегодня «Алкины песни», не веришь, что рассказ этот принадлежит перу Иванова. Уж больно он светлый, в нем нет душераздирающих конфликтов, людских драм, противостояния и столкновений сил добра и зла. Всех тех негативных явлений, которые писатель разбирал в своих последующих произведениях, за что подвергался критике, ставившей под сомнение необходимость столь подробного описания повсеместно встречающейся в жизни скверны.

В те годы, когда Анатолий Степанович создавал лучшие свои произведения, часто высказывались сомнения, стоило ли ему так сосредотачивать свое внимание на отрицательных моментах советской действительности? Прав ли он был, когда пристально вглядывался, например, в частнособственнические инстинкты, накрепко засевшие во многих обычных советских людях?

Не сгустил ли прозаик краски, показывая жестокость, подлость и приспособленчество? Не увлекся ли он в изображении этих проявлений?

Нет, не увлекся, да и красок, как оказалось, не сгустил. Потому и понятны его образы, особенно выпукло выписанные им в романах «Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов», всем тем, кто искренне болеет за сегодняшнюю Россию.

Стоит отметить, что современные Константины Жуковы и Серафимы Клычковы или братья Меньшиковы никогда не будут близки Марьям Вороновым и Захарам Большаковым из романа «Тени исчезают в полдень». Что может быть общего у крупного капиталиста или главы банка — и сельского труженика, врача, учителя, рабочего завода? Разве можно говорить о каком-то единстве взглядов и интересов хозяина какой-нибудь бизнес-структуры с многомиллионными доходами и его наемного работника, работающего за 30—40 тысяч рублей в месяц? Ответ очевиден.

Вот тут и начинаешь проводить параллели с отрицательными персонажами Иванова, жившими в совершенно иных общественно-политических условиях, но грезившими о том же. О богатстве, собственности, власти над простыми людьми и возможности задарма использовать их труд. Неужели не прав был писатель, когда начал высвечивать эту тему уже в первом своем романе «Повитель», увидевшем свет в «Сибирских огнях» 65 лет тому назад? Только в то время такие частнособственнические «рецидивы» воспринимались как пережитки прошлого. В наше время о больших деньгах, ставших символом успешности и влиятельности, грезят многие россияне. Другое дело, что чаще всего это достигается за счет труда других, как им кажется, менее успешных и талантливых, не сумевших себя реализовать в условиях рыночной действительности.

Первый роман

О том, как создавался его первый роман, годы спустя Иванов расскажет так:

«Сибирские огни» — колыбель многих наших писателей, и я своим литературным рождением обязан этому превосходному журналу. Первый успех открыл меня, и я принялся работать над произведением, в котором



мне хотелось показать, как человек преодолевает растлевающее влияние собственничества, то есть продолжить на своем сибирском материале раскрытие темы, которой столько внимания уделил в свое время Максим Горький. Главная художественная идея произведения, названного «Повитель», заключалась в том, чтобы показать, как время изменяет людей. Сначала сюжет «Повители», конечно, в самых общих и схематических чертах, был изложен в рассказе, который я понес в «Сибирские огни». Разговоры в редакции убедили меня в том, что за пределами рассказа остались мои знания изображаемых людей, того, что сделало героев такими, какими я их написал. Чем больше я размышлял на эту тему, тем яснее мне становилась необходимость раздвинуть временные рамки произведения, увеличить количество сцен, а также картин и персонажей. Углубленная работа над обрисовкой характеров привела меня в конце концов к романной форме.

Я хотел добиться того, чтобы мои герои были увидены читателями во всей своей жизненной яркости.

После выхода из печати первого романа, принесшего молодому писателю всесоюзную известность, Иванов, приглашенный в «Сибирские огни» на должность заместителя главного редактора, отвечая на вопросы читателей, писал:

В романе «Повитель» я попытался ответить прежде всего себе, что же происходит в нашем новом, социалистическом обществе с людьми — последними могоканами старого мира, насквозь пораженными неумной жадной частной собственностью. Люди эти (в романе — Григорий Бородин) порой знают и любят землю, умеют работать и, пойми они смысл революции и времени, много полезного смогли бы сделать для общества, а значит, и для себя. Но в том-то и дело, что многие, очень многие из подобных людей не в состоянии увидеть этот великий смысл и, пораженные своей неизлечимой болезнью, задыхаются в ненависти к новому времени, к новому обществу, доходят в своих поступках до маразма и в конце концов как личности умирают, погибают. В этом отношении время, общественные процессы — вещи жестокие, неумолимые: тот, кто не понимает, не в состоянии понять и принять прогрессивных идей, революционного хода истории, неизбежно гибнет.

Остроты у этого писательского посыла в наши дни поубавилось. Тем не менее нельзя утверждать, что частнособственнический зуд, зачастую перетекающий в откровенную одержимость и даже в паранойю, не несет серьезных угроз для современного общества. Несет, причем такие, последствия которых преодолеть будет сложно, болезненно и затратно.

Советский писатель Иванов, когда писал о современности и недалеком прошлом, заглядывать в далекое будущее не мог. Поэтому и творчество свое рассматривал с позиций времени, ему хорошо знакомого, им постоянно изучаемого и подвергаемого глубокому анализу. Однако сегодня, по прошествии 65 лет после выхода в свет его первого романа, 60 лет со времени опубликования опять же в «Сибирских огнях» романа «Тени исчезают в полдень» и почти полувека, минувшего с момента, когда к читателям пришел «Вечный зов», становится понятно, что провидческого дара Анатолий Степанович лишен не был.

Не просто так заглядывал писатель в даль будущих десятилетий. Слишком много мерзостей старого, вроде бы отжившего мира, разлагавших, сковывавших развитие и стремление к созидательной человеческой жизни, он повидал и описал в своих эпических произведениях. Знал он и о современных ему ненавистниках советской власти, грезивших о частнособственнических ценностях. Вот только эти

либеральные ценности, прикрываемые якобы подлинной демократией, на поверку оказались антиценностями. Их успешно использовали для разрушения огромной державы, которую уважали во всем мире и которая могла дать отпор любому противнику. Целясь в СССР, эти некогда прикормленные советской властью деятели, по сути, стреляли в Россию.

Всесоюзное признание

Когда журнал «Сибирские огни» опубликовал «Повитель», авторитетный критик того времени А. Макаров напечатал в журнале «Знамя» обширную статью, в которой квалифицировал роман молодого писателя как «необычный в современной литературе».

Подобная оценка не была преувеличением. «Повитель» действительно стала для советской литературы большим, неожиданным и знаковым событием. Посему резонным продолжением разбора этого романа, начатого критиками, стало его обсуждение в феврале 1959 года в комиссии по русской литературе Союза писателей РСФСР под председательством секретаря правления СП РСФСР Сергея Баруздина. Об этом было рассказано в том же году на страницах майского номера журнала «Сибирские огни».

Анализируя роман, известный советский писатель Дмитрий Нагишкин проводил аналогии между Григорием Бородиным и другими известными литературными героями, такими как Григорий Мелехов из «Тихого Дона» Михаила Шолохова и Петр Сторожев из романа «Одиночество» Николая Вирты, вспоминал книгу «Ненависть» Ивана Шухова. Он подчеркивал, что Иванов «...не только показал попытку этих людей перекраситься, временно притаяться и вроде как изнутри взорвать советскую власть»:

Я внимательно слушал выступление А. Иванова и обратил внимание на то, что он произнес слово «противоречие». Это возбуждает серьезное внимание и интерес к личности автора, к его методу работы и осмыслению жизненных явлений.

Есть ли в нашем обществе противоречия? Сейчас в этом сомнений быть не может. Противоречия есть, они антагонистические, как говорится, но довольно-таки неприятные.

Могут сказать, что эта книга характеризует уже пройденный этап, что таких Григориев Бородиных сейчас нет. Но если их и нет в таком виде, налицо остается серьезное противоречие между личной собственностью и собственностью общественной. Это противоречие не снято, как не снято и другое противоречие: факт имущественного неравенства. Оно не имеет прежней основы, против которой в свое время прозвучал залп «Авроры», но налицо противоречие между людьми, находящимися в менее и более обеспеченном положении... С другой стороны, имеются в нашей социалистической стране такие рабочие и служащие, которые хотят работать поменьше и получать побольше...

Я говорю об этом потому, что корни бородинщины есть у нас и сейчас, и с этой точки зрения книга А. Иванова «Повитель» делает доброе, полезное дело. Правда, она не из «мягких» книг, которые закрываешь с улыбкой удовлетворения и чувствуешь «благорастворение воздухов и плодов земли»...

Эта книга жестокая, даже злая, но она является серьезным оружием советского писателя в борьбе против буржуазного сознания людей в нашей стране.





Стоит согласиться с тем, что «Повитель» — жестокая книга. Но и последующие произведения Иванова «мягкими», бесконфликтными, наполненными только светлыми и радостными сценами никак не назовешь. Скорее наоборот. В общеизвестных экранизациях романов «Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов», снятых Валерием Усковым и Владимиром Краснополским, столько разноликого зла и человеческих драм, что в пору говорить о том, что книги эти тяжеловесны, пессимистичны и знакомиться с ними следует аккуратно, дабы не вовлечься в описываемую в них негативную стихию.

«Тени исчезают в полдень»

Шестьдесят лет назад к читателям пришел второй роман писателя «Тени исчезают в полдень», почти сразу после опубликования признанный крупным достижением отечественной литературы.

Вот как впоследствии писал о нем Анатолий Степанович:

Для своего нового романа «Тени исчезают в полдень» я избрал эпиграфом народную поговорку: «Оттого молодец с лошади свалился, что мать криво посадила». Иногда пишут, что этот роман направлен против сектантов, ведущих свою подлую подрывную работу. Конечно, в нем есть мотивы, которые могут быть таким образом истолкованы. Но на самом деле больше всего меня интересовал человек, сложность его духовной структуры. В романе много тяжелых, даже мрачных страниц. Я ничего не хотел скрывать от читателя — правда должна была предстать во всей своей обнаженности. <...>

Роман «Тени исчезают в полдень», созданию которого посвятил семь лет жизни, я закончил эпилогом, воспроизводящим шествие весны по земле. Я мечтал о том, чтобы читатель, узнав о жестокостях и всяческих трудных, иногда даже неприглядных делах, увидел красоту жизни, ее неисчерпаемую поэзию. «А весной даже небольшие реки текут стремительно и бурливо, разбивая об утесы и каменные берега, перемальвая в водоворотах все, что туда попадает... Время тоже течет, как река, тоже перемальвает и выбрасывает на берег всякое гнилье и мусор. И воздух год от года становится свежее, а земля — чище...»

«Тени исчезают в полдень» — роман эпический, и показанные в нем проблемы приобрели куда более масштабный характер, нежели в «Повители». Важно подчеркнуть и то, что этот роман полновесный, изобилует смелыми и сложными поворотами как в освещении жизненных ситуаций, так и в показе противоречивых характеров персонажей романа, надолго запоминающихся тому, кто хоть однажды его прочитал.

«Мне хотелось проследить, — раскрывал замысел своего произведения автор, — как трансформируется классовый враг в условиях современного социалистического общества. Религиозная же среда — это та среда, в которой, как мне кажется, моим отрицательным героям было бы легче укрыться и удобнее всего действовать. Разумеется, сами они не верят в бога... Я убежден, что Пистимея в романе как раз такая, какой была задумана, то есть неверующая. Ее даже нельзя отнести к сомневающимся. С ранней юности ей ясно, что бога нет... Революция разрушает ее мечты, лишает баснословного состояния. Воля, ум, все помыслы Серафимы теперь направлены на одно — схоронить ненавистную ей народную власть, а если сокрушить не удастся, то, по крайней мере, мстить, сеять зло среди тех, кто эту власть поддерживает».



Сознательные враги, вынашивавшие планы по развалу огромной державы, говорил в романе писатель, у советской власти были всегда. Все они Ивановым нарисованы не просто правдиво, а предельно убедительно. Как заявлял сам писатель, еще очень рано говорить о том, что внутренних, скрытых врагов в государстве нет. Но и пасовать перед ними также не следовало. Наверное, поэтому он вкладывает в уста председателя колхоза «Рассвет» Захара Большакова такие слова:

Я так мир понимаю. <...> Мироедов мы придавили намертво. А те из них, которые сумели уволочь переломанные ноги, забились в самые темные и узкие щели и уж не осмелились оттуда выползти. Большинство из них подохло там без воздуха, от тесноты да собственной обиды. А может, кто и по сей день жив. Живет, как сверчок, да исходит гнилым скрипом в иссохший кулачок. Все ждет — не наступит ли его время, все надеется...

Эти слова Большаков, как четко указывает в романе автор, произносит в начале июня 1960 года. Выходит, и тогда «сверчки, исходившие гнилым скрипом» продолжали жить, злорадствовать, по возможности вредить и ждать. Не дождавшись и уйдя в мир иной, они передали «эстафету» своим последователям, которые смогли упиться поражением Советского Союза и России.

Посему и видим мы сегодня новых отщепенцев, готовых торговать интересами страны, живущих в очередном ожидании возвращения в незабываемые для них постсоветские времена, когда в раздираемой социальными конфликтами и противоречиями России им жилось богато и весело. Милый их подлым душонкам Запад, где они обзавелись роскошными виллами, особняками, яхтами и другим имуществом, еще не был для них закрыт...

Представляя отрицательных персонажей, Иванов стремился донести до широких масс мысль о том, что зло чрезвычайно живуче и обладает феноменальным даром маскироваться, принимая личины обычных добрых людей. Поэтому такие страшные фигуры, как Константин-Устин и Серафима-Пистимея Морозовы, Тарас-Илья Юргин, Демид Меньшиков стали в нашей литературе нарицательными.

Всегда помнивший «о своей усадьбе над Волгой, о добротных амбарах, доверху засыпанных тяжелой холодной пшеницей», Костя Жуков, устав отсиживаться вдали от людей, убив в дороге переселенцев и воспользовавшись их документами, становится Устином Морозовым, Серафима Клычкова — его женой Пистимеей, а находившийся всегда при них Тарас Звягин — Ильей Юргиним. Тогда-то, с середины 1928 года, этот злодей и начинает осуществлять в далекой деревне Зеленый Дол леденящую кровь задачу, которую перед ним поставил бывший местный богатей и бандит Демид Меньшиков. Нелишне и нам поразмышлять над ней.

— ...Значит, живя там, и будешь Захарке Большакову свеженькой соли под хвост ежедневно подсыпать, — говорил Демид, отставляя на траву жестяную кружку. — Я не хочу, чтоб он сразу подох, как Марья Воронова. Не-ет... Это просто повезло Марье благодаря моей молодости. Неопытный я был. Сейчас — не-ет... Пусть он всю жизнь стонет и корчится от боли, как та сельсоветовская дочка на горячих углях. Он будет выползать с горячей сковородки, а ты его обратно. И пусть он хотя и безбожник, а взмолится богу о ниспослании ему скорой смерти. А смерти не будет. Действовать будешь не самолично, а через Фролку



Курганова. Есть там такой... Я тебе скажу, как ключи к нему подобрать. Будет как шелковый, как выезженный бык. <...> И еще — Наталья там Меньшикова есть. Моя сродственница. К этой и ключа не надо. По обязанности должна везти в паре с Фролом... В общем, все это и будет теперь твое главное дело...

<...> — Инструкции даешь? — вскипел неожиданно Костя. — А на черта мне твои инструкции! Смех душить? Жизнь отравлять? А я убивать хочу! Жечь, резать, крошить, в порошок растирать! Хочу их на горячие угли швырять, как...

— Ты убивать и будешь... Чего раскричался?! Убивать по-разному ведь можно. Присмотришься, кто там, в деревне, будет рядом с тобой... Не все ведь в рот Захарке Большакову глядят, я думаю. Так вот, надо таких... своей лапой... потихоньку накрывать. Сперва потихоньку, а потом все крепче и крепче. Кого накроешь, тот уж, считай, мертвый... для Захара.

Такая вот философия. Жуткая, иезуитская, свирепая и не оставляющая ее носителям даже мысли о том, что жить на родной земле следует мирно, созидательно, честно, ставя во главе всех житейских процессов каждодневный труд во благо родины, народа, семьи и самого себя.

Умело притаившись, выдавая себя за колхозного активиста, Устин Морозов вредил советской власти и народу три десятилетия. Вместе с ним отравляла души людям его жена Пистимея, мрачная особа, прикидывавшаяся набожной христианкой. Пытались они погубить и собственных детей, желая сделать из них верных последователей старого мира. К счастью, осуществить это им не удалось. Дети Устина и Пистимеи, в первую очередь сын Федор, вырастут нормальными советскими, патриотично настроенными людьми. Наследие кровавых родителей, живших мстостью за то, чего они лишились в годы Октябрьской революции и грезивших о возвращении старых порядков, обошло их стороной.

Коли речь зашла о Федоре Морозове, нельзя не вспомнить сюжетную линию, связанную с ним, отважным красноармейским разведчиком, и его отцом-предателем, раскрывшимся сыну во всем своем страшном обличье в одном из подвалов небольшого городка в зоне боевых действий.

Эпизод, в котором Устин Морозов, в годы Великой Отечественной войны ставший немецким старостой, убивает в Усть-Каменке своего сына, всегда производил на автора этих строк сильное впечатление. Дело тут не в сентиментальной семейной драме. Суть в противостоянии между отцом, представлявшим отживший, но продолжавший биться в конвульсиях старый мир, и сыном, с детских лет впитавшим в себя преданность советской власти.

В чем квинтэссенция этого драматичного конфликта? Федор Морозов с детства рос непокорным не потому, что был сложным неуживчивым ребенком. Наоборот, он описан обычным деревенским работящим мальчишкой, почувствовавшим ложь, жившую в его семье. Каким-то особым чутьем он догадывался, что на людях отец с матерью одни, а дома совсем другие. Да и покоряться чуждым ему требованиям отца мальчик, стремившийся к знаниям, к свету, к обществу, не хотел.

Встреча с мерзавцем-отцом на войне произойдет для него неожиданно. После того как он услышит страшные для него слова, что отец служит немцам старостой, он попытается его задушить. Перечитывая эту главу, не перестаешь удивляться мастерству Иванова. Насколько точно он подобрал каждое слово, чтобы показать чудовищный накал этого психологического поединка, из которого



Федор, несмотря на то что лишается жизни от руки негодяя-отца, выходит победителем. При этом следует не забывать о политической и моральной подоплеке, которая вкладывалась писателем в этот сюжет.

Приведу в этой связи выдержку из романа, в которой слабый, не восстановившийся после тяжелого ранения Федор смело и бескомпромиссно бросает отцу свое, почитай народное обвинение:

— И, наконец, третье, последнее, — чуть потише сказал Федор. — Не упомнишь, говоришь, всех своих кровавых дел? Ничего, дорогой мой отец, люди-то не забудут. <...> И что был такой немецкий староста в Усть-Каменке — Сидор Фомичев, он же кулак Жуков, он же зеленодольский колхозник Устин Морозов... И не помогут тебе никакие самые надежные документы, с самыми что ни на есть настоящими печатями, хотя бы ты заплатил за них втрое, в десять раз больше той цены, по которой тут живые боги продаются...

— Откуда им, людям-то, обо всем узнать? — с улыбкой спросил вдруг Устин. — Ты, что ли, расскажешь?

— Не-ет, я молчать буду, — облил Федор отца с ног до головы, как кипятком, насмешкой. — Видишь, я умоляю тебя, на колени становлюсь: язык проглочу, только пощади, не убивай...

— Что же, ничего не скажу, смелый... — Устин еще более сузил веки.

— Лизать вонючие немецкие лапы не приучен, верно.

— Я русский все-таки.

— Ты-то?!

И в этом коротком возгласе Федора было столько презрения и ненависти, что узкие, как щелочки, глаза Устина захлопнулись совсем. И, не раскрывая их, он вдруг ткнул большим, тяжелым кулаком в голову сына. Удар был вроде несильный. Но Федор, даже не вскрикнув, свалился мешком с кровати.

Устин рывком выдернул из кармана пистолет. Выстрелил раз, другой, третий...

Потом открыл глаза, тупо глядел, как растут, расплываются темные пятна на груди сына, как набухает кровью повязка на его голове.

Таким образом, всего лишь коротким возгласом удивления и недоумения на слова Устина о том, что он «русский все-таки», Федор психологически добивает морального уroda, приходившегося ему отцом. Воспаленное сознание освирепевшего Морозова не выдерживает... Но ведь и тут Иванов выступал со свойственным его письму холодновато-рассудочным заключением: не имели морального права, говорил нам тогда еще достаточно молодой писатель-коммунист, эти приспособленцы и предатели своего народа называть себя русскими. Какие же вы русские, если пошли в услужение к врагу, пришедшему поработить родную землю? За какую такую «правду» служили душегубы Морозовы, Фомичевы, Жуковы и другие отщепенцы гитлеровцам? За возможность во время всенародного горя сытно жрать и за призрачную иллюзию, что немцы вернут им их богатства и собственность?!

Анатолий Иванов был неколебимо убежден, что у предательства родины и народа, как у гнусного, омерзительного антисоциального явления, не может быть никакого оправдания и вердикт в таких случаях должен быть самым суровым.

Через многие тяжелые испытания проводит писатель в этом романе своих героев. Все они выписаны им правдоподобно, где-то чрезмерно сурово, но в целом весьма лаконично, реалистично и, безусловно, высокохудожественно.



Добро в романе, как образ собирательный, с большим трудом и с неизбежными потерями все же побеждает. Мирная жизнь зеленодольцев с каждым годом идет в гору. В финале главный герой романа, постаревший председатель колхоза Захар Большаков, как-то сказавший редактору районной газеты Смирнову, что не в раю мы живем, а на грешной земле, подводит итоги своей жизни. Он смотрит с Марьиного утеса, названного в честь зверски убитой братьями Меньшиковыми первой председательницы деревенской коммуны Марьи Вороновой, на медленно, но неостановимо изменяющуюся родную деревню, и сердце его наполняется гордостью за односельчан, за их великий неприметный труд, за их кровное родство с землей-кормилицей, за их верность большой сибирской земле и всей необъятной России. Это ли не счастье — жить вместе с родной землей единой, неразрывной жизнью? Конечно же, счастье, отвечает нам писатель, большое, светлое, человеческое. Но так уж в жизни заведено, что за него требуется бороться...

«Вечный зов»

По устоявшемуся мнению как рядовых читателей, так и профессионально-литературного сообщества, вершиной творчества Анатолия Иванова является его бессмертный роман-эпопея «Вечный зов».

«В настоящее время я работаю над романом “Вечный зов”, — писал Иванов в 1974 году в статье “Характер в романе”. — Действие его начинается в начале столетия и охватывает период до начала 60-х годов. Среди действующих лиц произведения — крестьяне и рабочие, подпольщики и чекисты, партийные работники, бойцы и командиры Красной Армии. Главное, что меня интересует, — становление и возмужание человека, история сибирских крестьян, нелегкие, полные драматизма судьбы трех братьев — Антона, Федора и Ивана. “Вечный зов” — название аллегорическое. Один из моих героев говорит, что человек рано или поздно начинает задумываться над сутью и смыслом бытия, жизнью окружающих его людей, общества и над своими собственными делами и поступками. Это его заставляет делать властный зов жизни, вечное стремление найти среди людей свое, человеческое место. Мне хотелось показать, как человек становится гражданином, а потом и бойцом за справедливость, за человеческое достоинство и за человеческую радость. Собственно, в этом — гражданственном становлении человека — и видят мои герои вечный зов никогда не прекращающейся жизни. Мне хотелось высказать свою концепцию развития человеческого характера, упрямо преодолевающего препятствия, возникающие на пути. Первая книга была отмечена в 1971 году Государственной премией РСФСР имени Горького. Сейчас я деятельно работаю над второй, завершающей книгой.

Люблю острые сюжеты. И не только потому, что они вызывают читательский интерес. Все дело в том, что именно в пору, когда человек разрубает запутанные узлы, полнее всего проявляется его характер».

Есть в «Вечном зове» один значительный, берущий за живое эпизод — диалог между двумя исконно русскими людьми, старым председателем колхоза Панкратом Назаровым и секретарем райкома партии Поликарпом Кружилиным:

- Немец снова, значит, на Киев прет? — неожиданно спросил Назаров, все глядя в окно.
- На Киев, — коротко откликнулся Кружилин, думая еще о своем.



— Да-а... Никогда я не был в этом Киеве, — заговорил почему-то Назаров. — Вот по истории учат детишек — в Киеве Русь зачиналась, а?

— Да... там, — сказал Кружилин, не понимая, зачем Назаров заговорил об этом.

— Так, может, немцы и вдолбили себе — там зачиналась, там и кончится? Потому так и лезут в какой раз на этот город?

Такая мысль самому Кружилину никогда в голову не приходила. И он поразился тому, что сказал Назаров: ведь вполне могла эта бредовая идея гвоздем сидеть в башке какого-нибудь фашистского идеолога или теоретика! Вполне. Они, немцы, любят всякие символы. И он сказал:

— Может быть...

— Только Русь-то сейчас — она вон какая! — продолжал Назаров. — И тут у нас Русь, в соседнем с нами Казахстане, в Грузии, в Армении. Во всех республиках в смысле, да?

— В этом смысле — да.

— В Громотуху вон Громотушка впадает, другие многие речки и ручейки вливаются. Потому она и не мелеет. И в тебе она, и во мне — Русь. В украинцах, татарах, во всех... разве же все это может кончиться?..

Как же надо любить нашу неоглядную Родину, Россию, Советский Союз, чтобы вложить в уста этих положительных, полюбившихся читателю, глубинных, настоящих русских героев-сибиряков, олицетворявших Русь и ее духовное величие, такие проникновенные слова? Когда перелистываешь страницы произведений Иванова, не покидает чувство несказанной любви, питавшей сердце и разум писателя. Их хочется перечитывать, потому что они наполнены великой, трагичной и жизнеутверждающей правдой о жизни России на протяжении семи десятилетий. Эти годы были судьбоносными, созидательными, горестными и радостными, устремленными ввысь и оставили неизгладимый след в истории Отечества.

«Вечный зов» — полотно необычайно пестрое, многоплановое, по-настоящему глубокое, с серьезными философскими обобщениями и, что самое главное, не растерявшее своей актуальности и злободневности сейчас. Посему остановлюсь только на двух крайне важных эпизодах романа.

Есть в «Вечном зове» страшная, но поучительная история, живо перекликающаяся с нашей действительностью, в которой Россия вынуждена вести борьбу с украинским национализмом и откровенным, сбросившим с себя маску нацизмом. В СССР было не принято вести об украинском национализме и коллаборационизме не то что серьезные дискуссии, но и безобидные разговоры. Эту тему замалчивали. Поэтому введение Ивановым в роман украинского националиста и фашистского агента Валентика и целой сюжетной линии, раскрывающей правду о том, что вытворяли эти нелюди на Западной Украине, — гражданский подвиг, достойный уважения.

От рук бандеровцев жуткой смертью в книге гибнет Яков Алейников, человек честный, убежденный, но слишком прямолинейный. Начальник районного управления НКВД в Шантаре не сумел разобраться в людях и допустил массу ошибок, в результате которых пострадали достойные люди. Например, такие как Данила Кошкин, с которым Алейникову придется встретиться на фронте.

Встреча же Алейникова с Валентиком произойдет под одним из горных хуторов в Северной Буковине в конце сентября 1944 года. Якову удастся осуществить дерзкий план и нанести бандитам большие потери. Но враг окажется сильнее. Оказавшись в бандеровском плену, сотрудник НКВД ведет свой последний в жизни разговор с ненавистным Валентиком. Сцена гибели Якова



Алейникова Ивановым написана не просто мастерски, а с какой-то обнаженной правдивостью, показывающей масштабность личности Якова и всю ту гнусность, мерзость, кровожадность и бесчеловечность, которые были присущи бандеровщине. К слову, все эти характеристики свойственны этим неонацистским выродкам и сейчас.

Даже зная о немыслимых изуверствах бандеровцев, он не догадывался, не мог предположить, какая страшная казнь его ждет. <...>

— Страшной смертью умрешь, Яков Николаевич. Мы тебя пилой распилим. Как бревно, на несколько частей.

Алейников, привязанный к козлам, лежал и смотрел вверх, на прозрачное осеннее небо, в котором не было ни одного облачка. Лишь на бледных от потери крови, похудевших щеках да на морщинистом лбу проступила крупная испарина. <...>

— Герой ты, чего тут обсуждать. Перехитрил меня. Выманил мой отряд из гор. С собой пожертвовал, а отряд мой перебил... Герой, за это и казним тебя принародно. Чтоб знали, что мы живые и снова соберем армию для освобождения от большевизма многострадальной Украины. И вечно мы... и наши идеи будут жить. А ты подохнешь. Мы всех, кто против нас, жестоко уничтожим! Жестоко и безжалостно! <...>

— Отряд? Идеи? — пошевелил Алейников сухими губами, взглянул на Валентика. — Банда у тебя была, а не отряд. А ваши идеи...

За забором, на улице, уже слышалась суматоха, голоса — туда сгоняли народ.

— Вы пытаетесь запугать людей, — Алейников еле заметно кивнул в сторону ворот, — с помощью страха и ужаса вдолбить людям хотите свои идеи. И сами понимаете, что это бесполезно, ничего вам не удастся...

— Это твой ответ, значит?

— Я всю жизнь боролся против таких, как ты, Валентик. И уничтожил их немало.

— Слышал я от Лахновского — и своих неплохо давил, — едко произнес Валентик.

— Что ж, случилось и такое. По ошибке.

— Легко как! Ошибался, а теперь осознал...

— Не легко, — возразил Алейников. — Тяжелее это, чем твою казнь принять... И понял я наконец-то многое.

— Что ж именно? — все так же насмешливо спросил Валентик.

— Один умный человек мне объяснил когда-то, что добро и зло извечно стоят друг против друга. Это великое противостояние, говорил он. И между светом и тьмой, истиной и несправедливостью, добром и злом идет постоянная борьба — страшная, беспощадная, безжалостная... Не очень как-то тогда и дошли до меня эти слова. Обычная и общая, мол, философия. Но постепенно стал понимать и понял в конце концов — не обычная и не общая... Словно прозрел я и увидел — борьба эта между добром и злом идет постоянно и во всех формах, большей частью скрытых. А с лета сорок первого началось в открытую, врукопашную... Началась война не простая. Не просто очередная война. Не просто одна фашистская Германия воюет с нами. Все мировые силы зла и тьмы решили, что пришел их час, и бросили в бой... обрушили на нас всю свою мощь... И ты, Валентик, один из зловещих солдат этой злобной и мрачной силы... Но рано или поздно всей вашей силе... всем вам придет конец... Придет конец! <...>

Яков Алейников, оказывается, думал не о казни. Он думал о своем...



Вот оно величие советского человека, коммуниста, офицера, мужественно принимающего страшную мученическую смерть и отвергающего предложение о даровании жизни в качестве дешевой подачки за предательство собственных убеждений, родины и народа. Вот она смерть, дарующая бессмертье. Алейников думает не о спасении, не о муках, ожидающих его через считанные минуты, а об ошибках, которые допустил...

Ключевыми в этом диалоге предстают слова о никогда не прекращающейся борьбе добра и зла. Неужели эта мысль писателя, озвученная одним из самых ярких героев эпопеи Яковом Алейниковым, сыгранным замечательным русским актером новосибирцем Владленом Бирюковым в телесериале, в наши дни потеряла актуальность? Может, не все «мировые силы зла и тьмы решили, что пришел их час, и бросили в бой... обрушили на нас всю свою мощь...»? Анатолий Иванов показал себя прекрасным диалектиком и подвергал анализу как происходившее рядом, так и события в стране и мире. При этом он отвергал поверхностный подход, презирал мелкотравчатость, всеядность, крикливость, отвергал поспешность суждений и одержимость в их отстаивании. Суетливость, самонадеянность, заносчивость в делах и творчестве, по его убеждению, могли лишь навредить.

Как повествуют произведения писателя и в особенности роман «Вечный зов», борьба не бывает бескровной. Некоторые критики в былые годы полагали, что страницы его эпопеи перенасыщены кровавыми сценами. Но мог ли Иванов писать свой шедевр иначе? И да и нет.

Анатолий Иванов принадлежал к числу наиболее жестких, предельно правдивых советских прозаиков, ставивших перед собой непростую задачу по отображению самых сложных жизненных явлений. Донести их до читателя, по его мнению, было критически важно. Советские люди второй половины XX века жили спокойной размеренной жизнью, с каждым годом все более резко отличавшейся от реалий довоенного, военного и послевоенного времени, описанию чего писатель и посвятил свои произведения.

Ключевой сценой эпопеи является продолжительный диалог между бывшим следователем царской охранки, а в годы Великой Отечественной войны офицером абвера Арнольдом Лахновским — самой зловецей фигурой в романе — и его бывшим агентом, карьеристом и приспособленцем Петром Полиповым, служившим в армейской газете.

Оставим за скобками подробности самой той встречи, ставшей для трусливого Полипова большой, крайне неприятной неожиданностью. Более важны сам разговор и поведение этих двух отрицательных персонажей, проявившие их полную противоположность в характерах и схожесть в способности мимикрировать и приспособливаться к даже самым нестандартным ситуациям.

Лахновский встречает Полипова и практически с порога выдает ему все те бредовые ужасающие мысли, которые, как скажет мимоходом автор, жили в его голове достаточно давно:

— Ну что же... Не удалось нам выиграть в этом веке, выиграем в следующем. Победа, говорит ваш Сталин, будет за нами. За Россией то есть. Это верно, нынче — за Россией. Но окончательная победа останется за противоположным ей миром. То есть за нами. <...>

— Не ошибаетесь? — вырвалось у Полипова невольно, даже протестующе.

— Нет! — повысил голос Лахновский. — Вы что же, думаете, Англия и Америка всегда будут с Россией? Нельзя примирить огонь и воду.



— Но идеи Ленина, коммунизма — они... <...>

— Слушай меня, Петр Петрович, внимательно. Во-первых, непобедимых идей нет. Идеи, всякие там теории, разные политические учения рождаются, на какое-то время признаются той или иной группой людей как единственно правильные, а потом стареют и умирают. Ничего вечного нету. И законов никаких вечных у людей нет, кроме одного — жить да жрать. Причем жить как можно дольше, а жрать как можно слаще. Вот и все. А чтоб добиться этого... ради этого люди сочиняют всякие там идеи, приспособливают их, чтоб этой цели достичь, одурачивают ими эти самые массы — глупую и жадную толпу двуногих зверей. А, не так?

Лахновский не был бы собой, если бы не показал Полипову истинную природу приспособленчества:

— Молчишь? Там, у своих, где-нибудь на собрании, ты бы сильно заколотился против таких слов. А здесь — что тебе сказать? <...> Не одолей нас эта озверелая толпа тогда, ты бы сейчас совсем другие идеи проповедовал. Царю бы здравицу до хрипа кричал. Потому что это давало бы тебе жирный кусок. Но эта толпа сделала то, что они называют революцией... Несмотря на наши с тобой усилия, все пошло прахом. За эти усилия и меня, и тебя могли запросто раздавить... как колесо муравья давит. Но мы увернулись. Ты и я. Но я продолжал, я продолжал всеми возможными способами бороться. Потому и здесь, с немцами, оказался. А ты, братец, приспособился к новым временам и порядкам. Ты спрашиваешь, верю ли я в бога? А сам ты веришь в коммунистические идеи? Не веришь! Ты просто приспособился к ним, стал делать вид, что веришь в них, борешься за них. Потому что именно это в новые времена только и могло дать тебе самый большой... и, насколько можно, самый жирный кусок. А, не так?

Предвидит Лахновский и скорое поражение Гитлера, несомненна для него и будущая ожесточенная борьба. Но кого с кем? Ради чего? Недаром Полипов так прямо у него и спрашивает: «А кто это — мы?»

Ответ старого цепного пса самодержавия, неслучайно ставшего германским агентом, Полипова просто ошеломляет: «Мы? Кто мы? <...> Мы — это мы. Вы называете нас до сих пор троцкистами. <...> Троцкого нет... Его ближайшие помощники, верные его соратники осуждены и расстреляны. Но мы многое успели сделать, Петр Петрович. Промышленность Советского Союза, например, не набрала той мощи, на которую рассчитывали его правители...»

Далее Лахновский поясняет, как им удавалось вносить разброд в руководящую партийную среду, являвшуюся становым хребтом молодого Советского государства:

— Я много думал над будущим, Петр Петрович, — неожиданно усмехнулся Лахновский мягко и как-то мирно, добродушно. — Конечно, теперешнее поколение, впитавшее в себя весь фанатизм так называемого марксизма-ленинизма, нам не сломить. Пробовали — не получилось. Да, пробовали — не получилось, — еще раз повторил он раздумчиво. И, в который раз оглядывая Полипова с головы до ног, скривил губы. — Немало, немало до войны было в России, во всем Советском государстве слишком уж ретивых революционеров, немало было таких карьеристов и шкурников, как ты... На различных участках, на самых различных должностях, больших и малых. Кто сознательно, а кто бессознательно,

но такие свехреволюционеры и лжекоммунисты, как ты, помогали нам разлагать коммунистическую идеологию, опошлять ее в глазах народа, в сознании самых оголтелых, но не очень грамотных ее приверженцев. А некоторые из таких... и ты вот, к примеру, способствовали еще и дискредитации... а иногда и гибели наиболее ярых коммунистов... Они летели со своих постов, оказывались в тюрьмах и лагерях. Они умирали от разрыва сердца, или их расстреливали...

Реально оценивающий возможности своих хозяев, но убежденный в неизбежности реванша, Лахновский уверенно продолжает:

— Я ж тебе и объясняю... В этом веке нам уже не победить. Нынешнее поколение людей в России слишком фанатичное. До оголтелости. <...> Помнишь, конечно, Ленин ваш сказал когда-то: мы пойдем другим путем. Читал я где-то или в кино слышал... Что ж, хорошая фраза. Вот и мы дальше пойдем другим путем. Будем вырывать эти духовные корни большевизма, опошлять и уничтожать главные основы нравственности. Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением, выветривать этот ленинский фанатизм. Мы будем братья за людей с детских, юношеских лет, будем всегда главную ставку делать на молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать ее! <...> Да, развращать! Растлевать! Мы сделаем из них циников, пошляков, космополитов! <...> Окончится война — все как-то утрясется, устроится. И мы бросим все, что имеем, чем располагаем... все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей! Человеческий мозг, сознание людей способно к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности поверить!

Нет пророка в своем отечестве

Намерения злобствующего фанатика Лахновского, в осуществлении которых он не сомневался и в основе коих лежали ключевые направления злополучного плана Даллеса, к великому сожалению, в нашей стране были реализованы.

Во второй половине семидесятых годов прошлого века к предостережениям писателя-патриота и подлинного государственника, прислушивались, чего греха таить, немногие. Слишком далекими казались тогда большинству советских граждан события времен Великой Отечественной войны, а такие, как Лахновский, воспринимались колоритными, но отвлеченными отрицательными персонажами. Зачем заикливаться на старом и отжившем свое? Общество у нас, как в те годы считалось, монолитное, сплоченное и ведомое Коммунистической партией Советского Союза в нужном направлении. Следовательно, таких, как лахновские, в нем нет и не может быть по определению. Посему каких-либо серьезных, далеко идущих выводов из пусть и получившего всенародную известность литературного сюжета делать не требуется. А то, что в мире продолжается противостояние сил добра и зла, так это общеизвестно и сомнению не подлежит. Засим обсуждение этой сцены можно завершить... Что, как известно, и произошло на беду великой стране и ее многострадальному народу.

Такое несколько утрированное рассуждение мною озвучивается неслучайно. Прежде всего потому, что давно пора вернуться к Анатолию Иванову, перечитать лучшие его произведения и сопоставить их фабулу с современными проблемами и глобальными вызовами. В первую очередь к творчеству писателя следует





обратиться людям молодым, тем, кто только начинает свой жизненный путь. Путь непростой, требующий собранности, физических и духовных сил, а также неизбывной веры в Россию и ее преображение, за которое стоило бы и бороться.

Каждый раз, беря в руки творения Иванова, ловлю себя на мысли, что их жизненность и эмоциональная сила воздействия с годами не ослабевают. Скорее наоборот. Они обладают неизменной притягательностью, призывая вновь соприкоснуться с судьбами хорошо знакомых героев, о которых, кажется, знаешь все.

В одном из своих публицистических выступлений Анатолий Степанович очень точно подметил:

Для писателя, пожалуй, один из самых нелегких вопросов — о соотношении художественного вымысла и реальных событий, свидетелем которых он был лично. Но, как бы то ни было в каждом отдельном случае, лишь наблюдения над живой действительностью, добросовестный отбор самого сущного в ней позволяют избежать фальши, увидеть подлинного героя, запечатлеть в нем черты времени.

Анатолию Иванову удавалось всегда не переступать ту тонкую грань, за которой вымышленные герои могут выглядеть фальшиво и противоречить жизненной правде. Не заметить в его прозе эту безупречную истину может лишь ленивый...

В советское время многогранное творчество Анатолия Иванова часто сравнивали со «свирепым реализмом» Михаила Шолохова, приводя в качестве аргументов чисто внешние совпадения. Однако как художники они были разными. Великая эпопея Шолохова «Тихий Дон» начиналась с подробного повествования об укладе казачьей жизни. Именно его революционная ломка вызывала глубокий раскол, проходивший через многие семьи, поднимавший брата на брата. Шолохов в констатации истории казачества предельно, даже чрезмерно последователен, историчен. События в «Тихом Доне» описаны великим художником, но порой воспринимаются как хроника, документальное повествование.

Для Иванова же история выступала лишь фоном, на котором кипели человеческие страсти, завязывались конфликты и сложные запутанные интриги, требовавшие большого мастерства в их глубинном, с философским подтекстом описании. Однако сам Анатолий Степанович к своему творчеству относился скромно, требовательно, без претензий на зачисление в живые классики.

Иванов и Россия

Проза Анатолия Иванова дышит Русью. Она живет в его самой распространенной русской фамилии. В его простом, красивом и добром русском имени. В его русских корнях. В его мощной, основательной внешности сибиряка, с виду сурового, но с добрыми, немного грустными глазами. В его жизненном пути, интересном, непростом, содержательном, но и вполне естественном для того времени. В его пристрастии к великому русскому слову, журналистике, писательству, редакторству, служению литературе подлинной, высоко нравственной, гуманистической, патриотичной, реалистичной, стремившейся возвысить человека-творца. В его верности коммунистическим идеалам, советской власти, советскому образу жизни. В его скромности, презрении к чванству, высокомерию, самолюбиванию и жажде власти. В его искренней русскости, шедшей из потаенных уголков тонкой, восприимчивой души.



Примечательно, как незамысловато, но глубоко и тепло писал Иванов о родной ему Сибири, куда ему, в 1960-х годах ставшему москвичом, всегда было радостно приезжать, словно возвращаясь в детство и молодость...

«Сибирь... И поныне это слово вызывает у различных людей различные эмоции, — писал Иванов в очерке “Очарованные Сибирью”, опубликованном в 1972 году в газете “Правда”. — Конечно, сейчас не найдется человека, который думал бы о ней как о чужой и холодной. Сейчас скорее кивнут одобрительно головой: как же, мол, слышали по радио, читали про нее, видели по телевизору... И все-таки, хотя слышали, читали и даже видели своими глазами, в словах людей, никогда в Сибири не бывавших, все равно нет-нет да и проскользнет невольное удивление: так ли все там, в далеком таежном краю, потонувшем где-то за древним Уралом, в синеватой дымке невообразимых расстояний, как об этом пишут и как это показывают?»

И только человек, проживший хотя бы немного в Сибири, при этом слове всегда словно осветится весь изнутри, озарит его лицо улыбка, открытая и всегда чуть детская; и мне всегда чудится, что в эти мгновения происходит в нем великое таинство очищения и обновления, ибо человек, однажды узнавший Сибирь, остается очарованным ею до конца. И никто не объяснит тебе, в чем тут дело, отчего же такой колдовской силой обладает эта земля.

Иванов всегда доверительно, с большой любовью рассказывал о своей малой родине, Шемонаихе.

Есть город такой — Шемонаиха. Не на всякой карте он обозначается, немногие знают о нем, а если кто и слышал, вряд ли укажет, где он находится. От Москвы скорым поездом ехать до Шемонаихи трое суток, а самолетом надо сперва около четырех часов лететь до Усть-Каменогорска, а потом еще два часа добираться на автомашине, ехать все на север, на север, мимо сел и поселков, в которых крупные зернообрабатывающие и животноводческие комплексы соседствуют с рудными предприятиями, мимо высокого каменного утеса, под отвесными стенами которого плещется озеро, до светлой реки Убы. И сразу за Убой, окаймленной каменистыми сопками, на склоне плодородной лощины и лежит небольшой городок Шемонаиха. Впрочем, Шемонаиху можно назвать и Шантарой, а Убу — Светлихой или Громотухой — под такими названиями они описаны в моих романах «Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов». Шемонаиха — это моя родина, здесь я родился, здесь научился различать волнующие запахи распаханной весенней земли и росных летних лугов, раскаленных зноем каменных гор и покрытых толстым снежным покровом полей, здесь впервые познал высочайшие взлеты человеческого духа и мрачные глубины нравственного падения людей.

В память о писателе в Шемонаихе установлен оригинальный памятник, а в городском историко-краеведческом музее работает экспозиция, посвященная жизни и творчеству Анатолия Степановича.

Анатолий Иванов **о писательском труде**

Некоторые мысли Иванова о писательском труде по сей день не потеряли актуальности. В статье «Характер в романе» Анатолий Степанович замечал:

Когда у меня спрашивают, у кого я учился писать, то я всегда отвечаю: у Максима Горького и Михаила Шолохова. Как и многие другие современные литераторы, я считаю их своими учителями, наставниками, вдохновителями. <...>

Я получаю много читательских писем, и нередко меня спрашивают о том, как рождаются произведения, каким образом писатель исследует действительность, что самое главное в его работе? <...>

Нередко думаю о том, что глаз писателя должен быть устроен особым образом. Надо уметь видеть. Видеть то, что другие не замечают или воспринимают сугубо поверхностно. Можно, например, сказать, что у героя — сильные руки. Эта особенность весьма существенна в характеристике персонажа. Но читатель может равнодушно отнестись к этой детали, пройти мимо нее. Вот здесь-то на помощь и должен прийти писательский острый глаз, который все увидит, рассмотрит, а может быть, и оценит по существу. Только тогда читатель также увидит руки героя, почувствует их силу. Но, повторяю, писатель обязан продемонстрировать на деле всепроницаемость своего глаза.

Анатолий Иванов оставил о себе память как о замечательном писателе, сценаристе, публицисте, государственнике, большом подвижнике и радете-ле земли русской, общественном деятеле, бессменном редакторе журнала ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», сохранившего свой патриотический и гражданственный настрой и после того, как Ленинский комсомол самоликвидировался. Его помнят как художника самобытного, во многом жесткого, неподатливого, но последовательного. Его писательский взор был четким, всепроникающим и способным подмечать как самое существенное, так и то, что казалось мало-значительным и неважным. Анатолий Степанович прошел свой земной путь достойно, с высоко поднятой головой и открытым забралом, как и подобало настоящему русскому советскому гражданину, патриоту, воину и писателю... И жизнь выдающегося художника и его масштабных произведений продолжается, пока живы его идеи и его читатели.



Денир КУРБАНДЖАНОВ

ФРАГМЕНТЫ И СУЩЕЕ

Мекас Й. Письма ниоткуда / Перевод с литовского Александры Васильковой. — СПб. : Valtrus, 2022. — 220 с.

Имя Йонаса Мекаса может быть малоизвестно широкому кругу читателей и кинозрителей. Однако это известный режиссер, поэт, критик, талантливый организатор и культуртрегер — в общем, «человек и пароход». А еще к Мекасу приклеилось звучное определение «крестный отец американского киноавангарда». Йонас родился в 1922 году в литовской деревушке Семинишки (она часто мелькает в его фильмах), застал болезненное присоединение Прибалтики к СССР и последующую нацистскую оккупацию, сидел в фашистском концлагере под Эльмсхорном, сбежал оттуда и эмигрировал в США. В Соединенных Штатах без гроша в кармане Мекас основывает внушительный журнал о кино *Film Culture*, где будут ругать все коммерческое и восхвалять все независимое, создает киноархив авангарда «Антология», который по-прежнему является местом силы для всех экспериментаторов и битников от мира экрана. Он успешно возвращает вокруг себя нью-йоркский андеграунд, титаническими усилиями пробивает параллельную Голливуду модель производства и дистрибуции кино, сам снимает множество картин и делает еще много чего...

Говорить о насыщенной биографии Йонаса Мекаса, прожившего 96 лет, на самом деле, не очень интересно. В историю он вошел как режиссер, придумавший новый кинематограф — дневниковый фильм. Вот на этом стоит остановиться подробнее. Мекас почти не расставался с 16-миллиметровой ручной камерой и, словно познающий мир ребенок, снимал все подряд: деревья, цветы, людей, бегущие облака, заснеженный Манхэттен, самого себя. Из будничных репортажных зарисовок, сделанных в самых разных условиях и не имеющих конкретной цели, ему хватило наглости сотворить поэзию. Сложную, напряженную, стихийную, насыщенную переливающейся жизненной субстанцией.

В основу его кино положена интуитивная логика. Экстремально свободное использование неотесанной хроники и отсутствие нарратива роднит американского режиссера с великим французским киноэссеистом Крисом Маркером и советским титаном документального кино Дзигой Вертовым. Последнему Мекас даже планировал посвятить одну из своих работ. Странные сближения их фильмов рождают особое звучание их творческих методов. Маркер был гением метафоры — он обращался с ней, как с удочкой, чтобы дотянуться до сокровенных смыслов. Вертов изобрел «киноглаз» — совершеннейшую оптику, чтобы застать жизнь врасплох. Тогда как Мекас выслеживал впечатления, как абстрактные

экспрессионисты. Только вместо кисти и красок у него были запечатленные на пленке фрагменты собственной жизни.

Поймав реальность в ловушку объектива, режиссер потом, иногда через десятки лет, брал монтажные ножницы и отсекал от реальности все то, что ему *казалось* лишним. Кадры прошлого лихорадочно перемешивались, ускорялись, замедлялись. Иногда он что-то комментировал, иногда накладывал музыку. Очень выразительны размышления Мекаса из его, пожалуй, главной работы — четырехчасовой мозаики «Двигаясь вперед, иногда я видел краткие проблески красоты» (2000). Она вызывает ассоциации с исписанным до самого конца ежедневником: «Вы, наверное, заметили мою одержимость тем, что считается мелочами. В кино, в жизни... Мы все ищем очень важные вещи. А здесь важного ничего нет, пустяки. Сплошь повседневные сценки, маленькие личные торжества и радости. Одни мелочи. Пустяки. Как будто вы никогда не чувствовали восторг ребенка, делающего первые шаги. Немыслимую важность того момента, когда ребенок делает свои первые шаги. Или невообразимую важность дерева по весне. Раз — и все в цвету. Чудо, ежедневные чудеса, скоротечные мгновения. Вот они есть — и вот их нет. Абсолютно незначительные, но великие...» В другом эпизоде этого фильма Мекас цитирует загадочные слова Уильяма Блейка, которые можно интерпретировать как ключ к пониманию его киноязыка: «Иногда фрагменты вмещают все сущее». Авторство цитаты подтвердить трудно, но слова имеют особый смысл, даже если Мекас все переврал.

Строить отношения с его фильмами — та еще головоломка. Классический диалог, когда ты садишься и смотришь кино от начала и до конца, не всегда работает. Если в фильме Мекаса есть сюжет, на который нанизываются образы, то проблем не возникает. Это свойство его раннего, традиционного в привычном понимании кино. В «Оружии деревьев» (1961) рассказана история о «молодой девушке, покончившей с собой, и людях, пытавшихся понять причины этого поступка» (синопсис Мекаса). В «Бриге» (1964) довольно эффектно показан ужас гауптвахты в корпусе морской пехоты. Самая известная картина Мекаса «Воспоминание о поездке в Литву» (1972) оформлена как кинодневник, но имеет сквозной мотив возвращения домой.

Но что прикажете делать с трехчасовой лентой «Дневники, заметки и наброски» (1969) или со специфическим подарком режиссера самому себе на 90-летие под названием «Невошедшие кадры из жизни счастливого человека» (2012)? Там вы не увидите ничего, кроме бессознательного потока разрозненных воспоминаний.

Для описания кинематографа Йонаса Мекаса существует один предельно точный термин — длительность. Его в конце XIX века придумал французский философ Анри Бергсон, чтобы описать психологическое время, которое проживается, а не измеряется математически. «Чистая длительность есть форма, которую принимает последовательность наших состояний сознания, когда наше “я” просто живет, когда оно не устанавливает различия между наличными состояниями и теми, что им предшествовали», — писал Бергсон в диссертации «Опыт о непосредственных данных сознания». Как бы странно это ни звучало, но вышеприведенный отрывок — отличная аннотация для любого зрелого фильма Йонаса Мекаса. Американский режиссер приближался к динамичному времени, к времени, которое постоянно изменяется. Течение длительности может быть

воспринято только интуитивно. Отсюда свободная форма фильма, напоминающая музыкальное произведение. Не случайно Бергсон, чтобы показать в длительности слияние различных чувств и состояний, использовал метафору мелодии. Йонас Мекас будто повторяет слова этого французского философа из интервью: «Ведь мы знаем, что, слушая музыку, не нужно вслушиваться в каждую ноту, нужно слушать их в последовательности. Так и с моими фильмами: не нужно сосредотачиваться на каждом кадре, позвольте им проплывать мимо».

Кроме всего прочего, Йонас Мекас активно писал. В 2022 году на русский язык переведена его книга «Письма ниоткуда» — цикл заметок из 18 писем, каждое из которых, в свою очередь, распадается на крохотные фрагменты. За исключением пары писем из 1970-х, все они написаны в 1990-х.

Удивительно, но об этой книге сказать почти нечего. В ней есть блестящий портрет режиссера, написанный кинокритиком Алексеем Артамоновым. Присутствуют сентиментальные воспоминания художницы Марии Годованной о годах, проведенных в киноархиве «Антология», а также зарисовки фотографа Арунаса Куликаускаса, близко знавшего Мекаса. Однако тексты самого режиссера поражают бесхитростной вялостью и тусклостью. Если бы мы держали в руках настоящий дневник или прозу, закамуфлированную под него, вряд ли такие претензии к «Письмам ниоткуда» были бы обоснованы. Но перед нами концептуальный сборник. Мекас объясняет придуманное им название следующим образом: «Я много путешествую, и люди меня спрашивают, откуда я. Вот я и говорю: родился и вырос в Литве. Живу в Нью-Йорке. А родной мой край теперь — культура. Так они на меня смотрят и подмигивают: вот шутник! Но я говорю очень серьезно. Теперь я интересуюсь только культурой. А культура везде и нигде. Вот я и решил так назвать эти свои письма: “Письма ниоткуда”».

Мекас рассуждает о литовских художниках и композиторах, немного затрагивает тему языка, ныряет в смутные воспоминания из детства. Тексты составлены примерно так же, как его фильмы, однако схожего эффекта не производят. «Зачем мне выдумывать фильмы, когда можно просто снимать?» — говорит Мекас. Игра стоит свеч, когда пытаешься схватить сиюминутное переживание. Мекас добивается того, чтобы камера скользила по изгибам времени, позволяя истине самой явиться на свет. Но когда дело касается текста, неизменно приходится выдумывать и тут начинается откровенная графомания.

В писаниях Мекаса нет стиля, остроумия и личного взгляда. Кисельные соображения по поводу окружающего мира и людей искусства граничат с бесформенной инфантильностью. Вот Йонас Мекас рассказывает про пивные посиделки с литовскими друзьями: «После третьего бокала мы решили: зачем Литве бояться Жириновского? Не будем бояться! Для начала скинемся и купим одну атомную бомбу. <...> И тогда вежливо попросим, чтобы Россия отдала нам половину Сибири. Еще добавил бы Тульскую область и, может, часть Черного моря. Разве наши кони не пили там воду? Мужики, не надо расслабляться. Надо атаковать. Надо спасти культуру Сибири! А, еще Воркуту забыл. Она тоже нам принадлежит, хотя бы половина. И потребуем, чтобы в Сибири литовский язык имел равные права с русским. Это было бы хорошим началом. А там и дальше двинемся». Шутки шутками, но слова колются.

Когда Мекас принимается манерничать, выходит совсем некстати. В третьем письме режиссер придумывает сказку про овцу, которая не хотела идти со стадом



по пути прогресса, а пошла назад к зеленым лугам. Вечерами невинное животное слушало битлов и рассказывало Мекасу, что Природный Рай не утрачен, а «полностью зависит от нас самих». Вот это да! О таких сиропных аллегориях не мечтали даже американские трансценденталисты.

Следить за самолюбованием Мекаса и бессилием его мысли катастрофически скучно. С однообразными полудневниковыми фрагментами, перемешанными с черно-белыми фотографиями равнодушных улиц Нью-Йорка, эмоциональная связь не устанавливается. Никаких уникальных смыслов не рождается. Это не тянет даже на контркультурные дурачества, которыми занимались друзья Мекаса — от поэта Аллена Гинзберга до музыканта Джона Кейджа. Просто нечаянные слова на полях, которым лучше оставаться в ящике стола или на страницах личного дневника.

Как оказалось, Йонас Мекас не обитает в своих текстах. Его подлинная сила на экране, куда он помещал все незамеченное, утраченное, забытое, прожитое — все проблески счастья и красоты. Его слово явно не успевает за впечатлением, а припоздавшая мысль рассыпается от прикосновения к памяти. В предисловии Алексей Артамонов пишет: «В этой книге собрана часть осколков его жизни, заметки о той стране, в которой он появился на свет. Но я не уверен, что из них можно собрать бесшовный и целостный портрет». С этим сложно поспорить. Если рискнуть и составить из этого портрет, он выйдет максимально неприглядным. По прочтении этой книги обыватель не заинтересуется фильмами Мекаса, а киномана утомит многословие режиссера. К этой яркой авангардной фигуре нужно подходить только через кино...



ИЗДАНО В СИБИРИ

АЛТАЙ

Чикульдик Сергей. Алексей Ванин / *Министерство культуры Алтайского края, Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова. — Барнаул: Алтайский дом печати, 2022. — 416 с.*

Книга о жизни и творчестве киноактера, заслуженного артиста России, многократного призера чемпионатов СССР по классической борьбе, мастера спорта СССР, участника Великой Отечественной войны Алексея Захаровича Ванина (1925—2012) подготовлена в год его 95-летнего юбилея.

Биография актера и спортсмена, соратника и близкого друга В. М. Шукшина, созданная на основе его личных воспоминаний, воспоминаний близких родственников, друзей и коллег, интервью, архивных и музейных материалов, раскрывается на фоне исторических и общественных процессов, происходящих в нашей стране в XX — начале XXI века.

Издание предназначено для широкого круга читателей — для всех, кому интересна история России и Алтайского края.

Кузнецова Татьяна. Парадоксы времени / *Министерство культуры Алтайского края, Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова. — Барнаул: Алтайский дом печати, 2022. — 212 с.*

Книга избранных поэтических произведений известного барнаульского поэта Татьяны Кузнецовой отличается искренностью и глубиной, высоким поэтическим мастерством.

Книга адресована широкому кругу читателей.

Квин Лев. Было — не было / *Министерство культуры Алтайского края, Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова, Алтайская краевая детская библиотека им. Н. К. Крупской; [редактор Л. В. Санкина; составитель Ю. А. Нифонтова; художник К. М. Паршина]. — Барнаул; Новосибирск: Экселент, 2022. — 191 с.*

Благодаря неожиданно обнаруженной машине времени закадычные друзья Гешка и Ленька совершают путешествия в героическое прошлое и заманчивое будущее. Повесть известного алтайского детского писателя Льва Израилевича Квина предлагает читателю задуматься о своем месте в жизни.



Сидоров Виктор. Сокровища древнего кургана / Министерство культуры Алтайского края, Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова, Алтайская краевая детская библиотека им. Н. К. Крупской; [редактор Л. В. Санкина; составитель Ю. А. Нифонтова; художник К. М. Паршина]. — Барнаул; Новосибирск: Экселент, 2022. — 235 с.

Увлекательная повесть Виктора Степановича Сидорова (1927—1987) рассказывает от лица главного героя Кости Брыскина, жителя степного алтайского села, о раскопках Желтого кургана и других приключениях сельских подростков. В неожиданных событиях одного лета и непростых взаимоотношениях раскрываются характеры ребят, приходит истинное понимание дружбы и чести, взросление и самоопределение.

Дворцов Николай. Избранное / Министерство культуры Алтайского края, Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова. — Барнаул: ООО «Азбука», 2022. — 352 с.

Дворцов Николай Григорьевич (1917—1985) родился в с. Куриловка Саратовской области. Окончил Саратовский учительский институт. Участник Великой Отечественной войны. Был в фашистском плену. С 1947 года жил на Алтае. Работал в Алтайском книжном издательстве, на алтайском радио, редактором альманаха «Алтай».

Возглавлял Алтайское отделение Союза писателей СССР (1967—1971).

Роман «Море бьется о скалы» об узниках фашистского концлагеря в Норвегии принес писателю всесоюзную славу. В этом издании Н. Г. Дворцов представлен как романист, тонкий лирик и публицист.

Книга будет интересна широкому кругу читателей.

Панов Геннадий. Избранное / Министерство культуры Алтайского края, Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова. — Барнаул: ООО «Азбука», 2022. — 272 с.

Геннадий Петрович Панов (1942—1992) родился в г. Новокузнецке Кемеровской области. Детство и юность прошли в с. Паново Ребрихинского района Алтайского края. Окончил Барнаульский государственный педагогический институт, Высшие литературные курсы при Литературном институте имени А. М. Горького.

Г. П. Панов — автор поэтических книг, изданных в Барнауле и в Москве. Много лет Геннадий Петрович посвятил изучению «Слова о полку Игореве», в 1983 году создал его собственное поэтическое переложение.

В память о нем в Алтайском крае учредили литературную премию. Ее вручают на литературном празднике «Пановские встречи».

Книга предназначена для широкого круга читателей.

ИРКУТСК

Дмитриевский Валерий. Пока в небе ласточка вьется. — *Иркутск: Сибирская книга, 2022. — 144 с.*

Валерий Викторович Дмитриевский по профессии — геолог. Автор трех стихотворных сборников, двух книг прозы и др. Пишет также пьесы, очерки, критические заметки о литературном творчестве. Стихи и рассказы начал писать в школьные годы. Первые поэтические публикации состоялись в многотиражной газете политехнического института.

В. В. Дмитриевский печатался в журналах и альманахах «Золотая строфа» (Москва), «Южная звезда» (Ставрополь), «Сибирь», «Иркутский писатель», «Иркутский альманах» (Иркутск), «Белая радуга», «Признание», «Ангарские ворота» (Ангарск), «Северо-Муйские огни» (Респ. Бурятия), газете «День литературы» (Москва) и др.

Дипломант Международного поэтического конкурса «Золотая строфа — 2010». Лауреат премии журнала и газеты «День литературы» (Москва) в номинации «Поэзия» (2018).

В настоящее издание вошли стихи разных лет — от самых ранних до написанных в последние годы.

Волкова Светлана. Покати-клубочек. — *Иркутск: Сибирская книга, 2022. — 128 с.: цв. илл.*

Эту книгу веселых, добрых, ярких сказок с удовольствием прочтут дети и их родители. Это новые сказки и волшебные истории известной сибирской сказочницы Светланы Волковой. Она знакома читателю по сборникам «Сказки мышонка Сухарика», «Под Рождественской звездой», «Сказки старого города». Всего их одиннадцать.

Светлана Волкова посвятила свое творчество детям. На цикле ее телевизионных передач «Спокойной ночи, малыши» выросло целое поколение детей Приангарья. Позже работала в журнале «Сибирячок», была одним из его основателей. Персонажи ее сказок становились героями мультфильмов, пьес для юного зрителя. Поставлена детская опера «Приключения Синего фартучка», которая с успехом идет в разных странах мира.

Светлана Волкова награждена почетным знаком «За достижения в культуре», грамотой Королевского посольства Дании. Она лауреат премии П. П. Ершова и премии губернатора Иркутской области в сфере культуры и искусства. Ее замечательные сказки пользуются заслуженной любовью читателей.

Розовский Юрий. Конопатая история. — *Иркутск: Сибирская книга, 2022. — 44 с.: цв. илл.*

Замечательный поэт из Братска Юрий Розовский написал новую книгу стихов для детей. «Писать для детей — это очень непросто!» — признается поэт. И это действительно так! Нужно бережно хранить в душе частичку детства до самого конца! А еще нужен настоящий поэтический талант, нужны непосредственность и веселость, способность удивляться пустякам и восхищаться всем тем, что нас окружает: лучистым солнцем на синем небе, зеленеющей травкой на земле, прекрасными цветами на лесной прогалине и мириадами живых существ, летающих и ползающих у нас под ногами, радующихся солнцу и теплу. Тот, кто прочтет эту книгу, станет чуточку добрее, внимательнее и — счастливее!



Горбунов Анатолий. Избранные произведения: в 2 томах. — *Иркутск: Сибирская книга, 2022. — Т. 1: Снежная родина: стихи. — 380 с.; Т. 2: Земная красота: повести, рассказы, побывальщины, сказки. — 416 с.*

Анатолий Горбунов — русский народный поэт. С точки зрения народности ему не было равных в русской поэзии на исходе прошлого века; но уроженец приленской тайги талантлив и в прозе, что запечатлелось на страницах крупной прозаической книги (Горбунов, А. К. Рыбаки-охотники: рассказы, побывальщины, сказки. — Иркутск: Иркутский писатель, 2008. — 384 с.).

В прозаический том вошли и произведения из рукописей, еще не изданных, в свое время жанрово поделенных писателем на рассказы, побывальщины и сказки. В поэтической прозе, да и в поэзии Анатолия Горбунова — глубинное знание природы и щемящая, песенная любовь к малой родине, из которой рождается любовь к великой Родине — к России.

Лаптев Александр. Память сердца. Повести о Колыме. — *Москва: Издательство «Вече», «Сибиряда», 2022. — 480 с.*

В новой книге известного сибирского писателя Александра Лаптева представлены произведения, основанные на реальных фактах и судьбах. В эпоху Большого террора ни в чем не повинные люди были вырваны из мирной жизни и отправлены на Колыму искупать ударным трудом свои несуществующие грехи. Не все вернулись обратно. Сотни тысяч остались навечно среди оледенелых сопок Колымского нагорья. Их памяти посвящена эта книга.

За эту книгу А. Лаптев был удостоен звания лауреата Национальной премии им. В. Г. Распутина.



Наталья Яковлева: «ТВОРЧЕСТВО — ЭТО ДИАЛОГ С САМИМ СОБОЙ»

Наталья Васильевна Яковлева — новосибирский художник, член Творческого союза художников России (ТСХР), член Международного союза педагогов-художников, член Международного объединения художников «Апсны-АРТ», член ассоциации художников «Акварелисты Сибири», живописец и график. Участник региональных и международных выставок. Наталья Васильевна организовала в новосибирском Академгородке изостудию для детей и взрослых «Перспектива» и 20 лет руководит ей. В 2017 году награждена бронзовой медалью ТСХР за вклад в отечественное изобразительное искусство.

— Наталья Васильевна, как вам работа в качестве иллюстратора «Сибирских огней»? Был ли у вас прежде опыт иллюстраторской работы? Не занимались ли вы, положим, тиражной графикой?

— Мне всегда было интересно попробовать себя в роли художника-иллюстратора. Я с детства любила читать и всегда очень ярко представляла себе внешность героев произведений, пейзажи и интерьеры, в которых разворачивались события. Но до встречи с «Сибирскими огнями» (счастливой встречи) мой опыт иллюстрирования был небогат. В основном это были самиздатовские книги.

На ваше предложение проиллюстрировать подборку стихотворений Елены Яковлевой «Лимонница в листопаде» я откликнулась с радостью, хотя немного волновалась, конечно. Но то, что мы с поэтессой оказались однофамилицами, мне показалось хорошим знаком. Так и вышло. Потом были произведения других авторов. Затем более сложное задание — придумать образ воробышки Читайки для детского издания «Сибирских огней». Это была очень увлекательная работа, ведь образ персонажа — это не только внешность, нужно вложить в него душу, наделить характером и индивидуальностью. Было самой интересно наблюдать, как от эскиза к эскизу менялся внешний вид нашего воробышка: цветовые решения, пропорции... А потом у него началась своя жизнь на страницах журнала, полная интересных историй, замечательных стихов. И было очень приятно слышать на встрече с ребятами — читателями журнала, что наш воробышек им понравился и они уже сами придумывают истории с Читайкой, рисуют его друзей, маму, сестренку.

Иллюстрирование для меня — это возможность экспериментировать, придумывать, пробовать различные графические техники, композиционные и цветовые решения, а по большому счету придумывать и рисовать свой мир.

Тиражной графикой я занималась только в период обучения: сначала в училище, а потом в Институте искусств. Но ваш вопрос задал новое направление моим мыслям...



— Относительно работы художника с печатным изданием: как бы вы оценили перспективы сотрудничества художника и писателя, жизнеспособность союза иллюстрации и текста? Сейчас многие говорят, что книга как таковая умирает, творческий процесс с его результатами перемещается в виртуальное пространство. Как по-вашему, книжная иллюстрация умирает вместе с книгой? Или книга как площадка, в том числе для изобразительного искусства, продолжит существовать? Или же иллюстрация останется прерогативой только детской книги?

— Быть может, именно иллюстрации помогут книгам сохранить и преумножить ряды своих читателей. В детстве я именно так выбирала книги в библиотеке, если картинка в книжке мне нравились — значит, книга хорошая. Получается, что именно художник-иллюстратор презентовал мне то или иное литературное произведение. Интересные иллюстрации как бы выступали гарантом интересного текста. Вообще работа иллюстратора — это соединение визуального и литературного повествования в одно целое, гармоничное, яркое и запоминающееся произведение, оказывающее максимально сильное впечатление на читателя. Художник словно окрашивает книги своими эмоциями, дополняет своими впечатлениями, переживаниями.

Нет, я не думаю, что электронные издания смогут вытеснить бумажный вариант книг, как появление скутеров и самокатов не смогло вытеснить велосипед. В наше время высокое качество полиграфии, появление громадного количества новых интересных современных авторов и удивительных, талантливых, самобытных художников-иллюстраторов сделали мир книг более ярким и привлекательным. Трудно пройти мимо таких книг. Особенно — мимо книг для детей. Я вообще не представляю детство без книжек, а книжки — без красочных иллюстраций.

Иллюстрация — это больше, чем просто картинка в книжке. Какие иногда яркие и запоминающиеся образы создают художники! Люди начинают подражать им, пытаются быть внешне похожими на героев полюбившихся книг. Как часто мы сравниваем людей с запомнившимися любимыми персонажами!

Каждый человек — по-своему иллюстратор. Своей жизни. Он придумывает и создает свой образ. Или хочет быть похож на кого-то, и нередко это персонажи книг. Создает свой, пусть небольшой, мир (комната, дом, двор) и наполняет его интересными вещами, звуками, окрашивает его в любимые цвета.

— Какие свои работы вы считаете самыми важными, знаковыми? С чем вы это связываете?

— Самые важные для меня не отдельные работы, а серии. Первая — это американская, или индейская, серия. Было в моей жизни такое необычное путешествие-приключение. Целый месяц я гостила у индейцев племени навахо. Путешествуя по штатам Аризона, Юта и Невада в США, я делала этюды, наброски и зарисовки. Было очень много ярких впечатлений. Дома я продолжила выполнять этюды. Постепенно работ набралось на целую выставку, которая проходила в Доме ученых новосибирского Академгородка. Экспозиция получилась интересной, а выставка — резонансной. Это очень повлияло на мою жизнь, в том числе на творческую.

Второй по значимости я бы назвала серию пленэрных работ из Вышнего Волочка. Там находится старейшая творческая Академическая дача им. И. Е. Репина (Академичка). Место с удивительной историей, Мекка для художников из России и со всего мира. Многочисленных живописцев привлекают сюда не только потрясающие по красоте и разнообразию пейзажи, но и творческая атмосфера. Когда Илья

Репин впервые увидел эти места, не удержался от восхищенного возгласа: «Это же для пейзажиста земля обетованная! Это же сама Россия!» Когда осознаешь, что по этим же тропинкам ходили и писали эти же пейзажи великие русские живописцы, испытываешь особенные чувства. Как выражаются современные художники, это «намоленное место». Этюды, выполненные в этом удивительном месте, очень отличаются от других пленэрных работ. Я была на Академичке раз пять и поеду еще не раз. Обязательно сделаю экспозицию, посвященную даче им. Репина.

— В чем для вас смысл творчества? Ответствен ли художник за послания, содержащиеся в его полотнах, либо имеет право на полное самовыражение?

— Мне очень близко выражение, что художник — это не тот, кто умеет рисовать, а тот, кто не может не рисовать. Когда я нахожу интересный сюжет и сгораю от нетерпения приступить к работе, в первую очередь думаю, как и что сделать для того, чтобы передать состояние, которое уловила, мысль, которую хочется донести до зрителя. Стремись получить удовлетворение от самого процесса. В первую очередь ведешь диалог сама с собой. А как примут твою работу зрители — это вторично. Купят картину или нет, будет ли она пылиться в мастерской или украшать стены музея, а то и станет мировым шедевром, об этом не думаю.

Живописцы тоже бывают разными, и самовыражение самовыражению рознь. Если автору есть что сказать, пусть будут и картины-послания. С другой стороны, если мастер кисти хочет выразить свое мнение и свою личную позицию, он должен быть готов получить ответную реакцию. А какая она будет — бог весть. Как знать, не будет ли через какое-то время тебе или твоим детям стыдно за то или иное «самовыражение»?

— Ваши кумиры. Есть ли художник, являющийся для вас идеалом?

С детства любила картины Михаила Врубеля, подолгу рассматривала их. И однажды в школьном возрасте нарисовала на стене своей комнаты его «Царевну-Лебедь». Да и сейчас, бывая в Третьяковке, каждый раз надолго задерживаюсь в зале Врубеля. От «Демона» просто невозможно оторвать глаз.

Потрясающий художник Архип Куинджи. На его «Лунную ночь» я могу смотреть бесконечно. Альбом с его произведениями чаще других достаю с полки в своей студии — показать ученикам, когда мы говорим о тоне в живописи и передаче света.

Очень интересен Густав Климт. Когда-то мои студийцы подарили мне на день рождения громадный альбом этого художника. Листая его страницы, испытываю ни с чем не сравнимое удовольствие. Как-то раз сделала автопортрет «а-ля Климт». До сих пор мечтаю побывать в Вене в музее Климта.

Также великолепны импрессионисты. Кто их не любит? Особенно Клода Моне. Его «Кувшинки» в музее Оранжери я видела лично, и забыть это невозможно!

Там же, в Париже, в музее Орсе была поражена мощной энергией, обрушивающейся на зрителей с полотен Ван Гога. А в его глаза на автопортрете нельзя долго смотреть: они затягивают, как воронки.

Список моих любимых живописцев можно продолжать долго. Из современных назову, пожалуй, гениального Бато Дугаржапова. Была потрясена выставкой бурятского художника Даши Намдакова, которая состоялась недавно в Новосибирском государственном художественном музее.

Среди моих друзей тоже есть много замечательных живописцев, у которых я готова учиться и которые оставят свой след в истории изобразительного искусства.



— Вы член Международного союза педагогов-художников, у вас обширный опыт работы и с детьми, и со взрослыми, в вашу студию приходит много людей. Может быть, поделитесь своими наблюдениями: что сегодня движет человеком, который хочет освоить технику изобразительного творчества? По-вашему, это какое-то экзистенциальное, «слишком человеческое» и глубоко личное движение или тут верх берут не столько внутренние, сколько внешние мотивы — следование общему тренду современности, ориентированной на визуальное как таковое?

— Сначала о детях. Это в первую очередь те, кто любит рисовать, кто хочет улучшить свои навыки рисования, познакомиться с новыми изобразительными техниками и материалами. Многие из них хотят в будущем связать свою жизнь с изобразительным искусством, и мы занимаемся с ними подготовкой к поступлению в художественные вузы. Такие дети относятся к занятиям очень ответственно, и работать с ними очень приятно. Мы с ними на одной волне.

Иногда детей в студию приводят родители, которые точно знают, что рисование необходимо для гармоничного развития ребенка. И в этом случае мнения ребенка, увы, не спрашивают. С такими детьми работать неинтересно. Им скучно, они ждут не дождутся окончания занятия. Может быть, этот ребенок мечтает о танцах или о футболе, а тут я со своими рисуночками. Не люблю заставлять.

А бывает, что мамочка принуждает своего малыша заниматься рисованием, пытаясь осуществить свои собственные несбывшиеся мечты. И тогда я предлагаю маме прийти самой на занятия в нашу группу для взрослых, а ребенку дать возможность заниматься тем, что он любит. И, кстати, некоторые взрослые студийцы так и попали в нашу «Перспективу».

Иногда взрослые приходят с четкой целью, за конкретными знаниями. Например, те, чья профессия так или иначе связана с рисованием, — дизайнеры, стилисты, модельеры и т. п. Или те, кто раньше обучался изобразительному искусству или даже окончил художественный вуз, но долго этим не занимался по разным обстоятельствам и хочет восстановить былые навыки.

Приходят по разным причинам — по совету психолога, вслед за рисующей подругой, ищущие творческого самовыражения, потому что это модно, и даже от скуки. Кто-то уходит, а кто-то, познав радость творчества, остается на долгие годы, с головой погружаясь в творческий процесс. Работать с ними — сплошное удовольствие.

Есть еще одна интересная группа учащихся — те, кто хочет быть художником. Желательно знаменитым и высокооплачиваемым. Это же так классно — выставки, поздравления, цветы, поклонники, пресса. Но они хотят *быть* художником, а не научиться рисовать — им интересен конечный результат, а не процесс, — и, минуя долгий путь обучения основам цветоведения, композиции, перспективы и т. д., сразу приступить к созданию «шедевров». Они думают, что достаточно лишь походить немного на занятия, посетить несколько мастер-классов признанных мэтров, и — ап! — ты художник. Но чудес не бывает, и наступает неизбежное разочарование.

— Ну и банальный, но закономерный вопрос: каковы ваши творческие планы? Чего ждать от вас зрителю? Увидим ли мы нечто новое, или Наталья Яковлева останется верна себе?

— Хочется сделать много нового, оставаясь верной самой себе. Мне нравится поговорка «Хочешь рассмешить бога — расскажи ему о своих планах», и я верю в примету: если расскажешь о задуманном, оно не сбудется.

АВТОРЫ НОМЕРА

Алексеев Владимир Николаевич родился в 1943 г. в Москве. Окончил филологический факультет Уральского государственного университета. Один из организаторов отдела редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН, его руководитель с 1967 по 2010 г. Кандидат филологических наук, доцент кафедры древних литератур и литературного источниковедения гуманитарного факультета НГУ. Заслуженный работник культуры РФ. Живет в Новосибирске.

Антипова Елена родилась в 1991 г. в Нижнем Новгороде. Окончила филологический факультет ННГУ им. Н. И. Лобачевского, Международный институт экономики и права. Журналист, выпускающий редактор региональных СМИ. Участник и победитель ряда литературных конкурсов. Публиковалась в журнале «Звезда», на порталах «Год литературы» и «Литературная Россия». Живет в Нижнем Новгороде.

Байборodin Анатолий Григорьевич родился в 1950 г. в Забайкалье. Окончил Иркутский университет. Работал в районных и областных газетах Восточной Сибири. Публиковался в журналах «Наш современник», «Сибирские огни» и др. Автор многих книг прозы. Лауреат первой Национальной литературной премии им. В. Г. Распутина. Член Союза писателей России. Живет в Иркутске.

Беляева Виктория Владимировна родилась в 1980 г. в Ростове-на-Дону. Окончила исторический факультет Ростовского государственного университета. В настоящее время работает преподавателем. Публиковалась в журналах «Москва», «День и ночь», «Дружба народов» и др. Лауреат ряда литературных премий и конкурсов. Живет в Ростове-на-Дону.

Воротнин Юрий Иванович родился в 1956 г. в поселке Пирово Тульской области. Окончил строительный факультет Тульского политехнического института. Заслуженный строитель России, генеральный директор АО «Проектно-строительное объединение № 13», президент футбольного клуба «Истра». Публиковался в журналах «Наш современник», «Сибирские огни», «Москва» и др. Автор пяти поэтических сборников. Лауреат ряда литературных премий. Член Союза писателей России. Живет в городе Дедовске Московской области.

Левит Ирина Семеновна родилась в 1956 г. в Новосибирске. Окончила факультет журналистики Уральского государственного университета. Работала корреспондентом газеты «Советская Сибирь», главным редактором экономического еженедельника «Российская Азия», ведущей программы на радио «Вести ФМ», пресс-секретарем губернатора Новосибирской

области, начальником управления информационной политики аэропорта Толмачево. Автор более десяти романов и повестей, вышедших в издательствах «Эксмо», «Молодая гвардия», «Новь», «Вече». Живет в Новосибирске.

Мамаева Лидия Николаевна родилась в 1986 г. в деревне Королёвка Новосибирской области. Работает музыкальным руководителем в детском саду. Печаталась в районной газете «Трудовая правда», в журналах «Южный маяк», «Наш современник», «Бельские просторы» и др. Живет в р. п. Кольвань Новосибирской области.

Милевский Владимир Николаевич родился в 1960 г. в д. Пушкино Абанского района Красноярского края. Военный пенсионер. Ранее не публиковался.

Неволошин Макс родился в Самаре. Работал учителем средней школы. После защиты кандидатской диссертации по психологии занимался преподавательской и научно-исследовательской деятельностью в России, Новой Зеландии и Австралии. Публиковался в «Новом журнале», «Волге», «Юности», «Дружбе народов» и др. Автор двух сборников рассказов: «Шла шапка по соше» (2015) и «Срез» (2018). С 2003 года живет и работает в Сиднее.

Семяшкин Руслан Владимирович родился в 1983 г. в Симферополе. Окончил Таврический национальный университет по специальности «История» и Одесский региональный институт государственного управления. С публицистическими статьями и очерками печатался в журналах «Наш современник», «Простор», «Литературный Азербайджан», «Памир», «Политическое просвещение», «Известия СКП-КПСС», в газетах «Правда», «Советская Россия», «Литературная газета», «Литературная Россия», «День литературы», «Красная звезда», «Тюменская правда», «Крымские известия» и др. Живет в Симферополе.

Челноков Андрей Геннадьевич родился в 1964 г. во Фрунзе Киргизской ССР. Окончил факультет журналистики Уральского государственного университета им. Горького. Работал в ряде региональных и центральных изданий. Публиковался во многих отечественных и зарубежных СМИ. Инициировал создание и принимал участие в издании региональных вкладок в газетах «Комсомольская правда», «Труд» и «Трибуна». Избран председателем Общественной организации журналистов Новосибирской области Союза журналистов России, председателем Международной общественной организации «Евразийский союз журналистов».

СИБИРСКАЯ ГОРНИЦА



МАГАЗИН

продает и покупает:

книги и подписные издания, газеты, журналы, почтовые открытки (до 1960 г.), старые фотографии, домашние архивы, коллекции почтовых марок, монеты, бумажные деньги;

статуэтки фарфоровые, бронзовые и чугунные, серебряные изделия, значки на винтах, портсигары и подстаканники, заводные игрушки и фарфоровые куклы, угольные самовары и патефоны, старинную мебель, старую военную форму и военную атрибутику и многое другое.

Работают отделы:

антиквариата, нумизматики, филателии и букинистической литературы.

Всегда в продаже журнал «Сибирские огни».

Работаем с 10 до 19 без перерыва, в воскресенье с 10 до 18

Адрес: ул. Романова, 26 (угол Советской и Романова)

☎ 227-18-37, 227-14-50

Сайт: www.gornitsa.ru E-mail: n_gornitsa@bk.ru

Частные лица и организации в Российской Федерации и в странах СНГ могут подписаться на журнал «СИБИРСКИЕ ОГНИ» в любом отделении связи — красный Объединенный каталог, подписной индекс — 46587.

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

Учредители:

Союз писателей России, Администрация Новосибирской области.

Журнал зарегистрирован в Государственном комитете Российской Федерации по печати.

Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г.

Адрес редакции и издателя:

630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 25, тел. (383) 223-10-15

E-mail: sibogni@sibogni.ru Сайт: сибирскиеогни.рф

Адрес типографии:



ООО «Новосибирский издательский дом»

630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104

<http://книгосибирск.рф>

Сдано в набор 21.07.2023. Дата выхода № 8 за 2023 г. в свет 21.08.2023.

Формат 70x108/16. Печать офсетная. Уч.-изд. л. 11,77. Тираж 1500 экз.

Во всех случаях полиграфического брака просим обращаться в типографию.



Наталья Яковлева.
Автопортрет
в мексиканской юбке.
2015



Наталья Яковлева. Раннее утро. Ялта. 2014

